ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

11 1998

ОКТЯБРЬ 11 1998

ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

11

1998

НОЯБРЬ

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Бахыт КЕНЖЕЕВ.
Золото гоблинов. Роман **3**

Денис ВИНОГРАДОВ.
Голос стекла. Стихи **48**

Владимир КАЧАН.
Роковая Маруся. Театральная повесть **52**

Юрий БУЙДА.
Сумма одиночества **101**

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Михаил ПРИШВИН.
Дневник 1939 года. Июль—декабрь. Вступление, подготовка текста, публикация и комментарии Л. А. Рязановой **126**

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

«Бывают странные сближения...»

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
Три неба **147**

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Скандал в императорской семье. Из переписки великого князя Михаила Александровича, императора Николая II, императрицы Марии Федоровны. 1912 год. Подготовка текста, публикация и примечания кандидата исторических наук В. М. Хрусталева и В. М. Осина **171**

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Анатолий НАЙМАН.
«Дело тоталитаризма непобедимо, потому что оно вечно» **179**

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.
День Независимости **184**

Илья АЛЕКСЕЕВ.
Праздничное настроение **185**

Мелочи жизни

Павел БАСИНСКИЙ.
Кусочек транша, пожалуйста! **188**

В несколько строк

Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ **191**

Главный редактор
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА *отв. секретарь*
Алексей АНДРЕЕВ *зав. отделом прозы*
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ *зав. отделом критики*
Инна БРЯНСКАЯ *публицистика*
Виталий ПУХАНОВ *проза*

Общественный совет:

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Василь Быков, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Анатолий Курчаткин, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Олег Павлов, Людмила Сараскина, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин.

Адрес редакции: 125124, Москва, А–124, ул. «Правды», 11/13.
Телефоны: главный редактор – 214–62–05, заместитель гл. редактора – 214–63–64, ответственный секретарь – 214–34–44, отдел прозы – 214–51–68, отдел поэзии – 214–63–64, отдел критики – 214–71–34, отдел публицистики – 214–60–24.
Телефон для справок: 214–31–23.

© «Октябрь». 1998. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.
Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3046 экземпляров журнала.

Технический редактор Т. С. Трошина.

Сдано в набор 30.09.98. Подписано к печати 23.10.98. Формат 70x108 1/16.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.–отт. 17,50. Учетно–изд. л. 21,61.
Тираж 9320 экз. Заказ № 2798. Цена 16 руб. 50 коп.

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А–137, ул. «Правды», 24.

Бахыт КЕНЖЕЕВ

Золото гоблинов

РОМАН

1

Вслушиваясь в шум октябрьского дождя, кто не надеется различить сокровенный смысл в его однообразной, в его утомительной речи? А он медлительно падает с темного неба, стекает с крыш и обнаженных веток вначале каплями, потом струями, и если что и произносит, то не унижаясь до нашего языка.

Я отпил из холодного на ощупь серебряного стаканчика с неразличимой уже, совсем почерневшей гравировкой. Грешно пить одному. Вообще грешно быть одному. Но это заповедь для здоровых. Даже пес уходит от хозяина умирать в ближайший овраг. И забивается в угол, и рычит, когда ему хотят помочь. Мне еще не пора, впрочем. Я не стар и способен слушать дождь. По утрам я первым делом отыскиваю в газете прогноз погоды и радуюсь, если к вечеру, как сегодня, обещают осадки. Когда поставишь мое кресло с сосновыми подлокотниками поближе к окну и откинешься в нем, взгляд устремляется в пустое небо. Клонит в сон. Дождь как бы возрастает, заполняя все сознание, омывает его, растворяет в себе. Если в такой миг зазвонит телефон или раздастся стук в дверь, можно испугаться, что сошел с ума,— такая пропасть между ровными волнами засыпания и осязаемым миром. Из серого шелестящего марева передо мной снова возникла операционная московской больницы. Меня опять кольнуло в сердце. Я который раз медленно взлетел к потолку, к ослепительной бестеневой лампе. Худой врач с намечавшейся проплешиной на макушке в отчаянии вдавил в мою бледную грудную клетку какой-то прибор на оранжевом шнуре, нажал на кнопку, и жалкое, покрытое синяками тело на хирургическом столе содрогнулось.

Я знал это видение почти наизусть и, не будь оно столь для меня сокровенным, непременно написал бы доктору Моуди для следующего издания его прославленного, хотя и не очень убедительного исследования. Я смотрел на свое тело, вспоминая влажный брезент палатки, пробивающийся в затянутое мелкой сеткой окошко свет полной луны сквозь шумящие еловые ветки и ломающийся голос самого бойкого из скаутов. Я слушал даже более завороженно, чем остальные, потому что английский знал еще неважно. «А вы что думаете? — говорил он, и мне казалось, что глаза его посверкивают во тьме.— В каждом похоронном доме в печи есть такое окошко, только смотреть никому не дают, потому что труп при сжигании шевелится, а иногда вообще пытается встать и проклинает все на свете». Скауты испуганно замерли в темноте.

Воспоминание мелькнуло, заставив мою душу улыбнуться, и вдруг все, что видела она под собою, представилось ей столь же убогим, сколь подсохшие остатки неубранного праздничного ужина на следующее утро. Врач возился со своим прибором, пытаясь, должно быть, увеличить напряжение, статный практикант-фельдшер, сдвинув свои собольи брови, озадаченно покусывал нижнюю губу. Лежащее на столе еще утром не то что заигрывало с ним во время

обхода, но посматривало на его ладное тело с оттенком интереса, которого он не мог не заметить. «Пора»,— подумал я, подымаясь сквозь потолок, сквозь железобетонные перекрытия с пустотами, заполненными строительным мусором, но очутился не в помещении следующего этажа, а как бы в ином пространстве. (Нет, никакого света в конце тоннеля я не видел.)

Если в этом пространстве и существовал язык, то это был язык дождя, вскриков падающих камней, пронзительного сияния звезд в безвоздушном пространстве. Читая Коран, мы заблуждаемся: тенистые сады с фонтанами, полнобедрые гурии и чаши вина, запрещенного правоверным на этом свете,— это лишь бедные образы, которыми приходилось орудовать пророку по врожденной скудости человеческой речи. Моя освобожденная душа обнимала как бы всю Вселенную, и я знаю, как смешно это звучит. Но напрасно издевался Достоевский над простодушным автором пьесы, в которой участвовали среди прочего хор минералов и балет небесных тел. Может быть, автору довелось испытать то же чувство, что и мне, и он так же мучился над его переводом сначала на обыденный язык, а потом на язык искусства.

Это ощущение единства с миром, как миг высшего наслаждения в любви, не могло продлиться долго и стало перерождаться в тоску.

— Ну, здравствуй,— услышал я и, обернувшись, увидел Алексея, с которым при жизни мы были на «вы». Он носил нечто похожее на хитон — не тот, что на своих выступлениях, а более свободный, колышущийся, бесплотный, в один миг белый, в другой — голубоватый.— Вот так мы тут и обитаем.— Он взял меня за руку, и вдруг свет и тьма разделились окончательно, и я увидел, что мы стоим на желто-коричневой равнине, засаженной пыльными виноградными лозами, рачительно подвязанными к деревянным столбикам. Вдали громоздились черные горы со снежными шапками на вершинах.

Я выбрал себе это время и это пространство.

Над нами вдруг запылало полдневное солнце, ветерок донес запах моря, и на миг я ощутил себя не в загробном мире, а в самом обыкновенном, где-нибудь в Греции, скажем.

— Но тебе еще рано,— улыбнулся он, отпуская мою руку, и в следующее мгновение я уже очумело мотал головою в своем кресле, чувствуя, что отлежал правую руку. После перелома она стала слишком чувствительной. За окном по-прежнему гудели автомобили и посвистывал ветер, ледяной даже на слух. Впрочем, сразу же после моего пробуждения кто-то постучал в дверь — сначала нерешительно, потом настойчивее и настойчивее. Звонок не работал уже месяц, но гости ко мне не ходят, и чинить его нет надобности.

2

Я отворил дверь, не посмотрев в глазок, но вместо неулыбчивого дворника, обыкновенно в эти числа собирающего квартирную плату, увидел на пороге вымокшую до нитки и заметно похудевшую Жозефину. Под ее мокрым плащом виднелись черное в обтяжку вязаное платье и черные лосины. Того же цвета была и шляпа с кокетливо изогнутыми полями. «Женщины неисправимы»,— подумал я.

— Что же ты не позвонила сначала? — сказал я вслух без особого упрека.

— Ты мне в тот раз сказал, что всегда дома вечерами.

— И то верно,— согласился я, отступая в глубь прихожей.— Позволь, я помогу тебе раздеться. Ты просто так или по делу?

— Скорее по делу.— Она скинула пахнущий дождем плащ, поставила в угол раскрытый зонтик и робко прошла в гостиную, освещенную только светом уличных фонарей.

— Садись куда хочешь,— сказал я.— Можно на диван, можно в кресло. Что же ты не на машине? Как насчет фена? Чаю? Коньяку?

Я включил торшер и поставил чайник, вскипевший почти мгновенно.

— Фен не нужен, слишком много хлопот, и коньяку не стоит, а чаю да, конечно, Анри, спасибо. Машина, представляешь, опять сломалась. Карбюратор полетел. Механик уже третий день тянет. А на улице такой ветер, что, видишь, даже под зонтом я вымокла. Как выворачивало его, пока я шла от метро,— еле удержала. Не дай Бог простудиться. Обезжиренного молока нет? Ну и ладно. И Earl Grey... у тебя хорошая память.— Она замолчала, мелкими глотками отпивая чай и часто облизывая ненакрашенные губы.— Я получила у Верлина справку о работе Алексея для пенсии. Он сказал, что оставшийся от АТ компьютер вроде бы у тебя. Странно как-то получается.

Виновник неурочного визита моей гостьи, порядком поцарапанное, но исправное чудо позавчерашней техники, через приоткрытую дверь спальни посвечивал своим голубоватым экраном. Однажды АТ в приступе откровенности рассказал мне о некоей рыжей общей тетрадке, доставшейся ему в наследство от знаменитого дяди, и о том, с какой благоговейной постепенностью — по одной страничке в неделю, если не в месяц,— изучал он в юности этот музейный документ. Понимаю его давнишние чувства. Свежее горе до сих пор мешает мне привести в порядок все файлы на компьютере, вернее, обнаружить на нем обещанное. Пока я имею дело только с кучей электронного мусора, обрывками, пустяками.

Ах, Жозефина, милая моя, нет у меня официальной бумаги на право владения этой недешевой игрушкой, и постороннему может представиться, что я ее попросту присвоил. Но ты же не посторонняя, ты знаешь и меня, и покойника-мужа, ты же поверишь в тот разговор без свидетелей в известном баре при супермаркете Irish House на Новом Арбате, куда затащил меня АТ примерно за неделю до постигшей нас катастрофы. В крошечном баре недолюбливали местных, но АТ, с вызовом поглядывая на средней руки бизнесменов, мирно попивавших свой Guinness, говорил исключительно по-русски.

— Возненавидел я эту страну, Анри, а под иностранца косить тем не менее не желаю,— бормотал он над стаканчиком неразбавленной водки. В тот вечер он надел затрапезное — голубой свитер с дыркой на локте, обтрепанные снизу джинсы.— Знаете ли вы стихи Тютчева? Как грустно полусонной тенью, с изнеможением в кости, навстречу солнцу и движенью за новым племенем брести? Все это скоро кончится, во всяком случае, для меня. Между тем надо вести свои дела так, чтобы в любой момент быть готовым их сдать.

— Накаркаете,— затревожился я.

— Могу и накаркать,— кивнул он,— я человек суеверный. Но, вдруг что, заберите мой «Макинтош», разберитесь в его содержимом. Там две ненапечатанных повести, кое-какие дневники. Несколько эллонов. Хотите, формальную бумажку напишу?

— Алексей Борисович,— накинулся я на него,— не кощунствуйте! Ну зачем вам так кокетничать? Чтобы цену себе набить?

— Оставьте,— ответил он спокойно,— я трезвее вас отношусь к жизни и чувствую, что мои силы уже на исходе.

— Так и вижу вас намыливающим веревку,— съязвил я, стараясь сбить с него патетическое настроение,— или бросающимся под поезд метро.

— Этого я не сделаю,— голос его несколько протрезвел,— и все же запомните на всякий случай, а? Не Верлину же разбираться в моем архиве, не Жозефине же. Тем более что она русского не знает.

— А друзья-аэды? — сдался я.

— Один стал законченным алкоголиком, другого я, в общем, разлюбил.

Я приоткрыл глаза. Видение рассеялось. Жозефина, имени которой в своем пересказе я не упомянул, при свете торшера казалась куда моложе своих тридцати восьми. Она вытерла глаза черным платком и потянулась к бутылке. Я принес ей небольшой бокал.

— Неужели он ни слова не сказал обо мне? Ни одного слова? После всего, что я для него сделала?

Я лицемерно покачал головой. Никогда не слышал в ее голосе подобной горечи.

— Мучил меня при жизни, мучает и после смерти! Господи, за что такое наказание? Ладно, Анри, я тебе верю. Но я не о железке говорю, хотя она и стоила в свое время четыре тысячи. Ты меня знаешь, я не стану качать права и кричать, что по закону все имущество покойного принадлежит его супруге. Но пойми, только не обижайся, эта ответственность должна лежать на мне. Ты ведь никогда по-настоящему не ценил его таланта. А я специалист и к тому же его вдова. Кому, как не мне, разбирать его архив? Ты скажешь, что в последние годы он все силы тратил на свой проклятый бизнес, на пьянки, на посредственную прозу, что он перестал выступать, а вероятнее всего, и писать. Не верю. Он был действительно творческим человеком. Он просто переживал кризис зрелости. Я убеждена, что есть какая-то незавершенная работа, наброски, планы — все это нужно будущим поколениям, во всем этом ты разобраться не сможешь.

Улыбнувшись про себя этим *будущим поколениям,* я пригубил свой Napoleon St-Remy, с золоченым профилем императора на этикетке. *Творческий человек* всегда пил из того самого стаканчика, который сжимал я сейчас в руке. Давно еще позабытый Алексеем в моей тогдашней квартире, подарок Кати Штерн так у меня и прижился. Как согревает рюмка коньяку,— а то и две, и три — в осенний промозглый вечер у окна, за которым воздушная пропасть. На ее черном дне трогательными огоньками переливается море непритязательных домиков темного, как бы закопченного кирпича. Грохот дорожного движения со скоростного шоссе почти не слышен. С моего двенадцатого этажа кажется, что за занавесками этих домов таится уютная, справедливая, настоящая жизнь.

3

— Ценю твое благородство,— сказал я,— но сирот и вдов я грабить не намерен. Кстати, мне уже предлагали за компьютер три тысячи.

— Кто?— встрепенулась Жозефина.

— Сама знаешь.— Взгляд мой невольно поймал серебряный стаканчик в пятнах окиси.

— Не смей отдавать компьютер этой потаскушке! — оскалилась Жозефина.— Уж она-то точно ничего не понимала в АТ.

— Не беспокойся. Слушай, а как у вас с Дашей с деньгами?

— Двенадцать тысяч канадскими осталось у него в банке, а страховая компания до сих пор ведет расследование. Какая-то сволочь передала им некролог в «Экзотерическом вестнике». Тот самый, где свора его коллег пишет о неладах в семейной жизни, о разочаровании в своей профессии и в своей стране, о том, что он, видите ли, достиг такой степени внутреннего опустошения, когда смерть стала единственным выходом. Ну, во-первых, можешь представить, каково все это было читать мне. А во-вторых, ты знаешь, конечно, что при самоубийстве страховка не выплачивается. Так что не исключено, что мы совсем обнищаем. Пенсия будет, но ничтожная.

— Я могу дать официальные показания страховой компании.

— Спасибо, я попрошу тебя, если потребуется.

Нет, пожалуй, не корысть привела ко мне Жозефину, она всегда была бессребреницей и спокойно терпела первые семь лет их совместной жизни, пока АТ перебивался то внештатной журналистикой, то жалкими выступлениями по сотне-другой за вечер. Но овдовела она, уже привыкнув к приличным заработкам АТ, а на дворе стояли девяностые годы. Защитив диссертацию, Жозефина уже третий год каждую весну подавала заявления в университеты — от Лос-Анджелеса до Новой Шотландии, собирала рекомендации, ездила на собеседования, однако так и оставалась почасовиком при Монреальском университете, с ничтожным жалованьем и ничтожной надеждой на полную ставку.

— Так что же? Две с половиной тысячи я бы тебе заплатил, только в рассрочку, если можно.

— Дай подумать. Знаешь,— голос ее вдруг смягчился,— во мне борются инстинкты вдовы, очень хочется взять компьютер на память, и матери — денег попрежнему негусто, а девочка растет. И тебя не хочется обижать. Так что я, наверное, соглашусь. Только главное: мне нужны будут копии всех файлов. Давай я возьму у тебя машину на время, перепишу все на свой компьютер, а потом верну. Хорошо?

Я замолк в замешательстве. Выступая не в качестве вдовы АТ, а в роли доктора эллоноведения, Жозефина могла составить себе некоторую репутацию публикацией посмертных материалов Татаринова, гибель которого вызвала немалую скорбь в экзотерических кругах. Но отношения между ними в последние три года, когда Алексей начал проводить добрую половину времени в России, были далеки от безоблачных. Не раз, когда АТ отсутствовал, доводилось мне выслушивать от Жозефины по телефону обвинения разнообразные и бестолковые. Она ревновала его к Кате Штерн, к Марине Горенко, к безымянным поклонницам, порою даже ко мне, а более всего, вероятно, к его же собственному таланту. Он платил ей возрастающим отдалением. В архиве АТ вполне могли найтись наброски или дневниковые записи, обидные для вдовы. И, возможно, они интересовали ее не меньше, чем наброски эллонов, а уж со словарем она их как-нибудь бы одолела.

— Дело в том, что главный участок жесткого диска заблокирован,— сказал я.— Даже у меня нет доступа к этому архиву.

Я отвел ее в свою крошечную спальню, к письменному столу, где на экране включенного компьютера издевательски мигала надпись «введите пароль». Компания, разработавшая шифровальную программу, утверждала, что даже ее специалисты не могут восстановить забытого или потерянного пароля. Жозефина беспомощно взглянула на «Макинтош» и вдруг зарыдала. Я по-братски обнял ее за плечи, пытаясь успокоить, а она прижалась ко мне, расплакавшись.

4

Уже два месяца, как выписали меня из московской больницы и позволили вернуться в Монреаль, сняв предъявленное было уголовное обвинение. Жозефина не случайно застала меня дома: я выхожу редко, и когда автоответчик с наигранной энергичностью сообщает звонящим об отсутствии хозяина, то последний чаще всего сидит в кресле по соседству, даже не прислушиваясь к сообщениям. Впрочем, я почти никому не перезваниваю, и день ото дня все меньше людей желает со мною связаться. Сбережения мои почти на исходе, но позавчера пришел первый чек пособия по безработице, в размере скромном, однако достаточном для сравнительно безбедного коротания дней.

Как наслаждаюсь я этим добровольным бездельем, этим тишайшим, почти растительным существованием, наполненным воспоминаниями и нехитрыми хозяйственными заботами одинокого человека! Три года работы с господином Верлином в постсоветской России навсегда утолили мою жажду приключений. Я присутствовал при обысках и автоматных перестрелках, я читал газетные пасквили, ждал звонка в дверь, скорого суда и многолетнего тюремного заключения, участвовал в собраниях лучших экзотериков России, видел, как составлялись и в считанные часы испарялись миллионные состояния.

Я устал и должен как следует отдохнуть. Но приключения были все же не главным в этой заокеанской жизни. В Москве я особенно сблизился с покойным Алексеем. До самого конца дружба наша оставалась совершенно невинной...

Алексея больше нет (какая дикая фраза!), и я, лишившись ближайшего друга, вижу, что и сам с головой погрузился в нечто вроде кризиса зрелости, в черную тоску, чередующуюся с вялостью, а иной раз и с гневом на мироздание. И

это я, тот самый Анри, еще в средней школе славившийся уравновешенностью и добрым нравом! Между тем я далеко не стар.

Покуда одни ищут непрестанных волнений и страстей, другие стремятся к неизменности, за это и получают ярлыки соответственно искателей приключений или обывателей. И те, и другие, конечно, крайний случай. Пусть искатели приключений встречаются реже, но и обыватели не столь распространены, сколь разновидности homo vulgaris, сочетающие в себе, в том или ином соотношении, оба непримиримых начала. Недаром современное искусство по большей части крутится вокруг обыкновенных людей, которые то поддаются мирским соблазнам (любовь, тщеславие, жажда денег и власти), то борются с ними.

Я, вероятно, поддавался лишь соблазну любви, да и то с сугубой осторожностью, так что могу с чистым сердцем отнести себя к обывателям. Несчастный АТ был иным. В положениях самых житейских он умудрялся усматривать некий подспудный пламень, что бывало иногда смешно. Вспоминаю, как в его карликовой гостиной пятилетняя Даша смотрела видеозапись бессмертной «Мэри Поппинс» и главный герой-трубочист, он же художник, распевал свое:

Chim-chimanee chim-chimanee chim-chim-chim-cheroo,
I does what I likes and I likes what I do!

Не обращая внимания на протесты дочери, взволнованный АТ перекрутил пленку и послушал песенку еще раз.

— Черт возьми,— твердил он потом весь вечер,— в единственной строчке такая философия!

— У тебя талант все преувеличивать,— брюзгливо заметила Жозефина, когда мы уже перебрались на террасу.— В твои годы пора бы избавляться от восторженности. Я ребенка укладывала, отрывала время от собственного сна, полагая, что вы тут ведете разговоры о работе, а ты...

Сколь ни детскими могли казаться эти восторги, аэд был прав. Ни ему, ни мне никогда, пожалуй, не удавалось делать то, что любишь, любя при этом то, что делаешь. Мне приходилось участвовать в крысиных бегах, как называем мы, подражая американцам, свой образ жизни, он следовал за своим так называемым призванием не всегда по собственной воле.

С меня, во всяком случае, на нынешнее время достаточно. Слава Богу, что я родился в двадцатом веке и живу в просвещенной стране, где нет не только войн, но и воинской повинности, где можно посвятить несколько месяцев тому, чтобы привести в порядок свою растрепанную душу, а заодно и разобраться в архиве покойного товарища, не без тайной цели утолить горечь потери, как бы растянув прощание с другом, и кроме того... но здесь я теряюсь.

Бессмертия нет, вечной памяти тоже, но как муравей строит свой холмик, зная, что назавтра его может разметать ветер, так и мы стремимся хоть ненадолго продлить существование — если не собственное, то своих близких. Вот, наверное, почему пишу я эти записки, адресованные скорее всего лишь ледяному и пустому пространству.

5

Я проводил заплаканную Жозефину до лифта, обещав на днях отдать ей первый чек, а также сделать все возможное для расшифровки пароля, может быть, обратиться за помощью к отцу. Дождь утих, в прорывах между мутными облаками плавала безумная луна. Я закурил сигарету из пачки с новомодной черной надписью «Курение во время беременности может повредить здоровью вашего ребенка» и задумался, ощутив неожиданное раздражение.

При всей моей любви к ушедшему другу, при всем возможном значении его личности и творчества для экзотерики российской, а может быть, и мировой, не лучше ли мне вообще не войти в историю, чем остаться в ней в роли прихлебателя?

Когда знакомые и коллеги АТ в Москве видели во мне всего лишь его доб-

родушного и услужливого приятеля, я редко обижался, потому что с каждым возвращением домой попадал в свой собственный мир, где мой аэд превращался из знаменитости в заурядного чудака, неумело пытающегося зарабатывать на жизнь, где он нуждался во мне, быть может, больше, чем я — в нем.

В последнее время, однако, началось зловещее взаимопроникновение этих двух миров.

В трех кварталах от меня поселилась Катя Штерн, на чьи звонки я иногда отвечал. Не то из Северной Калифорнии, не то из Южной оставил мне на автоответчике запоздалое соболезнования неунывающий Безуглов, находившийся во всероссийском розыске. И если Ртищев после гибели АТ ударился в многомесячный запой, то Георгий Белоглинский прислал мне письмо на официальном бланке Союза российских аэдов, подписавшись в качестве его председателя и сообщая о своем скором приезде. Иными словами, даже в своей монреальской жизни я начинаю, кажется, становиться тенью АТ.

А может быть, виновато спиртное, вернее, та *невыразимая печаль,* которая охватывает меня после двух-трех неполных серебряных стаканчиков в этой стерильной квартирке с белыми стенами в бетонном доме, недалеко от грохочущего шоссе.

— Любой другой счел бы за честь разбираться в этом архиве,— осторожно сказала мне Катя.

— Вот сама бы этим и занялась,— отвечал я не без раздражения.

— Я не смогу, даже если ты согласишься продать мне компьютер,— сказала она быстро,— у меня только на вид такие крепкие нервы.

— Зато у меня они крепче, чем может показаться. Дай мне время, я, конечно, сумею. Две повести, подумать только. Жаль будет, если они пропадут.

Ничто человеческое мне не чуждо, в том числе и ревность. И АТ, и Катя, неизменная и недостижимая звезда на его любовном небосклоне, хорошо знали, что наша странная дружба в некоем высшем смысле обрекала меня на монашество — не буквальное, я не такой зануда, но все же чрезвычайно болезненное.

Тем более что любовь, на которую я способен, не может иметь привычного выхода. Я не мог бы променять АТ ни на кого, но, будь я женщиной, я нарожал бы сто детей, как в старой песенке, и забыл бы о своих страданиях. Да и в нынешнем своем состоянии, возможно, я сумел бы заставить себя заняться производством потомства. Но, увы, я не считаю жизнь столь прекрасной, чтобы умножать число живущих. И вместо ответа собственному ребенку на неизбежный вопрос о смерти я, вероятно, залился бы краской стыда за то, что по моей вине послано в неуютный мир очередное обреченное существо.

— Мысль довольно глубокая, не хуже любой другой,— похвалил меня АТ с тем снисходительно-удивленным выражением, которое появлялось у него на лице, когда я говорил на отвлеченные темы.— Я тоже порою подозреваю, что вся эта морока с потомством, да и с любовью, честно говоря,— чистое надувательство со стороны Господа Бога. Ртищев точно так считает. Во всяком случае, ни одному из своих троих детей он ни разу не послал ни копейки. Но это теория, любезный мой Анри, а дети приходят и требуют нашей любви, не интересуясь человеконенавистническими построениями.

— А потом вырастают и оставляют вас в одиночестве.

— Не спорю.

Он потрепал по темно-русым волосам свою румяную жизнерадостную Дашеньку, сооружавшую у его ног из пластмассовых блоков нечто, даже отдаленно не напоминавшее изображенный на коробке пиратский корабль. (Разумеется, зрелище было донельзя трогательное.) Но, видимо, что-то напряженное почувствовала она в его поцелуе, потому что вдруг разревелась и убежала, сорвав наши посиделки. На террасу сразу же явилась рассерженная Жозефина с наушниками на голове.

— Что ты наделал? Ты же обещал посидеть с ребенком, пока я готовлюсь к семинару,— сказала она с понятным раздражением,— а сам опять пьешь.

Смутясь, я оделся и сухо раскланялся. Никогда не забуду униженного выражения на лице моего аэда, который во всем, что не было непосредственно связано с экзотерикой, отличался достаточно робким нравом.

6

Я солгал Жозефине только наполовину. Сам компьютер открывался паролем, который АТ сообщил мне еще три года назад. Это было слово «Ксенофонт». Так что я вполне мог пользоваться машиной. А тут еще и Интернет подоспел. Самое милое дело для такого анахорета. Стук в электронную дверь. Входи. Как дела? Отлично. Ты откуда? Из Калифорнии. А я из Новой Зеландии. Как погода? Солнышко. А у нас уже ночь. Ты как думаешь, Бог есть? Не понял. Ты что имеешь в виду? Ну, буквально. Бог есть? А черт его знает. Ты не голубой? Никак нет. Ну пока? Счастливо.

Много чего можно делать с компьютером. Можно, например, личные финансы подсчитывать, переводить денежки с одного условного счета на другой. Можно писать письма в неизвестность. В игры играть. Разглядывать содержимое диска и, наконец, обнаружить на нем заблокированный участок, а потом безуспешно пытаться его открыть. Я в замешательстве. Переписать для Жозефины часть файлов из папки «Экзотерика» можно без всякого ущерба. Но все мелкие заметки, в которые я до сих пор лезть боялся, надо бы подвергнуть тщательной цензуре.

Впрочем, время терпит. Как сказано выше, после студенческих лет я впервые получил шанс как бы остановиться и оглядеться. Грех упустить такую возможность. Жизнь АТ, вероятно, еще опишут усердные биографы, благо в России не скоро переведется класс просвещенных бездельников. Моей же персоной заниматься некому, кроме меня самого.

Но я пишу не для развлечения публики, она волнует меня еще меньше, чем я — ее.

Тогда для кого же? Неужели для себя? Нет, я не охотник до мастурбации. Значит, заносимое на бумагу можно назвать, например, письмами Господу Богу, как бы претенциозно это ни звучало. Это письма без надежды на ответ: так, вероятно, брошенный на всю жизнь в застенок раз в год посылал прошение о помиловании королю, догадываясь, что оно вряд ли покидает пределы тюрьмы.

Сидя за древесно-стружечным письменным столом, оклеенным пластиковой пленкой под дуб, я радуюсь, что передо мною окно, а не зеркало, как обычно бывает в гостиничных номерах. Я сказал об усердных биографах? Преувеличение. Смерть АТ совпала с каким-то поворотным пунктом в российской истории. Перед отъездом из России я встретился с Белоглинским, чтобы обсудить издание посмертного двойного альбома АТ.

— Ты понимаешь, старичок, требуется спонсор,— искательно и в то же время отчасти свысока глядел на меня Георгий,— ты же знаешь, что главное государственное издательство после приватизации издает только попсу, мелкие просто закрылись, а частные Бог весть когда появятся. То есть любая фирма издаст что угодно, разумеется, однако, сам понимаешь, требуются башли. Тем более что предыдущие два диска не распроданы. Ах, не подумали мы вовремя, когда у вашей фирмы еще были несметные миллионы! Что же ты проворонил?

— Алексей был против,— напомнил я Георгию.

— Ну и не надо было его слушать! А теперь вот выкручивайся, как знаешь. Хотя самое забавное, что деньги-то, в сущности, ничтожные! Тысяч, скажем, пятнадцать зеленых. Вот и организовал бы что-нибудь типа сбора средств,— заключил Георгий.— Мы тут создадим общество памяти, то, что раньше называлось комиссией по культурному наследию, подключим Исаака, даром что он живет анахоретом — от него только подпись и нужна. Подключим канадское посольство. И уже месяца через три диски выйдут как миленькие!

— А тебя правда выдвинули в председатели Союза экзотериков?

— Ну! А толку что? Разве что отсидеться, пока забудется вся эта история. Я тоже на ней погорел, и новых заказов на ролики нет. Подвели вы меня, братцы, основательно подвели.

В ресторане Центрального дома экзотериков, среди развесистых пальм в горшках, отражавшихся друг в друге зеркал и резьбы по мореному дубу, мраморный Базилевкос итальянской работы бесстрастно глядел слепыми очами на тихих посетителей. Трещина на его лире была аккуратно покрыта слоем розоватой краски, в тон камню. Ресторан собирались вскоре продать в частные руки, в связи с чем называлось имя Белоглинского. Не берусь судить, по счету с нас взяли ровно столько, сколько с любого другого, то есть порядочно, а деньги мои уже были на исходе. Примерно каждый пятый посетитель, несомненно, был природным аэдом, узнаваемым по ненапряженному выражению лица и нестрогой одежде. С углового столика нам махал рукою одинокий некто лет под шестьдесят, в замшевом пиджаке и замшевой же, тонкой выделки, рубашке. Наконец он грузно встал и через весь зал, притопывая, направился к нашему столику. Штаны его тоже оказались замшевыми.

— Что же ты, молодежь, не реагируешь на классика? — рыкнул он Георгию.

Никогда не понимал этого агрессивного панибратства.

— А, Сергей Петрович,— отозвался Георгий с умеренным радушием.— Познакомьтесь, это Анри, старый друг Алексея Татаринова.

Мы пожали друг другу руки, и маститый аэд присел к нам за столик. Только тут я узнал Ястреба Нагорного, которого никогда не видел в мирской одежде.

— Какая ужасная потеря для нашего искусства! — вздохнул аэд после рюмки. Мы выпили, не чокаясь.— Вы, конечно, знаете, Анри, что мы были дружны с Татариновым, насколько позволяла разница поколений?

— Почему же вы не подписали некролог? — не удержался я.

— Увы, не могу видеть свою фамилию в одном списке с Исааком Православным! — Ястреб развел руками.— Мне не по пути с теми, кто использует экзотерику для наживания политического, да и не только политического, прошу заметить, капитала.

7

О, рокочущий, вельветовый, вкрадчивый, но напористый голос стареющего классика! Я сразу все вспомнил. Реформы в России еще не начинались; в один из своих обычных приездов в Америку Ястреб Нагорный, которого, Бог знает почему, продолжали почти беспрепятственно выпускать за границу, посетил и наше захолустье. Зал на полтораста мест заполнила потешная смесь эллоноведов, любителей экзотерики, славистов, советологов и российских эмигрантов; можно было, впрочем, разделить аудиторию на рассматривавших приезд Ястреба Нагорного как визит посла доброй воли и на непримиримых, полагающих, что кумир шестидесятых помогает большевикам одурачивать простодушных либералов.

Как давно это было, будто и вовсе не было.

Женя Рабинович, после того как дотла сгорела вверенная ему церковь, уже три года мается в лечебнице. А тогда, после перерыва (в университете еще разрешалось курить), он встал с заднего ряда, еще более, чем обычно, похожий на ветхозаветного пророка.

— Вы,— каркнул он,— Ястреб Нагорный! Вам не стыдно бряцать на лире, когда в Афганистане гибнут российские солдаты и мирные жители?

Ястреб взглянул на него с равнодушным утомлением. Война длилась не первый год, и, вероятно, ни одно выступление за границей не обходилось без подобных вопросов. Он взял со столика свою стеклопластиковую лиру, отделанную титановым сплавом, и потряс ею в воздухе.

— Этим и только этим,— воскликнул он,— мы, аэды, боремся с убийством, возведенным в ранг закона, с тем, что простолюдины называют войной.

— А как насчет отказников? — раздалось из гущи аудитории.

— Всех отказников следует отпустить,— категорически сказал Ястреб,— всех до одного, за исключением причастных к государственным тайнам. Но это, как вы сами понимаете, мое личное мнение.

Левая (в переносном смысле, разумеется) половина зала разразилась рукоплесканиями; правая казалась обезоруженной, и унылые выкрики вроде «легитимность преступного режима» и «обман общественного мнения» звучали уже не столь убедительно. Жаль. Я пришел, отчасти надеясь позлорадствовать. Впрочем, в первом отделении я получил и неожиданное удовольствие от внимательного изучения хитона уважаемого аэда, весьма ладно скроенного и вручную раскрашенного по мотивам раннего Шагала.

После выступления кафедра славистики и кафедра эллоноведения устроили небольшой прием. Алексей, разумеется, был приглашен, но денег на билет не имел. Поколебавшись, пошел и я, выложив двадцать долларов. Накануне АТ, волнуясь, весь вечер рассуждал о коренных творческих разногласиях между школой Ястреба и его собственной; я слушал вполуха, о чем сейчас жалею. Но мемуарист из меня вообще прескверный. Отлично запоминаю вещи преходящие: например, чуть сгорбленную, напряженную позу, в которой вещал за моим журнальным столиком АТ, кадык на его верблюжьей шее, содрогавшийся, когда он залпом, против всех правил, поглощал очередную стопку, слегка выпученные серые глаза и худую длань, поднятую к безответному бетонному потолку, но содержание инвективы от меня ускользает, как, правда, ускользало и тогда. Я понимал только, что Ястреб Нагорный, в сущности, личность не слишком аппетитная, и ни одно слово АТ этому вроде бы не противоречило.

— Нет, Анри,— заключил он, уже потеряв ясность взора,— зря вы смотрите на все в черно-белом свете. Давайте постановим, что человек сделал определенный вклад в культуру, а советская власть его пригрела в значительной мере случайно.

— Вас она почему-то не пригрела,— уколол я своего товарища.

Мы расселись в греческом ресторанчике, за столом на шестнадцать человек, покрытом бумажной скатертью. После первого же бокала вина, пахнувшего можжевельником и полынью, АТ не без робости представился гостю.

— Что-то припоминаю,— лживо сказал Ястреб, разжевывая жесткое колечко жареного кальмара.— Очень знакомая фамилия!

— У меня вышло две пленки в Атенеуме,— сказал АТ,— есть публикации в «Континенте», были выступления в Москве...

— Выступления, конечно, на частных квартирах, на студиях, в любительских кружках! А в Атенеуме кого только не выпускали.— Ястреб со вкусом обтер губы салфеткой.— Хотя попадались и любопытные экземпляры... Вообще же,— тут он повысил голос и перешел на подобие английского,— я считаю, что разделение российской экзотерики на так называемый андеграунд, включая эмиграцию и официоз, совершенно надуманно. Взять хотя бы Ходынского, уже пять лет я веду борьбу за выпуск его пластинки. Но сопротивление встречаю невероятное! Между тем важнее всего в мире само искусство, со своими законами, со своими правилами и со своими жертвами. Допустим, дон Эспиноса был в немилости у тогдашнего короля и даже отсидел свои несколько лет в темнице, а Буаренар пережил две революции, сохранив не только голову, но и свой пост первого советника министра финансов. Слушатель давно забыл об этом — ему важна только реальная ценность искусства. А чем вы здесь занимаетесь, Алексей? Преподаете? Или в бизнесе?

Покачав головою, АТ вернулся на свое место рядом со мною и за весь вечер не сказал уже ни единого слова.

Я проводил его домой по залитым дождем улочкам Плато. Клены еще не

облетели, но листья на них почернели и высохли, ожидая первого же порыва ветра, чтобы упасть на щербатую мостовую.

— Ну как? — бросилась навстречу мужу Жозефина, благородно просидевшая весь вечер с дочерью.

— Он обо мне ничего не слыхал,— сказал Алексей.

— А атташе по культуре там был? Из советского посольства? И ты думаешь, он его не боялся? Ох, Алексей, какой ты еще ребенок.

8

Покуда память моя путешествует во времени, дождь усиливается и холодеет, грозя гололедицей и мокрым снегом. Нам-то что, заключенным в четырех стенах! Я продолжаю смотреть в окно. Подъезжающие к дому машины сияют ясно-белыми сдвоенными огнями, а отъезжающие — карамельно-алыми. В каждом автомобиле свой мир, такой же сокровенный, как за окнами двухквартирных домиков. Даже передвигаться мы научились, как раки-отшельники, каждый сам по себе.

К концу века, все больше обособляясь друг от друга, мы объединяемся в небывалую разветвленную сеть. В каждый дом протягивает гигантский зверь свои щупальца.

Впрочем, мой новый телевизор так и пылится нераспакованным в стенном шкафу. Я хотел не тратить времени зря, я не хотел, чтобы меня отвлекали от воспоминаний. Но и память свою будоражить мне страшно, и на компьютер глядеть жутковато. За годы пользования даже машина становится вещью столь же личной, как ящик чужого письменного стола.

Например, я уже знаю, на жестком диске полученного компьютера едва ли не пятую часть занимают жалкие, первого еще поколения электронные игры. Самой сложной из них оказался «Тетрис». Я завел игру и под разудалое попискивание русских народных мелодий без труда занял первое, второе, третье, четвертое место в списке победителей, оттеснив в небытие сначала Алексея Грустного, затем Алексея Несчастного, потом Алексея Торжествующего, а в конце концов и Алексея Феноменального (уж не «Лолиту» ли читал в то время мой бедный друг?). Поиграл с компьютером в усовершенствованные крестики-нолики, вздрогнул, услыхав: «ТЫ ПРОИГРАЛ», произнесенное голосом Алексея. Поистреблял из небольшой гаубицы космических пришельцев... и закрыл компьютер, не понимая, зачем АТ так много времени тратил впустую.

Сам я не поклонник игр — ни компьютерных, ни обыкновенных, ни тех, что известны под названием «искусство». Не вижу большой разницы между ребенком, собирающим пластмассовую модель пиратского корабля, и художником, на крыльях вдохновения уносящимся к неведомым высотам. И то, и другое в конечном итоге не ведет решительно никуда. Отваги согласиться со мною у АТ не хватило, но в своей первой повести он немало страниц посвятил описанию игр — не компьютерных, правда, их еще не было тогда, а электронных,— пытаясь по-своему связать их с поисками смысла жизни. Впрочем, любил он не только игры, но и игрушки. Повесть писалась на подержанной пишущей машинке с шариком, эдаком бронтозавре, весившем добрых двадцать пять фунтов. Помню ребяческую радость АТ, когда из Торонто в крошечном тяжелом пакетике прибыли два шарика с русским шрифтом, помню, как корпел он над кусочком липкой бумаги, вырезая из него кружочки-наклейки на клавиатуру, печатать вслепую не умея. Помню и простодушное огорчение, которое охватывало аэда примерно раз в два месяца, когда машинку с роковой неизбежностью приходилось оттаскивать в ремонт, как-никак она уже прослужила кому-то не менее десяти лет. Эллоны оказались надолго забытыми, напечатанная вчерне повесть еще полгода перерабатывалась, затем отделывалась и глава за главою показывалась мне.

Впрочем, дело давнее, дело тщетное — повесть, в разгар перестройки опубликованная под каким-то среднеазиатским псевдонимом, прошла почти не заме-

ченной; в российской провинции этот томик на серовато-желтой бумаге, с силуэтом Монреаля на мягкой обложке, кажется, до сих пор можно купить по цене двух или трех батонов хлеба.

Знал бы мой простодушный товарищ, какое разочарование его ожидает! Повесть замышлялась не просто как литературное произведение, но как, во-первых, сага о грустной судьбе советских эмигрантов в Северной Америке (словно она кому-то интереснее, чем участь камбоджийских эмигрантов в Таиланде!), а во-вторых — некий способ начать новую жизнь.

— Поэты в Японии, достигнув славы, в тридцать лет меняли имя и начинали жизнь заново,— говорил АТ, нежно поглаживая стопку машинописных листков.— Я не хуже вас знаю, что экзотерика сейчас не в моде. Народу, поглощенному разрушением старого и созиданием нового, требуется искусство попроще. И я готов спуститься на его уровень. В конце концов важен не способ самовыражения, Анри, а только его результат.

Это сошествие с высот загадочного призвания на уровень толпы не удалось Алексею. Может быть, не рассчитав, он спустился слишком низко, но друзья-экзотерики после выхода повести не упускали случая подразнить его, да и я, свидетель рождения повести, с самого начала относился к ней прохладно. Что же до решительной Жозефины, для которой я с листа переводил отдельные главы, то еще до завершения этого худосочного сочинения она упрекала мужа в том, что он «ищет неполноценной замены растраченному таланту». Возможно, в ее словах и была доля истины.

9

Видение, с которого я начал свои записки, настроило и меня на высокий лад.

Если суеверное человечество затевало крестные ходы, фейерверки и балы даже по поводу конца века, то каких торжеств ожидать при агонии тысячелетия, тем более в эру дальней связи, превратившей планету в мировую деревню! Какая толпа соберется в новогоднюю ночь на Таймс-сквер в Нью-Йорке, на Красной площади, на Пикадилли! Как будет веселиться она, радуясь, что избежала конца света! Предвкушаю и в то же время поневоле испытываю соблазн, созерцая троекратный символ нирваны в порядковом номере близящегося года, оглянуться если не на мировую историю, то на тот ее кусок, который пришелся на мою собственную долю в уходящем веке.

Время, время, соблазнитель и убийца! Недаром после Страшного Суда, когда агнец со львом возлягут у берегов Стикса, одной из ипостасей воцарившейся справедливости станет грозное «времени больше не будет». Но пока оно еще движется, раскачивает нас, уносит, преследует.

Лет двадцать назад, едва ли не вчера, я уже казался себе взрослым. Следовательно, едва ли не завтра мне будет под семьдесят, а там пора и представать перед Господом Богом с отчетом, если, конечно, Он существует, в чем многие по-прежнему сомневаются. Как выражался АТ в свои насмешливые минуты, «человечество вряд ли заслужило существование Бога». Я, вероятно, постарел за последние годы, потеряв способность с былой бойкостью щеголять доводами в пользу отсутствия высшей силы. И стоит мне представить, что за пределами нашего — вернее, моего собственного, что одно и то же — бытия *ничего нет,* как под ложечкой зарождается жутковатый холодок, стремительно распространяющийся по всему телу. В конце концов даже у неверующих есть свой Бог, воплощенный в успокаивающей мысли о той неизбежности, с которой простейшие молекулы в первобытном супе складываются в белки, в ДНК, а затем — в клетки и перепонки, о той непреложности, с которой питекантроп преображается в неандертальца, а тот — в кроманьонца, о той ладности, с которой сменяют друг друга виды общественного устройства.

— Между тем семьдесят миллионов лет развития, — смеялся АТ, с удоволь-

ствием ссылаясь на свое естественно-научное образование,— это одна из самых обаятельных и утешительных глупостей, какими увлекалось человеческое племя; самая завалящая амеба может возникнуть из набора молекул с меньшей вероятностью, чем компьютерный процессор — из электронного хлама на свалке; самодовольная наука с удивлением обнаружила, что питекантропы — вовсе не наши предки, а первым цивилизациям ненамного больше лет, чем миру по Библии, и, может быть, сотворение мира состояло как раз в создании человека: до Адама никто, кроме Бога и его ангелов, не различал света и тьмы, а у них не было в этом нужды, потому что этот свет и эта тьма состояли из них самих.

Блуждая по Интернету, на страничке любителей астрономии я обнаружил фотографии, снятые запущенным, сломавшимся, а потом благополучно исправленным орбитальным телескопом имени Хаббла. При всей нелюбви к технике я на следующий же день попросил отца достать мне долларов за двести подержанный цветной монитор и теперь часами разглядываю одну из этих картинок, под условным названием «Инкубатор звезд». Это снимок галактики М-16: газовые столбы, отдаленно напоминающие грозовые облака, с узкими протуберанцами, в каждом из которых вызревает новая звезда. От нас до них — семь тысяч световых лет, и вряд ли найдется аэд, который сумел бы воспеть это зрелище, пожалуй, несколько более величественное, чем свержение памятника Дзержинскому или закат над Колизеем. Есть и еще фотографии — взрывы галактик, тягучая агония звезд, черные дыры, засасывающие в себя все — едва не написал «живое» — на сотни световых лет в окрестности. При желании в этих картинках, как в кляксах Роршаха, можно усмотреть стоящего спиной к нам дьявола, помедливших в полете ангелов, адское пламя или укутанные межзвездным туманом райские кущи. Я одолел это дешевое искушение; галактическое великолепие, увиденное в дальнем ультрафиолете кружащимся над нами телескопом, заставляет меня вздыхать лишь о ничтожности собственного места в иерархии бытия, о том, сколь немногим мы со всей нашей цивилизацией отличаемся от инфузорий в капле сенного настоя.

За пылающими столбами, за мириадами блистающих алым (из-за оптических искажений) светил мне тоже мерещится иная жизнь, к которой, увы, мы при жизни ли, после смерти ли имеем не больше касательства, чем какая-нибудь парамеция — к нашей.

Жаль, что в моей печали мне мало помогают эти мысли. Даже думая о галактиках, я чувствую, как мне не хватает Алексея. Он умел не только настраивать меня на высокий лад, но и легко сбивать с него острым словцом, блестящим парадоксом, за которым иной раз ровным счетом ничего не скрывалось. Мне тоже позволялось его поддразнивать. Конечно, я завидовал — не экзотерическим талантам, но умению по-свойски обращаться с высокими сферами нашей обреченной жизни, с усмешкой говорить вещи, которые настоящий верующий счел бы кощунством, а атеист — мракобесием. Иногда, впрочем, он бывал серьезен, и эти минуты я любил больше всего. И я уверен, что космические картинки вызвали бы у него что угодно — улыбку, восторг, завороженность,— но не ту меланхолию, которую поселяют они в моей бедной (читай, небогатой) душе.

А может быть, он вообще ничего не увидел бы в них. «Похоже на закатное облачное небо,— сказал бы он,— и что ты так носишься с этими картинками?»

И при этом, конечно же, лицемерил бы.

10

Алексей не был сверхчеловеком. Не раз и не два брался он уверять меня, возможно, смутно ощущая недостаток собственной убежденности, что бессмертие души не выдумка. Особенно после третьей или четвертой рюмки, точнее, стопки, слегка сходящегося на конус стаканчика дешевого хрусталя машинной огранки (подарок Кати Штерн извлекался из ящика письменного стола не всегда). Бог знает, куда в конце концов подевался этот стаканчик, привезенный в

скудном багаже из Москвы, завернутый в мятые, пожелтевшие страницы «Правды». Недавно мне попалась на глаза журнальная статья о роли хрусталя в советской цивилизации — об очередях, записи, взятках, гордости владельцев и огорчении тех, кто не мог украсить свой дом этим тяжеловесным свинцовым стеклом, как бы воплощавшим в себе идею постоянства,— короче, почти о том же, что рассказывал мне Алексей, когда глаза его (левый чуть заметно косил) уже начинали покрываться поволокой, а в речи появлялась не то что сбивчивость — о, язык у него был прекрасно подвешен в любых обстоятельствах! — но некий сдвиг, вряд ли заметный непосвященному.

Я принадлежал к посвященным и с удовольствием поддевал собеседника, когда чувствовал, что голова его затуманивалась.

«Но как же вы себе это представляете, Алексей,— безжалостно говорил я,— в виде старика с бородой, Страшного Суда, весов? Ангелов, наконец?»

«В виде иного бытия,— говорил АТ словами, как бы заново услышанными мною в моем неумело пересказанном видении,— которое мы можем представить себе не более, чем слепой — цвета, а глухой — музыку. Ангелы есть, но облик их нам доступен лишь приблизительно, искаженно. Мы видим жизнь как бы сквозь запыленное стекло —помните апостола Павла?»

Его блуждающий взгляд начинающего алкоголика замедлялся. Возможно, в эти минуты он представлял себе двух ангелов с трубами, нарисованных над иконостасом в монреальском соборе Петра и Павла, в освященном и перестроенном здании, некогда купленном у небогатого еврейского прихода.

Чаще всего подобные беседы приходились на воскресенье, когда, бывало, мы встречались в соборе, а потом он иногда приглашал меня к себе, на улицу St–Famille. Неизменно опаздывая к началу службы, он тихо протискивался между дисциплинированными прихожанами в уголок, к базарной иконе Святой Софьи и ее дочерей, молчал, потупясь, затем ставил перед иконой восковую свечку (не самую дорогую, но и не самую дешевую из продававшихся), подходил к причастию, а затем безмолвно делал мне пригласительный жест на выход, пренебрегая чаем и пирожками, которыми кормили в подвале проголодавшихся православных. Прожив в Монреале уже года четыре, он не работал еще даже в «Канадском союзнике» и с юмором висельника уверял, что оправдывает свое существование, гуляя с ребенком и стирая ему пеленки (фигура речи, не более — при всей бедности семейства пеленки использовались одноразовые).

Спиртное я предусмотрительно покупал сам (тогда в Монреале не было ни одного винно-водочного магазина, работавшего по воскресеньям, а индейцы торговали только контрабандными сигаретами): иной раз «Финляндию», иной — только появившуюся «Зубровку», с былинкой одноименной травы печального желто-коричневого цвета. На Napoleon St–Remy мы перешли значительно позже. (Для описанного ниже первого знакомства, помнится, я разорился на «Столичную», но перед тем, как осушить бутылку за милую душу, АТ устроил мне порядочный выговор за «финансирование преступного режима».) Наши посиделки обыкновенно проходили вдвоем: через кухню двухкомнатной квартиры имелся выход на веранду — застекленные шесть-семь квадратных метров, которые АТ иногда называл непонятным мне тогда словом «лоджия», но чаще — кабинетом. Там сквозило, особенно в зимние месяцы, и, надо сказать, было не слишком уютно. У окна стоял обогреватель, тяжеловесная, наполненная машинным маслом конструкция, выкрашенная в цвет свежей грязи; некогда ядовито-зеленые обрезки ковра, устилавшие пол, потемнели от сырости; с письменного стола облезал лак, обнажая прозаическую крашеную сосну. Надо ли добавлять, что вся обстановка приобреталась в Армии спасения или подбиралась на свалке. Впрочем, над раскладным диваном в крупных черно-алых цветах (на котором АТ ночевал, когда ссорился с женою) висела на гвоздике, вбитом в дощатую стену, весьма недешевая лакированная лира. Когда я резонно указывал самолюбивому АТ на то, что в такой среде он не может рассчитывать не только

на вдохновение, но и на обыкновенное хорошее настроение, он взрывался. «Не вещи влияют на душу,— изрекал он сдавленным голосом,— а, наоборот, душа человека выражает себя в окружающих его вещах». «Остроумно,— соглашался я,— но в вашем случае, Алексей, не имеем ли мы дела с заурядным мазохизмом? Откройте отдел объявлений в субботней газете, включите шестой канал телевидения, там сколько угодно подержанной, но вполне приличной мебели даже для семей с ограниченными средствами». «А вы, Анри,— огрызался он,— все-таки бухгалтер и навеки останетесь бухгалтером».

Рассердиться я не успевал: из жилых комнат раздавался либо детский плач, либо озабоченный голос Жозефины, АТ, извиняясь, уходил, а к его возвращению на столе уже стояли наполненные стопки и разговор сам собой переходил на другую тему.

11

С заоблачных высот искусства, вероятно, не видны различия между бухгалтером и экономистом с университетским образованием. (Бедный АТ не подозревал, что и бухгалтеру высшей квалификации нужно учиться четыре года.)

Правда, получив довольно бесполезную, в смысле поисков работы, степень бакалавра экономики, я испугался и продолжил обучение по модной тогда специальности деловой администрации. Возможно, стоило учиться дальше, чтобы в конце концов спланировать в сытую и сравнительно бесхлопотную университетскую жизнь, которая до сих пор привлекает меня, как любого человека с природной склонностью к лени, во-первых, и к вещам неосязаемым, во-вторых. Разве умничать перед молодежью или убивать время на заседании комиссии по установке новых кофеварок в студенческой столовой не существенно приятнее, чем продавать пылесосы домохозяйкам (к чему, увы, сводится в наш век большинство видов работы в развитых странах)? Однако академические мои способности далеко не блестящи; умеренная усидчивость не заменяла мне той интуиции, благодаря которой иные мои сокурсники на лету схватывали идеи самые замысловатые. Кроме того, получив (предположим) докторскую степень, я, возможно, был бы вынужден покинуть свой обожаемый Монреаль ради должности зауряд-доцента в каком-нибудь захолустном колледже. Но я далек от того, чтобы жаловаться: безработица мне не грозит, работал я не совсем по специальности, однако много путешествовал, постоянно радуясь тому, что в свое время пошел наперекор отцу и матери, хлебнул воздуха России в самые занятные, пожалуй, времена ее истории.

Мы чудом приехали в Канаду в начале семидесятых, когда мне едва исполнилось четырнадцать, по вызову моего бездетного дяди, перемещенного лица сороковых годов, вскоре отошедшего в лучший мир и оставившего нам практически полностью оплаченный домик в Сноудоне. Родителям было под сорок; еще добрых лет десять они сохраняли свой московский подход к жизни, и, когда перед окончанием колледжа шли разговоры о моем будущем, мать (советский бухгалтер, а ныне умеренно удачливый маклер по продаже недвижимости) твердила о «чем-нибудь гуманитарном», а отец — о мифическом компьютерном программировании, вероятно, услышав о нем от коллег-механиков в авторемонтной мастерской. Впрочем, вряд ли: и на английском, и на французском он в те годы говорил еще слишком скверно, да и коллеги интересовались скорее пивом и бейсболом, нежели вычислительными машинами. Вероятно, он прочел о них в тощей эмигрантской газете, с порядочным опозданием приходившей из Нью-Йорка каждую неделю пачками по шесть номеров. До появления первых домашних компьютеров (которые на нынешнем новоязе почему-то называются персональными, напоминая об окладах и автомобилях сталинских времен) оставалось еще несколько лет. Однако многих, включая и моего старика, завораживала сама идея компьютера, и в слове этом для них, вероятно, звучало нечто ми-

стическое. (Сейчас, отлаживая очередную «персоналку», отец, полагаю, испытывает к ней не больше почтения, чем ветеринар к лошади.)

Лично меня эти железки с экранами до последнего времени оставляли равнодушным. Я всегда признавал за ними некоторые достоинства в смысле облегчения работы, а теперь привязался к полученному в наследство «Макинтошу», получив доступ к мировой деревне, однако вряд ли моя прохладная приязнь когда-либо сравнится с восторгами АТ, положительно влюблявшегося в каждую из очередных технических новинок, начиная с описанной выше машинки IBM с шариком.

В конце концов и факультет, и набор предметов я выбрал сам, не слишком вежливо, но вполне справедливо сообщив родителям, что лучше разбираюсь в местной жизни. Возразить было нечего: переглянулись, одновременно пожали плечами (говорят, что супруги к старости становятся похожи друг на друга повадками и даже лицом), согласились. Итак, все то, что на английском называется «искусства», то есть иностранные языки и литература, история, социология, психология и тому подобное, было отброшено, не в последнюю очередь потому, что идея до тридцати лет жить на студенческие займы, а потом нудно искать работу вселяла в меня отвращение. Юридический факультет отпадал из-за слишком серьезного конкурса, медицинский — по той же причине. К естественным и инженерным дисциплинам я не питал ничего, кроме равнодушия и робости. Я остановился на экономике, справедливо поразмыслив, что со временем смогу рассчитывать на должность бухгалтера или управляющего (среди новых русских, кажется, принято говорить «менеджера»). Мой выбор покоился и на некоторых философских основаниях: например, я до сих пор верю в правоту Маркса, считавшего, что в основе цивилизации лежат производство и экономические законы. Можно выразиться и по-иному: я отнюдь не считаю вещи мертвыми. В известном смысле слова вещь, как и животное,— это наш бедный родственник. Изготовлять их я оставляю тайваньцам и туркам, но сам никогда не прочь поразмышлять о судьбах вещей. («И пролить крокодиловы слезы»,— съязвил бы АТ.) Кроме того, в стенном шкафу у матери висело два или три советских платья, оставленных из сентиментальных соображений; мне с детства было любопытно разобраться в устройстве общества, способного производить вещи столь ярко уродливые.

12

Довеском к моим университетским годам оказались и кое-какие знания по сугубо добровольным дисциплинам — в том числе советологии, русскому языку и русской культуре. Не обладая чрезмерной привязанностью к земле предков, я, однако, не хотел потерять знаний, полученных от рождения. Между тем годам к двадцати в моей речи появился довольно заметный акцент, так что я едва не попал в разряд несчастнейших людей в мире, не умеющих безупречно говорить ни на одном языке. Таких было предостаточно среди знакомых покойного дядюшки, в детстве увезенных в Германию, а после войны — в Канаду. И если мои теперешние соотечественники вполне прощают мне легкие недостатки английского и французского произношений, то русские куда более безжалостны; стоит мне попросить «воспользоваться вашим телефоном» или сказать о том, что кто-то «вышел из стенного шкафа», имея в виду «позвонить от вас» или «признаться в необычных любовных вкусах», как иные сдержанно усмехаются, а иные произносят сентенцию о том, что молодое зарубежное поколение «все-таки» постепенно теряет язык. С середины семидесятых годов в Монреаль начали просачиваться (не в таком, конечно, количестве, как сейчас) эмигранты из СССР, главным образом грустноглазые евреи, поражавшиеся дороговизне соленых огурцов и украшавшие свои тесные квартиры сотнями пыльных книг в твердых переплетах. Появлялось и подобие светской жизни: новоприбывшие постоянно ходили друг к другу в гости, иной раз встречались в церкви или в си-

нагоге, иногда — в гастрономических магазинах на улице Сен-Лоран, где велика была вероятность наткнуться и на стайку настороженных моряков, тративших скудные доллары на карманные калькуляторы и переносные магнитолы, а порой и на мечту советского человека — видеомагнитофон. Иной раз устраивались выступления эмигрантов-писателей, порою в клубе при еврейском центре показывали случайный советский кинофильм. Скучноватая жизнь новоприбывших крутилась вокруг басни Крылова «Лиса и виноград»: лишенные полноценной возможности пользоваться плодами североамериканской цивилизации (по невежеству, по незнанию языка, по высокомерию), мои бывшие компатриоты находили выход в безудержном злословии по поводу едва ли не всего, с чем они встречались в своем новом бытии.

Поймал себя на том, что злоупотребляю словом «они» в качестве объединительной категории. Ради политической корректности, вероятно, следует повсюду заменить его словами «многие из них», хотя признаюсь, что угрызений совести я не чувствую, ибо «живешь в Риме — поступай как римляне». А сколько раз я слыхал в эмигрантском обществе (а впоследствии и в постсоветской России) слово «они» применительно к Западу (от Новой Зеландии до Невады)? Можно без преувеличения сказать — бессчетно.

Знакомые родителей, в основном доставшиеся от дяди Платона, интересовали меня мало. Однако прибывающая молодежь из русских, встречаясь со мною то в церкви, то на одном из просветительских мероприятий, нередко искала моего общества, усматривая в вашем покорном слуге связующее звено между незнакомым и опасным новым светом и родной Вселенной. Они во многом заблуждались: я говорил на их языке, но почти полностью забыл тамошнюю жизнь. Меня всегда удивляла в советских людях, например, их любовь-ненависть к материальному миру. Многочасовые разговоры о пресловутой российской духовности прекрасно уживались в них со стремлением на первые же заработанные гроши окружить себя максимальным количеством мертвой материи. Смею надеяться, что я отношусь к вещам более гармонично: от отца я научился уважать в нашем племени homo habilis, ремесленника, наделенного чувством красоты и соразмерности не только в полупьяных беседах о смысле жизни, но и в труде, в самом обустройстве жизни. Ананас ценою в полтора доллара в любой овощной лавке для меня, как и для Гончарова, означает не столько объект потребления, сколько символ торжествующей цивилизации, требующей, разумеется, сосредоточенного и ответственного отношения к своей работе. (Отцом я, между прочим, горжусь. Всего года два потребовалось ему для того, чтобы создать небольшое, но процветающее дело по сборке и установке компьютеров.) Имелась и чисто земная причина, по которой я в студенческие годы старался избегать задушевных встреч с бывшими соотечественниками. Мои детские и подростковые воспоминания отнюдь не были окрашены романтическим флером, как у переселившихся за океан в более позднем возрасте. Напрасно они считали, что я буду робко тянуться к матушке-России, сопереживать ее страданиям под игом большевизма, а ночами напролет читать «Записки из подполья». Даже на уговоры подписывать петиции в защиту неведомых «отказников» и «диссидентов», а также ходить на демонстрацию к советскому посольству я отвечал, что всякий народ имеет то правительство, которое он заслуживает.

13

От родителей я впервые услыхал о прибытии в Монреаль АТ, которого, по словам матери, «даже сравнивают с Исааком Православным». Я только хмыкнул. Мать знала, что такому ископаемому искусству, как экзотерика, я, как и отец, еще более равнодушен, чем к поэзии или классическому балету. Пропасть между нами и Господом Богом (даже если последнего не существует) стала слишком широкой, чтобы замостить ее с помощью бряцания на лире, подыскивания слов со схожими окончаниями или прыжков на сцене в накрахмаленных

пачках; недаром когда-то меня так развеселил известный шедевр поп-арта, где роль сиденья на настоящем (далеко не новом) унитазе выполняла лира, густо покрытая скифской позолотой.

Не стану, однако, лицемерить. Люди искусства всегда вызывали у меня живой интерес. Речь не о преклонении, скорее о любопытстве, скажем, этнографа к традициям перуанских индейцев. Истинный восторг исследователя, наблюдающего, а затем описывающего колдовской обряд, где употребляют кактусовую водку, настоянную на табаке, и сушеные шляпки волшебного гриба, вряд ли заставит его забыть о своем собственном образе жизни и уж тем более расстаться с ним. Не пожалев кровной студенческой пятерки, которые собирали с посетителей концерта АТ в его пользу, я не скучал на этом мероприятии, тихо радуясь лицемерию слушателей, большинство из которых, очевидно, впервые в жизни слушало живого аэда. Как водится, долго рассаживались, приносили из задней комнаты алюминиевые стулья с дерматиновыми зелеными сиденьями, переговаривались вполголоса, изображая предвкушение эстетического наслаждения. АТ явился в сопровождении профессора А. и его голенастой дочери Жозефины. Его нейлоновая черная водолазка, кожаный пиджак и поскрипывающие, явно еще не стиранные джинсы «Ливайз» заставили меня усмехнуться. Бедный АТ, должно быть, и не подозревал, как провинциально он выглядит в этой униформе вольного художника 60-х годов. Впрочем, на небольшую сцену АТ вышел, как водится, в хитоне с алой полосой по подолу, в венке из сухих лавровых листьев на лохматой головушке (сам я в те годы стригся почти под ноль). Последовало вступительное слово профессора А., где АТ, неловко державший лиру в левой руке, назывался «борцом за свободу творчества» и «известным аэдом, вынужденным покинуть родину из-за преследований тайной полиции». Все они, с неожиданным раздражением подумал я, покидают родину из-за преследований тайной полиции, и ни один почему-то не едет в Коста-Рику или Тунис, вполне демократические государства, и на родину предков, настоящих или подложных, в Израиль, тоже ехать не желают. Все хотят в Америку, на худой конец в Канаду, где к соблазнам демократии прибавляются прелести зарплаты в свободно конвертируемой валюте.

14

Наша дружба началась с недоразумения.

— Вы мне чрезвычайно мешали во время выступления, молодой человек,— сказал АТ, подойдя ко мне у вешалки.

Говорил он совсем тихо, чтобы не услышали дожидавшиеся неподалеку профессор А. с дочерью.

— Помилуйте,— оторопел я.

— Вы глазели с таким высокомерным, с таким скучающим видом! Лучше б вообще не пришли, чем злорадствовать. Неужели вы не понимаете трагедии художника, вынужденного покинуть отечество?

(Не ручаюсь, что в точности передаю его слова, но примерно так я их тогда услышал.)

— Ну простите, ради Бога! Я, честное слово, не нарочно. Я, понимаете ли, человек от искусства довольно далекий, мне трудно воспринимать нечто столь изощренное. Да и с древнегреческим, сами понимаете, проблемы. Анри Чередниченко.— Я протянул ему руку.— В следующее воскресенье приходите ко мне в гости. Вам, наверное, здесь достаточно одиноко?

— Не сказал бы,— отвечал он со сдавленной гордостью,— однако за приглашение благодарю.

Мы обменялись телефонами; АТ позвонил мне, правда, только месяца через три, в февральскую оттепель. Мы условились на субботу; с утра я съездил к Вальдману, где в те годы еще торговали недорогими рыбными деликатесами и

даже предлагали из-под прилавка местную черную икру в стаканчиках с нарезной жестяной крышкой. Предполагалось, что гвоздем вечера будет десятифунтовый осетр, как археоптерикс, покрытый доисторическими чешуйками, которого я, обмазав тестом, испек в духовке. В квартире нестерпимо запахло жареной рыбой.

Пунктуальный АТ принес букет белых нарциссов с желтой сердцевиной и литровую бутылку ванкуверского портвейна.

— В России,— меланхолически сказал АТ с основательным русским акцентом,— осетрина доступна только партийной элите, получающей ее в распределителях. А в Канаде, как мы видим, ее могут позволить себе даже бедные студенты.

Жозефина зарделась; давняя жительница плато Мон-Ройяль, она прекрасно знала, что из-за промышленных стоков в озеро Сен-Жан российский деликатес стоил у Вальдмана куда дешевле мойвы и даже плотвы.

— Зато,— при гробовом молчании продолжал АТ,— канадцы совершенно не интересуются экзотерикой.

Жозефина смутилась еще сильнее и, по-моему, попыталась толкнуть знаменитого изгнанника в бок.

— Если бы экзотерикой интересовались в России,— вмешался я,— вы, Алексей, вероятно, находились бы сейчас в Москве, а не в Монреале.

— Россия — дело особое,— заявил АТ, осушив стакан портвейна и вытерев губы рукавом.

— Разве не любая страна — особая? — вмешалась Жозефина.

После многочисленных встреч с новоприбывшими я уже понимал, как на самом деле ранена их душа, как уязвлено сердце мгновенной и невозвратной потерей почвы под ногами. Переезд сопровождался для них затяжной болезнью. Быть может, самое дорогое, что есть у человека,— это возможность проснуться ночью от страшного сна и, не зажигая света, нащупать на ночном столике стакан с водой и пачку сигарет, понимая: что бы ни было, ты все-таки дома, в своем углу, в своей норе, и телефонная книжка полна номерами, не требующими междугородных кодов.

Несколько лет спустя я напомнил АТ о том наборе пошлостей, которыми сыпал во время нашей первой встречи. Он расхохотался и в пику мне сказал, что симпатия наша друг к другу окрепла в тот вечер едва ли не благодаря взаимным фигурам умолчания. Я ни разу не спросил его, действительно ли он племянник Ксенофонта Степного, романизированная биография которого недавно вышла в Gallimard и пользовалась некоторым успехом в университетских кругах. (Позднее я не раз был свидетелем раздражения, которое охватывало его при вопросах о прославленном дядюшке.)

В конечном итоге российская тема благополучно иссякла. Смущенная Жозефина составила мне компанию на балконе. Курить обычный табак в квартире не возбранялось, но мне не хотелось, чтобы на лестничную клетку просачивался запах анаши. Надо сказать, что мне очень понравилась преданность Жозефины этой смешной личности.

— Его уже приняли в сообщество экзотериков Квебека,— вышептывала она, кутаясь в жиденький плащ,— может быть, ему даже дадут стипендию от Совета по делам искусств. Исаак Православный обещал прислать рекомендацию.

— Ладно, ладно,— отвечал я, взяв ее за руку,— не рекламируй мне своего художника. Я человек простой. У меня есть пленка вашего Исаака, но я не знаю, что невразумительнее — его эллоны или статьи в Village Voice. Впрочем, верю на слово. Однако готов тебе поверить, и сделай в честь этого еще одну затяжку, только не обожгись — косяк уже совсем короткий. Будешь съезжаться со своим Алексеем — попроси у меня консультацию о недостатках и прелестях совместной жизни.

15

Конечно, в тот вечер мы говорили не только о политике; когда мы с Жозефиной вернулись с балкона, АТ взялся доказывать не что иное, как необходимость страданий для *истинного художника*.

— Засилье массовой культуры,— вещал он уже приняв достаточное количество обруганной по политическим соображениям «Столичной»,— объясняется тем, что обыватель ищет страстей заведомо безопасных. От искусства ему требуется не переживание, не потрясение, а всего лишь развлечение, легкая диетическая пища для разленившегося ума.

Я покосился на журнальный столик, где валялся очередной выпуск бульварной газеты с огромными заголовками «Вечная жизнь доказана окончательно» и «Марсиане отбирают у налогоплательщиков социальные пособия», затем — на допотопный телевизор, который, правда, почти не смотрел, на книжный шкаф, заполненный едва наполовину, да и то по большей части подержанными бестселлерами. По всему выходило, что я и есть обыватель. Почему-то это меня не смущало. Во-первых, сказывалась анаша, неизменно приводившая меня в благодушное состояние, во-вторых, для полноценного спора собеседники должны говорить на одном языке. Была и еще одна причина. Стояла ранняя коварная весна. По небу бежали серенькие, тяжелые тучи, сыпал снежок, тут же превращавшийся в слякоть, с реки дул одинокий сырой ветер. Такая погода заставляет глубоко вздыхать и столь же глубоко грустить. Гости собрались уходить. Стоя в дверях, АТ закусил зубами мохеровый шарфик в красно-зеленую клетку и долго не мог попасть руками в рукава пальто из жесткой, чуть потрескавшейся кожи, перед окончательной уценкой явно пролежавшего лет десять на складе.

Ответное приглашение от АТ последовало нескоро. Думаю, что он просто стеснялся приглашать меня в свою нору, обставленную на социальное пособие. Два-три раза мы вежливо раскланялись в церкви; я заметил, что после службы он бодрым шагом направляется в домик церковного сторожа Жени Рабиновича, и вздохнул, поражаясь неразборчивости АТ. (Женя Рабинович известен был способностью впадать в религиозно-патриотический транс после первой же унции горячительного.) К маю они с Жозефиной поженились, а осенью он перестал ходить в церковь, видимо, поглощенный домашними заботами после рождения дочери. От матери я слыхал о его концертах: в Мак-Гилльском, а затем и в Монреальском университетах, в гимназии имени Святого Сульпиция (физкультурном зале со скрипучими дощатыми полами и высокими окнами, который на два вечера в месяц снимало у мэрии городское общество экзотериков). В Le Devoir появилась об этом концерте заметка в двадцать строк, выражавшая веселое недоумение старомодностью исполнявшихся эллонов. «Впрочем,— с некоторой двусмысленностью замечал рецензент,— для предмета, изготовленного в Советском Союзе, лира месье Татаринова звучит на удивление гармонично». Учеба меня не слишком обременяла. Последнюю сессию я сдал на твердые четверки, а в мае получил магистерскую степень за небольшую, но не лишенную остроумия работу «Скрытое налогообложение в социалистической экономике». Royal Bank, где я прошлым летом проходил практику, обещал взять меня на скромную должность. Присоединив собственные сбережения к деньгам, выпрошенным у родителей, я отправился на два месяца путешествовать по Европе. Не скрою, что я вздыхал, планируя эту поездку: при всем равнодушии к моему историческому отечеству было обидно, что добрая половина континента остается вне пределов досягаемости. В любом случае на мою долю достались места более обжитые, более завлекательные, более красивые, чем в странах побеждающего социализма. Не стану описывать здесь ни благоуханного Парижа, ни великолепных Альп на горизонте дождливого Мюнхена, ни развалин Колизея. Если придерживаться взглядов АТ, то я рядовой потребитель как красот природы, так и ценностей культуры, и сочные описания оставляю профессионалам. Слав-

но было блуждать по замшелым улочкам европейских городов, приятно было убедиться, что полностью насладиться несказанной грациозностью Парламента в Лондоне и Биг Бена можно только наяву, а не на открытке; приятно было, наконец, гулять по кварталу красных фонарей в Амстердаме, подсмеиваясь над провинциалами со всего света, робко оговаривающими с полуголыми девицами условия нехитрого контракта.

16

— Все-таки тесновато у тебя,— вздохнул отец.— Как ты живешь в одной комнате?

— Зато чисто,— возразил я,— и безопасно, и в подъезде стоит телекамера.

— В доме целый этаж пустует,— вздохнул он.— Жил бы не тужил, бесплатно, мать была бы счастлива.— И бросил на меня неискренний взгляд, бедняга, прихлебывая чай из блюдечка, загодя наколов потемневшими щипчиками десяток крошечных кусков особого плотного сахара, который им до сих пор присылали из Харькова. Я промолчал, представив себе тридцатипятилетнего балбеса на пособии по безработице в этом пусть и двухэтажном, но достаточно скромном коттедже, пропахшем борщом и тушеной капустой. Представил себе полуночные звонки любящего сына, извещающего, что сегодня он не придет, представил охи и ахи матери на следующий день — упаси Господь! — Не люблю «Макинтошей»,— сказал отец,— плохо в них разбираюсь. Ты не пробовал обратиться в фирму по восстановлению данных?

— Четыреста долларов,— сказал я,— без гарантии успеха. Кроме того, подозреваю, что при поступлении таких заказов — на вскрытие компьютера с паролем — они сообщают в полицию.

— Чего тебе бояться? — изумился отец.

— Вроде бы и нечего,— согласился я,— однако не хочу давать объяснения этим солдафонам.

Стоял зимний вечер за окном, почти рождественский снегопад стих всего полчаса назад. Небо успело проясниться, и в не убранных еще сугробах, казалось, отражались звезды. Освещение в моей квартире нещедрое — два торшера по разным углам гостиной да маленький прожектор, бросающий яркое пятно на увеличенную фотографию АТ после концерта в Москве, окруженного взволнованной молодежью, смущенного, счастливого, усталого, еще в сосновом венке и в черном хитоне. Чуть скривив губы, он ставит крючковатую подпись на компактный диск с собственным портретом, и этот его двойник на обложке — совсем иной, с ликом торжественным и печальным.

— Знаете выражение лица у слепых? — спросил он меня однажды вечером в квартире у Савеловского вокзала.

В Москве АТ не баловал меня своим обществом и даже, кручинился я, иногда стеснялся сводить со своими товарищами по цеху. И то сказать — я чурался чинных бесед о высоком искусстве, я не понимал слова «постмодернизм» (да и не хотел его понимать), я не знал греческого языка и, наконец, не любил той фальшивой атмосферы преувеличенного рыцарства, которая воцарялась на Савеловском, стоило там появиться хотя бы одному существу в юбке, изображающему интерес к экзотерике.

В тот вечер у Алексея сорвалось какое-то любовное свидание и он позвонил мне в офис, попросив захватить по дороге бутылку.

— Знаю,— кивнул я.

— Вот такое же выражение лица у нас всех перед Господом, ибо мы растеряны, мы не уверены в своих силах, а если что и умеем, то разве что хорохориться перед равными себе. Где же настоящая жизнь? Мне узко здесь, Анри, тесно.

— Где? — спросил я, сдуру подумав, что Алексей имеет в виду кухню, на которой мы сидели, или квартиру, или несуразно огромную Москву.

— В мире, любезный вы мой Анри, в мироздании, если хотите. Сколько раз я оправдывал свою меланхолию тем, что передо мной стояла какая-то преграда к счастью. Не давали выступать, не печатали, травили, и я оставил родину, оскорбившись. Попал за океан и стал объяснять мировую скорбь отсутствием друзей, бедностью, житейскими хлопотами. Нашел себе, не без вашей помощи, эту синекуру. Вернулся на родину только затем, чтобы убедиться в невозможности два раза вступить в одну и ту же реку. Знаете, Анри, я порою чувствую себя здесь еще более чужим, чем вы. Иногда я думаю: что было бы, если б я с детства ни в чем не сомневался? Если б я вырос в нормальной стране, без российской сентиментальной жестокости.

— Ничего бы не изменилось,— перебил его я.— Вы, Алексей, склонны к меланхолии от природы, а в какой стране родиться — вещь по большому счету посторонняя. Особенно при вашей профессии.

— А какая у меня профессия? — спросил АТ с неожиданной серьезностью.— Сочиняю я свои безделки по дюжине в год, и порою кажется, ей-Богу, не стоят они того, чтобы вся жизнь катилась в тартарары. Вот я вернулся на родину и должен быть счастлив. И где же это положенное, заслуженное пожинание лавров? Всем решительно все равно. Вот плюну и сочиню романчик для секретарш и пожилых паспортисток. Из красивой жизни. Из всех наших пертурбаций с Пашей, с Зеленовым, с Безугловым этим поганым.

— Ну, не такие уж они поганые,— сказал я примирительно.— Бизнес есть бизнес.

— Делать деньги из воздуха — тоже мне бизнес! — отмахнулся АТ.— Кстати, что там за переговоры ведет Георгий с Пашей?

— Вы же помните, Алексей, у Паши проект пустить рекламу на первом канале. А поскольку он любит производить впечатление человека просвещенного, то хочет подпустить туда пару-тройку эллонов, ну, простых, запамятовал, как они у вас называются...

— Плебейских.

— Вот-вот. Вы отказались, Алексей Борисович, и Ртищев отказался, а Георгий сделает и много не возьмет.

17

На голубом экране компьютера появилась нехитрая мультипликация — большеголовый человечек в хитоне бряцал на лире, закатывая круглые глазки и нараспашку раскрывая рот. Отец зашел в меню, набрал несколько команд, и я увидел список эллонов, которые мог по заказу исполнять нарисованный аэд. В ответ на вопросительный взгляд отца я покачал головой, и он со вздохом принялся копаться в машине дальше, бормоча под нос какую-то компьютерную белиберду. В последнее время я, кажется, отучил его от восторженных телефонных звонков с описанием новых программ и неподражаемых интернетовских площадок, на которых можно читать свежие выпуски журналов, посвященных интернетовским площадкам, на которых... и так до дурной бесконечности.

— Как ты думаешь,— спросил я,— у тебя что-нибудь получится?

— Я не с пустыми руками пришел,— ответил отец, не отрываясь от экрана, на котором уже виднелись ряды цифр вперемешку с буквами.— Я успел скачать эту шифрующую программку, а пару дней назад кто-то принес мне «Макинтош» на продажу, так что платформа для работы имелась... У Алексея была, судя по всему, бесплатная демонстрационная копия...

— Ох! — не удержался от смеха.— Почему мы, уроженцы СССР, так падки на халяву вообще, а уж в том, что касается компьютерных программ, вовсе не исправимы?

— Кончай,— сказал отец несколько обиженным голосом.— У меня каждый второй покупатель из местных тоже спрашивает, не могу ли ему установить программы бесплатно, хотя бы самые основные.

— А что ты?

— Ну, Windows-95 сам Бог велел ставить бесплатно — большие компании это делают, а чем я хуже? А остальное, честно говоря, побаиваюсь. Изловят — и плакала моя фирма. Но...— Он заменил на экране одну цифру, потом другую и снова начал нести английскую галиматью, которую я пропустил мимо ушей.— Словом, количество кодов в бесплатной программке ограничено. Всего девяносто шесть тысяч. Для знающего человека не так уж и трудно все их перебрать...

— Девяносто шесть тысяч? Сколько же надо сидеть и тыкать в клавиатуру? Двое суток?

— Около того, если вручную. А если написать маленькую утилитку, на что у меня ушло часа три, то можно попробовать и похитрее... Вот сейчас мы ее заведем и посмотрим... Один вопрос. Ты уверен, что это стоит делать? Никакой пользователь не станет напрасно шифровать свои данные, правда?

— *Пользователь,* как ты выражаешься, может, и не станет, а Алексей мог так поступить просто на всякий случай. Он же не знал, что погибнет. Ключ от компьютера, как ты знаешь, он мне дал, а про запертую часть диска, вероятно, забыл. И кроме того... ты слыхал историю архива Кафки?

— Писателя?

— Ага. Он завещал своему приятелю его сжечь, а тот, так сказать, не выполнил последнюю волю, за что человечество ему до сих пор благодарно. Конечно, Алексей был мне друг, но все-таки он не совсем частное лицо. Слишком часто он говорил мне о призвании, служении и прочих возвышенных штучках, которым, по его словам, подчинена его жалкая жизнь. Рисовался, конечно. Но само уважение к его памяти, по-моему, должно заставить нас хотя бы взглянуть на его архив. Вдруг там какие-нибудь откровения, которые изменят судьбу человечества? Я серьезно.

— Как будто ты в этом что-то понимаешь.

— Попробую.

Одно из самых примечательных свойств компьютеров — это способность отказывать в самый неподходящий момент. Разумеется, как только отец завел свою *утилитку,* «Макинтош» немедленно *завис* (как видите, мне удалось усвоить десяток слов из этого жаргона), а я пришел в крайнее раздражение. (Должно быть, так раздражался римский патриций, когда перед званым обедом заболевал его раб-повар.)

— Нужна небольшая отладка,— сказал отец и попросил еще чаю.

Часа через три, когда я, прикорнув в гостиной, на минуту проснулся, он все еще сосредоточенно возился с машиной, а в десять утра квартира моя была пуста, желтенькая же записка, прилепленная к выключенному «Макинтошу», гласила: «ПАРОЛЬ — ЖОЗЕФИНА, РУССКИМИ БУКВАМИ. ФАЙЛЫ Я СМОТРЕТЬ НЕ СТАЛ, РАЗБЕРИСЬ С НИМИ САМ. УВИДИМСЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ В СОБОРЕ. ОТЕЦ».

Легко сказать — разберись сам. Что бы я ни говорил отцу, изучение этих материалов слишком напоминало осквернение могил. И все же ведь печатают после смерти дневники выдающихся личностей. Следовательно, они знали, на что шли, утешал я себя, следовательно, они сами этого хотели, рассуждал я, изготовляя свой низкокалорийный холостяцкий завтрак, опустошая пепельницу и невольно радуясь наступающему весеннему дню, молодому солнцу, оседающему снегу да и попросту тому, что большинство человечества уже находится если не в могиле, то в неведомом загробном мире, а я вот, Анри Чередниченко, совершенно жив и могу с наслаждением пользоваться правами живущего: рыться в записях покойного друга, слушать тонконогого Моцарта или осанистого Бетховена, наливать обжигающий кофе в щербатую чашку и смотреть на телефон, каждую секунду ожидая звонка, который, может быть, переменил бы мою жизнь.

18

Я немедленно позвонил отцу, поблагодарил его, выразил надлежащее восхищение его талантами. Но лучше бы не доставался мне этот ключ от Сезама. Я и впрямь рассчитывал на какие-то откровения, набирая имя «Жозефина».

На тайном диске оказалось всего три каталога.

Я открыл самый большой из файлов, именовавшийся «Иван Безуглов», и послал его на принтер, зачарованно глядя на первую страницу, выползающую во всем великолепии почти типографского компьютерного набора едва ли не из небытия. Я благоговейно взял эту страницу в руки — и лицо мое вытянулось. Обязанности самозваного душеприказчика требовали от меня, чтобы я отдал это произведение в печать под тем же псевдонимом, что в свое время использовал Алексей для своей повестушки из монреальской жизни.

Я выполнил свой долг честно, немедленно отослав рукопись по электронной почте одной из многочисленных подруг АТ в Москве. Недавно повесть уже вышла в одном из журналов.

Но она огорчила меня еще больше, чем предыдущая. Может быть, потому, что тщеславие мое осталось неудовлетворенным: поиздевавшись над всеми знакомыми по бизнесу, АТ, видимо, решил меня пожалеть, и ни одного героя, похожего на себя, я не обнаружил.

Или в жизни АТ я вовсе не занимал столь заметного места?

Поздно уже размышлять об этом да и бесполезно.

Мне другое обидно — АТ не скрывал своей неприязни к фирме «Канадское золото», однако честно выполнял свои обязанности, не прогуливал, на деловых совещаниях не хамил и ни разу, честное слово, ни разу не вел со мною душеспасительных бесед о бессмысленности и пошлости коммерции как таковой. Тем не менее едва ли не каждое слово в повести дышит таким ядовитым высокомерием в адрес красивой жизни благородных предпринимателей и опереточных злодеев, что я растерялся. Неужели он считал себя настолько выше всего человечества? И имел ли он на это право?

В самом начале амуров фирмы «Канадское золото» с советскими внешнеторговыми организациями, когда иные расторопные негоцианты в считанные дни наживали состояния на мочевине и цветных металлах, венцом их мечтаний оставалась загадочная красная ртуть, о которой то и дело появлялись полосы то в «Коммерсанте», то в «Деловом мире». Именно ради красной ртути нанял Алексея господин Верлин (уж я-то знаю!). «Бизнес есть бизнес»,— сказал АТ, когда узнал, что цепочка предлагающих завидный товар оканчивается не кем иным, как его давним гонителем Зеленовым. Не погнушался же наш аэд получить от него подробное деловое предложение на бланке банка «Народный кредит» и лицензию на экспорт, не стеснялся торговаться из-за комиссионных с Безугловым, который требовал минимум пятнадцать процентов! Проект, слава Богу, провалился: отлично помню, как хохотал через неделю АТ, когда отец Кати Штерн принес ему, во-первых, килограмм этого рыжеватого порошка, а во-вторых, две страницы на машинке с подробным описанием методики его получения. Мифом оказалась красная ртуть, уткой, пущенной не лишенными чувства юмора химиками из оборонной промышленности, может быть, даже при участии Зеленова, и не получили ни Безуглов своих пятнадцати процентов, ни Верлин — восьмидесяти пяти. Очень хорошо: не прошло и года, как по Москве прокатилась волна заказных убийств. Жертвами оказались как раз продавцы этого продукта (якобы предназначенного для детонации ядерных бомб). Боюсь, что скупившие его через подставных лиц арабские шейхи затаили бо-ольшое зло на своих российских партнеров.

Вот как было на самом деле. Почему из этой довольно занимательной истории АТ создал столь злую издевку, неинтересную к тому же ни читателю-интеллектуалу, ни пожилой паспортистке? Я к тому, что ничего — ровным счетом

ничего! — из описанного в «народной саге» не происходило в действительности.

Это меня смущает. Ведь в своих записках я стараюсь быть правдивым. Говорят, истина многолика — сомневаюсь. Можно приукрасить ее, можно, как выражаются, творчески переосмыслить, но в основании всегда будет лежать нечто неизменное.

Да, грех мне подпадать под гипноз обнаруженного на диске, грех рыться в памяти, выискивая прототипы героев. Разве я сторож брату своему? Разве родился я на свет Божий для того, чтобы комментировать причуду знаменитого приятеля? Нет-нет, я не позволю ни безугловым, ни верлиным, ни таням и светам (в сочинении АТ почему-то помолодевшим на десять лет) смущать меня в моем скромном, зато *собственном* замысле. И второй повести даже читать не буду, пока не закончу своей работы.

Есть, правда, еще и третий каталог, с множеством мелких записей, должно быть, дневников, писем, набросков. В эту замочную скважину я еще, возможно, загляну, если наберусь решимости.

А пока обратимся к моему собственному каталогу, без претензий названному АНРИ. Перечитывая написанное, я вижу все недостатки: путаницу времен, отсутствие стержневой мысли. Ничего, утешаю я себя, другие не отваживаются даже на такое и ни разу в жизни не задумываются, а приходят в себя только, допустим, на больничной койке, в палате для безнадежных, когда остается время только на бесплодные сожаления по поводу ушедшей жизни. А мы, мы еще поборемся, приговариваю я и закрываю глаза, и снова вижу Алексея в морге, на поцарапанном мраморном столе, с оскаленными редкими зубами и черным кровоподтеком на левой щеке с проступившей седоватой щетиной.

19

В Амстердаме стоял влажный июньский вечер. Только что отшумела легкая гроза, оставив запах сырой штукатурки и пыли, прибитой дождем к старинной выщербленной брусчатке. Ржавели прикованные к столбикам велосипеды, где-то стучал неурочный отбойный молоток рабочих-ремонтников, каналы как бы на глазах зарастали густыми зелеными водорослями.

Мне надоел ободранный номер студенческой гостиницы. Располагалась гостиница в двух шагах от известного района города; я шел наугад, поражаясь обилию секс-шопов и товаров куда более откровенных, чем у нас в Монреале. Попадались и зрелищные заведения; у одного из них я встретил довольно неожиданную личность. Сначала я принял господина Верлина за баптистского проповедника. Явный иностранец (а их в любой стране можно отличить по тщательно скрываемому беспокойству в глазах), этот седеющий гренадер с канадским кленовым листком на лацкане славно скроенного синего блейзера стоял у подъезда, украшенного неоновым абрисом любовной парочки, раздавая прохожим какие-то листовки. «Протестует, должно быть»,— подумал я, приблизившись. Я ошибся. «Знаменитый банановый номер»,— повторял гренадер хорошо поставленным баритоном, с легкой и загадочной улыбкой, достойной Джоконды. Меня передернуло. Увидав стайку советских моряков (каждый, как и положено, тащил в руке огромный пластиковый пакет с видеомагнитофоном), он вдруг перешел на русский. Моряки пугливо удалились. Я заговорил с лжепроповедником, и через полчаса, когда началось представление (ничуть не интересовавшее ни его, ни меня), мы уже сидели в баре: я — за стопкой местного джина и легальным косячком, он — за кружкой «Хайнекена». Он оказался чехом (я сочувственно вздохнул), кандидатом алхимии, бежавшим из Праги в смутные недели сентября 1968 года и в конце концов обосновавшимся в Монреале. Поначалу, по его словам, он маялся то в страховых агентах, то в коммивояжерах, а в последние годы основал собственное дело, требовавшее постоянных заграничных выездов. Русский язык его был вполне правильным, как у многих интеллигентов

из стран Восточной Европы, которую нынешние жители тех мест предпочитают именовать Центральной.

Почему-то ничуть его рассказы не вызвали у меня сомнений. Разумеется, остался открытым вопрос о том, каким образом господин Верлин оказался в роли зазывалы. Но я не задавал вопросов. Мне нравилось вдыхать едкий запах анаши, нравилась беременная рыжая кошка, прогуливавшаяся между столиками, нравилась публика, включая даже буддийского монаха в оранжевой хламиде.

«Откуда это буддисту знать русский язык? — лениво думал я.— А ведь он как пить дать прислушивается! И морда вроде бы европейская. Или они знакомы с этим авантюристом? Впрочем, черт их разберет».

Между тем господин Верлин продолжал задумчиво рокотать над своей кружкой.

— Я ликвидирую амстердамское отделение своей фирмы,— продолжал он, ласково глядя на меня честными светло-голубыми очами,— и послезавтра улетаю в Монреаль, к жене и детям.

«Хор-рошая у тебя фирма,— продолжал размышлять я.— Доля в шоу, что ли?»

— Велика вероятность, что в ближайшем будущем мы откроем компанию по деловым связям с Россией. Точнее, с Советским Союзом. Нет-нет! — Он засмеялся, обнажив золотые коронки в глубине рта, на коренных зубах.— Совсем не то, что вы подумали. Подумали, признайтесь?

Я захохотал. Анаша всегда повергает меня в благодушное настроение.

— Обыкновенный бизнес, строительство заводов, фабрик, экспорт химического сырья, удобрений, импорт потребительских товаров. Отдаете ли вы себе отчет в масштабах этого рынка, Анри?

Одна из немногих истин, которые я усвоил уже в те годы, состоит в том, что в разговоре с возможным работодателем следует проявлять чудеса скромности и внимания. Российский рынок сам по себе меня интересовал не особенно, однако казался куда привлекательней конторской работы в банке. Влипнуть в историю я не боялся: из речей господина Верлина можно было с равной вероятностью заключить, что он собирается за железным занавесом отмывать прибыли амстердамского отделения своей фирмы (возможно, занимавшейся исключительно отмыванием денег) либо действительно завалить Россию стиральным порошком и колготками. Во всяком случае, любой, кто отважился бы задать господину Верлину прямой вопрос, получил бы в ответ, вероятно, лишь бархатный смешок почтенного предпринимателя.

Верлин достал из замшевого атташе-кейса глянцевый проспект, набранный старомодным шрифтом и вдобавок на таком английском, что безошибочно выдавало рекламу одной из дальневосточных фирм.

— Я уже отвык от ученых занятий.— В голосе его вдруг появились странные извиняющиеся нотки.— Наука требует постоянной сосредоточенности, затворничества. Да и поздно было бы мне возвращаться к исследованиям — ученый, как музыкант, обязан практиковать ежедневно. Впрочем, я по мере сил использую свои старые знания. Вот, например, линия по производству несовершенного золота.

— Кому оно нужно? — поразился я.— Я слышал, что изготовлять его стоит едва ли не дороже, чем добывать настоящее.

— На этой линии — ненамного, любезный Анри. Срок жизни — гарантированные пятьдесят лет. Продавать его в западных странах, как известно, запрещено. А бессовестные большевики вполне смогут сплавлять его населению под видом настоящего, тем самым заткнув дыру в своей ювелирной промышленности. Вы знаете, какой в СССР огромный денежный навес? — сказал он, несколько щеголяя знанием современной экономической терминологии.

— А что будет через шестьдесят лет?

— Неужели вам не все равно, Анри? — искренне поразился господин Верлин.

20

Время в благополучных странах течет незаметно. Сменяются правительства, растет и сокращается бюджетный дефицит, взлетают и падают процентные ставки, экономические подъемы чередуются со спадами, но всему этому далеко до войн, революций и иных переворотов, сотрясающих менее везучие государства.

Порою мне представляется, что жизнь в подобных странах — а их на всю-то нашу несчастную планету всего десятка два-три — замыслена как своеобразное испытание человека на прочность, словно Господь Бог решил развлечься и посмотреть, что может выйти из рода людского («лукавого и прелюбодейного», хочется добавить мне) в идеальных по земным меркам обстоятельствах.

Конечно, для того чтобы счесть их идеальными, необходимо родиться в несколько иной стране. Любое благополучие относительно. Сотни тысяч мексиканцев ежегодно бегут через северную границу в Соединенные Штаты, но население Мексики не убывает, потому что столь же многочисленные беженцы из Сальвадора и Гондураса вливаются в нее через южную границу. Кроме того, человеку стыдно все время ощущать себя счастливым. Природе моей (а может быть, и породе) присуща созерцательность, я давний поклонник Лао-цзы и полагаю, что действие не пристало мировому дао и что мудрому не стоит суетиться, поскольку он должен предоставлять миру разворачиваться своим чередом.

Хорошо быть философом в студенческие годы, но настоящая жизнь надвигалась неумолимо. Мне повезло — уже в октябре месяце я получил работу старшего клерка в отделении Ройял-Банка, находившегося минутах в десяти пешком от моего дома. Тридцать тысяч в год даже при необходимости понемногу погашать мой студенческий заем казались мне сущим состоянием. Дня за три до первого появления на службе мы встретились с матерью в центре, и она купила мне в «Итоне» полную экипировку молодого банкира с хорошими перспективами: темно-синий двубортный костюм, еще один костюм полегкомысленнее, колючий твидовый пиджак, полдюжины оксфордских рубашек, тесные черные ботинки с острыми носами, четыре или пять шелковых галстуков и даже дюжину однотонных носков. «Мармеладова снаряжают в присутствие»,— почему-то подумал я, весь охваченный скверными предчувствиями. Для начала мне отвели столик с калькулятором в задней каморке, рядом с сейфовой, и пообещали месяца через два-три перевести в помещение с окном и снабдить настоящим компьютером. Я затрепетал: эти железные недоумки в те годы были дорогой и достаточно редкой игрушкой.

Взросление чревато не только радостями, но и неприятными открытиями. В юности, не веря ни в смерть, ни в тяжесть жизни, мы свысока смотрим на старшее поколение, удивляясь его неспособности преодолевать самые простые трудности, над которыми я только смеялся, читая о них в семейных колонках газет.

В университете я меньше уставал, легче переходил в беззаботное и веселое состояние. Заниматься приходилось иной раз и ночами, особенно на последнем курсе, но как-никак я работал на собственное будущее. И вот оно наступило, обозначившись ежедневными сосисками или гамбургерами в недорогой закусочной напротив банка или бутербродами, которые я готовил себе накануне, столбиками цифр в гроссбухе, подбивкой ежедневного баланса нашего отделения и мечтой о двухнедельных компьютерных курсах. После рабочего дня я пешком отправлялся по Сен-Катрин на восток, в родной район, где в те годы, правда, не было еще скверика памяти жертв СПИДа, и не развевался на здании старой почтовой станции шестицветный флаг гейской гордости, и не открылся еще любопытный магазинчик под красноречивым названием «Приап». Я шел мрачный, едва ли не всю дорогу думая исключительно о нарукавниках и ранних морщинах, которые сулила мне скучная служба. О, проза жизни, над которой еще месяца три тому назад я издевался со всем высокомерием непосвященного!

21

Пусть погодят мои воспоминания о незадачливом аэде: в те первые месяцы службы мне было решительно не до него. Тем более что участие в крысиных бегах обошлось мне недешево.

В томительные мгновения перед сном, когда окружающее начинает плыть, дрожать, колебаться, мне мерещились стеклянная дверь моего закутка и длинный, немногим шире обычного коридора операционный зал, где всегда стояла очередь клиентов, с ожесточенной скукой попыхивавших сигаретами. Вентиляторы под высоким потолком, урча, безуспешно пытались разогнать сизоватый воздух. После долгих унизительных обращений к заведующему отделением господину Шатлену (носившему розовые рубашки в полоску и галстук-бабочку) я плюнул на все и купил свой собственный настольный вентилятор. Двадцать четыре доллара плюс налог — мелочь, в сущности. Но как поразились мои сослуживцы, как дотошно и несколько свысока объясняла мне Джейн, припахивающая деодорантом толстомясая кассирша, что банк, как всякая щедрая, однако крупная организация, нетороплив и рано или поздно я, несомненно, получил бы искомый агрегат, запрос на который уже отправлен в хозяйственный отдел на площади Виль-Мари. С вентилятора и началась моя несколько диссидентская репутация; к тому же как-то раз я явился на службу в кожаной куртке и свитере, после чего потрясенный господин Шатлен, шипя, приказал мне немедленно отправиться домой и переодеться. Обедать я ходил один, не умея чинно беседовать ни о спорте и ценах на недвижимость с мужчинами, ни о модах и последних голливудских комедиях с женщинами. Разговоры о моем продвижении на должность администратора по займам довольно быстро затихли — видимо, господин Шатлен обнаружил, что мне не хватает общительности, недостает таланта добродушно и услужливо улыбаться, даже отказывая клиентам в ссуде. Ставки по займам достигали двадцати процентов в год, и с клиентами было не густо, что обещало непыльную работенку для придурковатого типа с помятыми щеками, такого в конечном итоге и взяли на эту должность, выделив ему стол и компьютер в бельэтаже. Я завидовал ему: оттуда открывался вид не только на унылый операционный зал, но и на перекресток Сен-Катрин и Амхерста, где подтянутые молодые люди с крепкими бедрами целеустремленно шагали с запада на восток по своим неведомым делам.

Зверь в клетке, пускай даже и в благоустроенной современной вольере, где можно худо-бедно создать иллюзию свободы,— вот кому начал я уподоблять себя уже месяца через три работы в банке.

Возможно, виновато было путешествие в Европу, натолкнувшее меня на мысль, что жизнь может состоять из постоянных праздников; едва ли не каждую вторую ночь я просыпался от счастливых снов. Однажды мне приснился даже господин Верлин, с отеческой улыбкой предлагавший мне место заместителя в фирме, торговавшей живым товаром. Я стал раздражителен и озлоблен. Казенная кофеварка, располагавшаяся рядом с моим закутком, издавала запах американского кофе — жиденькой водицы темно-карамельного цвета, от которой еще больше хотелось спать. Коллеги сновали мимо моего стола, возвращаясь на рабочие места с мерзкими пенопластовыми стаканчиками, с очевидным удовольствием прихлебывая из них, когда рассасывалась очередь у окошка. Я поставил рядом с кофеваркой свою собственную, и на меня стали смотреть еще более косо.

Я не узнавал себя: к деньгам я всегда относился легко, тратил их, если они были, не жаловался, когда их не было, и с легкостью мог переключаться с одного уровня жизни на другой, полагая, что через двести лет будет решительно все равно, какой сорт мяса покупал себе на ужин Анри Чередниченко. Видимо, в те месяцы я страдал неким постнатальным синдромом, если, конечно, можно приравнять вступление молодого оболтуса на рынок труда к рождению нового человеческого существа.

22

Сколько раз я пролистывал в книжных магазинах патентованные учебники писательского мастерства, дивясь разумным и толковым советам. Внимание к подробностям, умение единым штрихом очертить характер героя или насытить несущественную на первый взгляд деталь глубинным смыслом — ей-Богу, все эти рекомендации вызывали у меня самый живой, хотя и не без горчинки интерес, как если бы я читал руководство к полету для молодых орлят. Говорят, в средневековой Японии, равно как и в Ирландии, умение сочинять стихи было неотъемлемым качеством людей образованных, что не мешало им, впрочем, истреблять друг друга почем зря. То бишь молодой самурай никак не мог отрубить голову другому молодому самураю, предварительно не полюбовавшись веткой цветущей сакуры и не сочинив подобающую случаю танку. Но будь что будет — вряд ли моего главного адресата волнуют красоты стиля!

Постепенно меня стали все чаще приглашать в немногочисленные эмигрантские компании, на вечеринки, где стол был уставлен теми же колбасами, копченым беконом, лососем и салатом со странным названием «Оливье». Малопомалу я привык к замороженной водке в хрустальных стопочках, к бесконечным воспоминаниям о советской юности, к восхвалениям новой жизни (сквозь которые сквозили едва уловимые робость и горечь). Банковская каторга, столь досаждавшая мне, в этих кругах становилась источником гордости, поскольку обозначала мою принадлежность к тому настоящему, осязаемому реальному миру, где новоприбывшие блуждали, подобно неприкаянным теням. Помню, как благоговейно слушали на вечере у Сергея Шуйского (выведенного в повести АТ под именем графа Толстого, однако в жизни ничуть не склонного к постоянству в любви) мой простодушный рассказ о клиентке нашего отделения, пожилой армянке, лет десять назад вернувшейся в Советский Союз, однако предусмотрительно оставившей свои тридцать тысяч на хранении в Ройял-Банке. Год назад она привела в недоумение руководство банка, потребовав перечислить все деньги на имя своего ереванского знакомого (я переводил ее заявление на английский). Руководство потребовало подтверждения — и получило его. Почти сразу, однако, выяснилось, что молодой человек был авантюристом, склонившим старушку подписать бумаги, которых она не понимала, и он был перехвачен с подачи КГБ, когда явился получать свою добычу. Рассказывал я и о жульничестве с только что появившимися банкоматами, особо предостерегая против изъятия денег в присутствии незнакомцев. Рассказывал и другие не слишком интересные истории, у которых было одно достоинство — они относились не к прошлому, а к настоящему, которого эмигранты, как бы они ни хорохорились, были лишены.

— Послушайте, Анри,— сказал как-то АТ на зимней улице, под легким снежком, едва мы вышли из холостяцкого жилья Сергея, обставленного сосновой мебелью из шведского магазина, включавшей, однако, *красный угол,* то есть вывешенные в уголке комнаты иконы, перед которыми полагалось произносить молитву, садясь за стол,— на кой черт вы, простите, так выпендриваетесь перед всей этой шелупонью? Не обижайтесь, но вы производите впечатление человека, способного задуматься о смысле жизни и не очень довольного своей службой за тридцать тысяч в год. Не стоит, послушайте, как говорят у нас в России, старшего товарища. Жалкие люди, потерявшие все на свете. Правда, я и сам такой.— Он усмехнулся.

23

Никто больше не будет беседовать со мною на эти отвлеченные, однако возвышенные темы. Времена изменились. О чем нынче разговаривают люди образованные? Отчего у них загораются глаза, а руки сами собой прижимаются к сердцу? Политика ли служит предметом их страстей или прекрасная половина

рода человеческого? Кажется, компьютеры уже начисто заместили автомобили в качестве излюбленного предмета светской беседы. (Про спорт ничего сказать не могу — как и АТ, я не отличил бы бейсбольного матча от хоккейного.) Даже отец мой, когда я захожу к нему на работу, то есть спускаюсь из гостиной в перестроенный подвал нашего дома, всякий раз пытается обратить меня в свою новую веру.

— Ты только посмотри.— Он обводит рукой расставленный по стеллажам электронный хлам, словно вокруг нас — чертоги царя Соломона.— Вот моя последняя модель. Расходится, как горячие пирожки. Пентиум, сто двадцать мегагерц, шестнадцать мегабайт памяти и диск — ты на диск посмотри — съемный, и каждый сменный элемент — по сто двадцать мегабайт. И все удовольствие за полторы тысячи, с компакт-диском и звуковой картой! Интернет,— произносит он молитвенно, не принимая моих неуклюжих шуток, а дальше говорит уже без остановки и насильно усаживает меня перед компьютером, демонстрируя, как легко можно в киберпространстве перенестись в Гватемалу, в Гонолулу, в Санкт-Петербург.

Что ж, я и сам не чужд этих развлечений, сам подписался на приличную службу, за символическую плату дающую сто двадцать часов доступа к Интернету ежемесячно, и часы эти пролетают в единый миг. (У отца доступ неограниченный.) И отнюдь не только фотоснимки дальних галактик волнуют меня в киберпространстве, чего уж там. Иной раз сгружаю я свежие анекдоты про новых русских, иной раз — бессмысленно брожу по электронным залам электронных магазинов, порою, воровато оглядываясь, хотя за спиною у меня, кроме Господа Бога, не стоит никто, выхожу в группы новостей, откуда можно бесплатно загрузить грязные картинки, пользующиеся спросом, вероятно, у всех абонентов Интернета, только одни признаются в этом, а другие нет.

Не могу при этом отделаться от одной скорбной мысли.

Сколь смешны и печальны восторги современников перед чудесами человеческого гения — механическими часами, паровозами, ткацкими станками и фонографическими записями на восковых валиках.

Выходя с бульвара Сен-Лоран на улицу Мон-Ройяль, которая упирается прямо в царящую над городом гору, точнее, холм, из тех, что возвышаются над многими городами Земли, я нередко забредаю в магазины подержанных вещей, в которые затаскивал меня, бывало, АТ, завороженный возможностью за гроши приобрести предметы, ничем, на его взгляд, не отличимые от выставленных в обычных универмагах. (Этих магазинов осталось уже не так много за убылью покупателей: в этом районе некогда маялась сначала еврейская, потом португальская, потом вьетнамская беднота, а сейчас селятся молодые профессионалы, попивающие свой кофе-эспрессо за безнадежно геометрическими стеклами прокуренных кафе, украшенных беспредметной живописью.) Я посмеивался: АТ, казалось, не замечал ни потрепанных обшлагов, ни разошедшихся швов на подкладке, ни безнадежной старомодности потертых пиджачков и лоснящихся брюк, а когда я пытался поиронизировать, сообщил мне, что аристократы всегда старомодны, странное и жалкое заявление!

Общность языка не означает общности культуры; недаром мои старики так толком и не сблизились со своими ровесниками, попавшими за океан в юношеском возрасте. Так и я долго не мог понять, какие пропасти между мною и моим другом-аэдом и то, что он происходит из страны, отставшей от нас едва ли не на двадцать лет (примерно настолько он ошибался, когда пытался определить возраст более или менее современных зданий).

Но я отвлекся: все чаще забредаю я в эти пропахшие потом, пылью и тлением лавочки, прохожу мимо разбросанных там и сям столовых приборов, щербатых тарелок, пожелтевших от времени холодильников, черно-белых телевизоров, которыми лет тридцать назад так гордились их владельцы, радиоприемников с отвалившимися ручками настройки — всего хлама, некогда наполняв-

шего чью-то жизнь, а теперь мертвого, как, возможно, и его владельцы. Особая жалость охватывает меня, пронзает мне сердце, когда я смотрю на старую электронику, понимая, что не пройдет и десяти лет, как отцовский «Пентиум» будет вызывать столь же снисходительную и сентиментальную усмешку у новых поколений, как и эта куча компьютерного хлама в лавочке подержанных вещей. Собственно, уже сейчас «Макинтош» АТ выглядит громоздким и неуклюжим, и жесткий диск его шумит, подобно ветру в горах или отдаленному прибою — негромко, однако достаточно отчетливо для того, чтобы не давать мне заснуть, когда я забываю выключить компьютер, утомившись от путешествий по несуществующему киберпространству, от новостей из России, от картинок, где седеющий интеллигентный негр совокупляется с козлом, от электронных арен, на которых выплясывают перед всем честным народом клоуны со всех концов света, предлагая свои портреты, соображения о смысле жизни, краткие биографии. Весь мир может зайти на эти страницы, но число посетителей редко превышает несколько сотен, а может быть, и десятков, в год.

Скажу, перед сном — таким одиноким, как в киберпространстве,— я не чувствовал себя ни в лесах Скалистых гор, ни на заваленном гранитными глыбами пустом берегу Ньюфаундленда, ни в Нью-Йорке, когда у меня еще не было там знакомых. Странен век телефонного секса и виртуальной реальности, и богатства наши, вероятно, сродни несовершенному золоту господина Верлина, распадающемуся в прах с первым пением петуха.

24

Меня всегда поражало, что вдобавок к ужасу смерти в ее метафизическом смысле она приносит близким также необходимость избавляться от мертвого тела, вести переговоры с сотрудником похоронного бюро о разряде, по которому предполагается закапывать покойника в землю, прицениваться к гробу и выбирать место на кладбище.

— Недаром,— вздохнул я,— некоторые похоронные дома предлагают новую услугу: еще при жизни заехать к ним, подробно договориться об участке, о церемонии, о разряде, наконец. Оплатить все заранее. И presto наследников ожидает прекрасный сюрприз.

— Вы это вычитали у Ивлина Во,— поморщился АТ.— Вам бы в Россию, многоуважаемый Анри, познакомиться с тамошними — как их называют большевики? — бюро ритуальных услуг. Да на гробы российские поглядеть, обитые красным кумачом, плохо выструганные, скрипучие...

Он остановился и, поморщившись, отхлебнул водки, которую на этот раз, верно почуяв неладное в моем телефонном голосе, принес с собою. Впрочем, напиток, хоть и налитый в тару из-под «Финляндии», был подозрительный, пожалуй, даже и приготовленный дома из контрабандного американского спирта. Литровую емкость этого снадобья считал своим долгом прихватить в пограничной беспошлинной лавочке едва ли не каждый российский эмигрант.

— Наоборот,— отозвался я, шпильку насчет российских похоронных домов пропустив мимо ушей. АТ любил наносить удары ниже пояса, ссылаться на свой трагический и недоступный мне жизненный опыт.— Это ваш Ивлин Во ознакомился с такой практикой и вставил ее в свой — надо сказать, не весьма справедливый — пасквиль.

— Ну хорошо, хотя я не понимаю, почему Ивлин Во мой. А как вы, Анри, мыслите приложить эту удобную *практику* к своему нынешнему положению? Вы что, уже думаете заказывать место на кладбище?

АТ неторопливо достал из своего винилового школьного портфеля пластмассовую машинку для набивания сигарет, пакетик табаку и несколько пустых сигаретных гильз. В нашем районе многие пользовались такими машинками — налог на табак и гильзы по неизвестной причине был заметно ниже, чем на готовые сигареты. Пользоваться машинкой легко, особенно если набивать деся-

ток-другой сигарет заранее, но АТ не отличался предусмотрительностью да и набивальщиком оказался никудышным. Перед тем как наконец закурить, он разорвал две или три гильзы и засыпал табаком весь диван. Не люблю грязи, не люблю богемных привычек: при всем душевном расстройстве я не поленился сходить в прихожую за пылесосом.

— Денег нет совершенно,— сказал он, поджимая ноги, чтобы не мешать мне убирать мусор,— живем втроем на Жозефинины ассистентские заработки. Родители, конечно, помогают ей, но нерегулярно, и если не попрекают, любезный вы мой Анри, то только по избытку воспитания. Папаша-профессор даже спрашивал у Жозефины, когда я наконец пойду учиться на программиста или вернусь к алхимии. За три с лишним года здесь я заработал,— он призадумался, загибая пальцы,— две с половиной тысячи. Знаете, я опасаюсь, что и Жозефине это скоро надоест при всем ее бессребреничестве. Даже в Москву не позвонишь. Ах, Анри, не понимаете вы собственного счастья. Живете на родине, работаете, знаете все три языка. И не пишется — вот главная беда. Раньше я умел писать красиво, а теперь получается нечто вроде волчьего воя. Любые страдания полезны, как я много раз говорил вам, но — в меру, в меру, Анри. Слышали вы легенду об Антее? А о Сизифе?

25

Тот затянувшийся день оказался богат событиями: часов в девять вечера, когда бутылка фальшивой «Финляндии» почти опустела и лицо мое, как отметил АТ, уже перестало изображать трагическую маску, вдруг позвонил господин Верлин. Как ни странно, я сразу узнал его вельветовый баритон с мягким восточноевропейским акцентом. Он рокотал и переливался, уверяя меня, что дела идут блестяще и что фирма «Канадское золото», зарегистрированная им месяца два назад, в ближайшие недели получит аккредитацию в России.

— Вы произвели на меня отличное впечатление, Анри,— убеждал меня голос, не менее вальяжный, чем его обладатель,— у меня ощущение, что вы прямо-таки созданы для работы в моей фирме. Мне удалось отыскать инвесторов, мы набираем персонал. Золотых гор не обещаю, но у этой фирмы невероятные, неслыханные перспективы!

— Господин Верлин,— сказал я, выслушав до конца его, надо сказать, весьма соблазнительный монолог,— очень рад вашим успехам. А над вашим предложением...

АТ, не дав мне договорить, выхватил трубку.

— Паша,— заорал он, вырвав у меня трубку,— Паша, ты ли это?

Боюсь, что и господин Верлин на том конце провода впал в совершеннейший ступор.

— Да-да! — лучился Татаринов.— Это я! Он самый! Уже три года. Нет, конечно, нет, жребий брошен. Ага, так ты, значит, следишь за периодикой? Почему же ты меня не отыскал в Монреале? Сам работал за границей, понимаю... Ну да, а в телефонной книге мы под фамилией Жозефины. Ну, не знаю, можно ли назвать это успехом... Шесть концертов в Монреале, четыре в Америке... да-да, разумеется... даже отчасти покровительствует. Он вообще оказался очень отзывчивым человеком. Ну, например, я по его рекомендации устраиваюсь ассистентом в летнюю экзотерическую школу. Деньги почти символические, но все-таки первый профессиональный контракт... Паша... слушай, подъезжай немедленно! Подумаешь, выпил! Дай полицейскому полсотни... Ладно, ладно, молчу... хорошо, давай завтра... Пишут. Лялька рыжая пишет. Валентин прислал открытку с оказией. Боятся, конечно.

Он перешел на незнакомый язык, и я не сразу сообразил, что это была латынь.

Выражение лица АТ всегда зависело от языка, на котором он говорил. Русская речь означала некую смесь унижения и гордыни, видимо, въевшихся в

плоть и кровь моего друга за годы мытарств на родине. Изъясняясь по-английски, Алексей выглядел так, словно пытался доказать что-то глухому собеседнику. Греческий, на котором он не говорил, а только пел, преображал его совершенно, и, право слово, стоило ходить на его концерты, просто чтобы подивиться возможностям человека. Художник да и только! Тот самый вдохновенный романтик с классических картин. За одно это лицо я готов был простить все глупости, которые мне доводилось от него слышать. Сейчас передо мною стоял еще один Алексей Татаринов, дитя Московского университета, причастный целому пласту жизни, мне недоступному,— запрещенные книги, научные конференции, опыты за полночь, Домбай, уборка картофеля, водка, песни под гитару, кандидатские экзамены, подпольные выставки, самиздат — словом, целая вселенная. Отсвет ее освещал лицо АТ, когда он говорил по-латыни... А потом он снова перешел на русский и лицо его как-то сжалось.

— Нет, там все беспросветно. Абсолютно беспросветно. Нет, ты меня не убедишь. Твой Горбачев с его антиалкогольной кампанией — такой же гэбэшник, как и его предшественники, только европейского лоску нахватался... Кто же меня пустит? Ты же не ездишь в Прагу. Ах, не дразни меня, Паша! Нельзя дважды вступить в одну и ту же реку, особенно если пляж обнесен колючей проволокой.

В разговоре (который для меня, понятно, был монологом) мелькало слишком много незнакомых имен, и я чувствовал себя, как чужой на встрече одноклассников. Наконец АТ повесил трубку и потянулся к бутылке.

— Вообразите, Анри, какие подарки делает нам судьба! Это же Паша! Натуральнейшая часть моей юности! Часть того, что навеки осталось в прошлом. Так мне казалось, во всяком случае. Откуда вы с ним знакомы?

Я рассказал ему о нашей встрече, впрочем, воздержавшись от некоторых подробностей.

— Несовершенное золото...— протянул АТ, как бы чем-то расстроенный.— Он что, действительно собирается торговать с большевиками?

— Не он, так другие найдутся,— возразил я.— И вы не очень-то воодушевляйтесь, Алексей. Почти полтора десятка лет на Западе наверняка изменили вашего Пашу до неузнаваемости. Крысиные бега, знаете ли. Мне он при встрече показался заурядным мелким предпринимателем, правда, с огромным апломбом. Причем предпринимателем, как бы поделикатнее выразиться, не вполне разборчивым. Складывалось впечатление, что он много чего уже перепробовал, в том числе и не очень кошерного.

АТ надолго замолк.

— Блестящий был ученый,— сказал он наконец.— Кафедра его на руках носила. Уговаривали остаться в России, работу предлагали. Впрочем, я читал, что из Чехословакии тогда бежали все кому не лень. За полной ненужностью новому режиму. Черт бы подрал этих проклятых большевиков! А чего он от вас хочет, мой Паша?

— У меня все-таки образование, практически нет акцента, а ему требуются служащие. Для начала на неполную ставку, консультантом, а затем сулит золотые горы: командировки в Россию, карьеру, большие деньги. Всю алхимическую сторону он берет на себя... От меня требуется только мой опыт почти урожденного канадца. Завтра отпрошусь в банке к дантисту и поеду к нему в контору.

26

Как чувствовал я себя наутро в Ройял-Банке?

Вот проснулся я, зевая, в своей сиротской или вдовьей, как хотите, постели. Вот вышел, нацепив халат, на кухню, привычными движениями открывая холодильник, доставая яйца, бекон, йогурт, апельсиновый сок.

Вот поставил все это на кухонный стол, покрытый скатертью в плывущих

по краю синих уточках, и вдруг спрятал все обратно, побрился, натянул белую рубаху, завязал галстук.

Вот вышел я из дома. Двухквартирные особнячки с наружными витыми лестницами, одна из главных монреальских достопримечательностей, казались мне трущобами, прохожие — мрачными уродами, а весенний ветерок — настырным сквозняком через щель приоткрытого окна. Поравнявшись же со зданием банка, я испытал острый соблазн миновать его, добрести до Сен-Дени и, купив там у уличного торговца в черных очках весь его наличный запас товара, отправиться в лучший мир.

Вместо этого, впрочем, я завернул в столовую напротив банка, добросовестно сжевал недожаренную склизкую яичницу и запил ее стаканом полупрозрачного кофе в бумажном стаканчике. Немногочисленные ранние посетители — угрюмый строительный рабочий в каске (наверное, поссорился с женушкой за вчерашнюю дюжину пива с приятелями), две длинноногие полногрудые девицы, от которых за версту разило блудом, костистый, лысеющий младший администратор по займам из моего банка, тот самый, занявший мое место, с непроизносимым именем Кржиштоф — все они казались столь же неприкаянными, как я сам. И действительно, разве довольный жизнью отправится в эту забегаловку со стерильными столами и зевающими служителями? Разве что из юродства.

Быть может, все к лучшему, думал я, стыдясь собственных мыслей. Во-первых, господин Верлин обещает мне увлекательную службу. Во-вторых... Но тут я боялся признаться в своих надеждах даже самому себе. Не будучи искателем приключений, я верю в такое немодное понятие, как любовь. Вчерашняя встреча с АТ меня взволновала. Неожиданно для самого себя я вдруг увидел в нем не только жалкого изгнанника и салонного острослова, но и личность таинственную, даже отчасти романтическую. Конечно, какой я ему друг! Со своим старомодным воспитанием он, вероятно, считает меня человеческим уродом. Но чем черт не шутит.

За окном серело мокрое весеннее утро, уже посматривал на часы ненавистный Кржиштоф, попыхивающий своими вонючими «Дюморье», и в двери банка по одному заходили мои коллеги. Я тоже поднялся с места и отправился на службу, пытаясь в меру сил изобразить страдающего зубной болью, чтобы после обеда отпроситься к доктору, перепоручив завершение еженедельного баланса своему шефу. Как всякий молодой человек в небольших чинах, я простодушно полагал, что он работает в несколько раз меньше меня.

Усевшись за письменный стол в своем закутке, я со вздохом потянул на себя повизгивающий ящик жестяного конторского шкафа. Даже такое первоклассное заведение, как Ройял-Банк, скупилось на канцелярские товары, и картонные папки защитной масти, где хранились выписки со счетов, уже порядком пожелтели с торцов.

Позвонил господин Верлин, столь же жизнерадостный, как вчера, напомнил мне о запланированной встрече — перенесенной, впрочем, на вечер, в один из довольно приличных ресторанов Старого города.

27

Господин Верлин уже сидел в глубине ресторана, за столом, накрытым розовой бумажной скатертью, в обществе Алексея. Привстав, он облобызал меня и засиял еще более обаятельной улыбкою, чем некогда в Амстердаме. Подали салат, я налил себе кисленького красного вина из стоявшего на столе графина. Мы сдвинули бокалы, и Верлин вернулся к разговору, который начался еще до меня.

— Даже для нашего Анри у меня пока работа только временная, на четверть ставки. Вы переводить умеете? — обратился ко мне господин Верлин.

Я почесал в затылке.

— Как в том анекдоте про игру на скрипке,— честно ответил я благоухающему предпринимателю.— Не знаю — не пробовал.

— Я уверен, что сможете. Мне на первых порах нужен двуязычный помощник, который занимался бы составлением русской документации, заодно постепенно входя в курс дела. При этом русским эмигрантам я как-то не доверяю. Алексей, конечно, исключение, но алхимик мне пока не нужен, а в остальном он, как бы выразиться, разбирается не слишком, так?

— А экзотерика? — вступился я за молчаливого АТ.

— Занятие благородное,— проникновенно посмотрел на меня Верлин.— Занятие для истинных идеалистов, призванных менять судьбы человечества и склонять его к размышлениям о прекрасном и высоком! Дорогой вы мой Анри,— голос его углубился, зарокотал, почти запел,— я не считаю себя заурядным бизнесменом. С университетских лет я сохранил философский взгляд на мир. Вы можете презирать деньги, но обойтись без них вам не удастся, и жалок, жалок сидящий на социальном пособии и изобретающий некий духовный велосипед. За последние несколько десятилетий в цивилизованных странах общественные механизмы настолько отладились, что они сами собой отбирают то, что нужно обществу и грядущим поколениям. Те же, кто не сумел выбиться в люди, попросту не обладают достаточным талантом. Или, точнее, могут и обладать, но — не в той области. Экзотерика умерла. Все эти аэды обслуживают всего несколько тысяч таких же чудаков, как они сами. Когда мы заработаем свой десятый миллион, тогда, разумеется, я буду готов поддержать нашего друга не только морально...

— Ничего себе моральная поддержка,— пробурчал АТ,— серпом по яйцам. Что с тобой случилось, Паша? Ты зачем меня дразнишь?

— Повзрослел я, Алеша, в отличие от тебя. Конечно, аэду дозволительно быть вечным ребенком, но это слишком большая роскошь по нынешним временам.

Как меняются люди в зависимости от того, к кому обращена их речь. Со мной — зеленым юнцом — господин Верлин являл собой воплощенное самодовольство, самоуверенность, самолюбование. Обвиняя АТ, он одновременно как бы извинялся, нападая — защищался. Признаться, я любовался ими обоими. Уважаю людей увлеченных, способных с жаром стоять на своем, при условии, конечно, что разговор не о достоинствах хоккейных команд или преимуществ пива «Молсон» по сравнению с «Лабатт блю». Я вспомнил Раскольникова с Порфирием Петровичем. Почему? Ни один из моих собеседников не был ни следователем, ни подозреваемым. Но АТ в конце концов был прав, когда называл Порфирия Петровича зеркальным отражением Родиона Романовича, разве что сдвинутым во времени.

— Я прошел через крушение всех своих надежд, любезный мой аэд.

— Я тоже.

— Наверное, правы те, кто связывает нашу науку с дьяволом. Ты помнишь открытие Пешкина?

— Как не помнить,— хмыкнул АТ.

— Согласись, что когда твой учитель вдруг отрекается от всего, что тебе дорого, да еще устраивает такую жестокую шутку со своими близкими... и когда в тартарары летит твоя родина... конечно, не Россия, но родина не хуже любой иной... поневоле задумаешься над правильностью, как бы тебе сказать, собственной системы ценностей. Засим — оставим, дружище, все наши высокие идеалы и стремление объять необъятное, оставим это молодежи, особенно живущей под коммунистами,— ей все равно некуда приложить свои силы. И я, откровенно скажу, удивлен тем, что ты уже почти четыре года сидишь на шее у жены и не сумел зарабатывать каким-нибудь простым и остроумным способом.

— Ты превратился в чудовище, Паша! Разве Розенблюм последние годы жизни не жил на милостыню? Помнишь, его жена в мемуарах пишет, как Симе-

он Кроткий через домработницу послал им корзину картошки со своего дачного огорода?

— Не читал я этих мемуаров,— отмахнулся Верлин,— и зря мы сюда пришли. Продохнуть нельзя от жары.

Он расстегнул верхнюю пуговку своей оксфордской, плотного холста белой рубашки в голубую полоску и отпил вина. Официант уже сгружал со своего подноса шипящие куски мяса.

— По мне так нормально! — рассмеялся Алексей.— Я же не ношу вашей бизнесменской униформы.

Действительно, на эту, достаточно важную для него, встречу он явился в черной, порядком застиранной майке с изображением лиры, с крупной английской надписью «Экзотерика лучше секса». В обыденной жизни вкус нередко изменял моему товарищу.

— Я тоже все потерял.— Он ткнул вилкой в огромный бифштекс, и оттуда выбрызнула струйка крови.— Но существуют вещи, которых терять нельзя. Не копите себе сокровищ на земле, где ржа истребляет и воры подкапывают и крадут, а копите себе сокровища на небе, где ржа не истребляет и воры соответственно не подкапывают и не крадут.

— Очень, очень интересно! — поднял Верлин свои меховые брови.— Как же ты тогда объяснишь свой отъезд из пределов страдающего отечества в благополучную Канаду? Надоело принимать страдания? Но не ты ли меня когда-то уверял в их необходимости?

— Меня тоже,— вставил я,— буквально на днях.

28

Я осекся: собеседники вдруг посмотрели на меня озадаченно и раздраженно, словно на подростка, влезающего во взрослый разговор. Я не обиделся, потому что ничуть не считал себя ниже АТ или господина Верлина. Пускай первый был знаменит и талантлив, а второй сумел немалого добиться (хотя я в то время значительно и, может быть, фатально переоценивал его влияние, знакомства, состояние и все остальное, включая деловую хватку), начав с нуля и, вероятно, преодолев некоторые нравственные преграды. В одном отношении, однако, я вполне мог смотреть свысока на них обоих. Тот вечер был далеко не единственным, когда АТ и Верлин заводили (обычно с подачи первого) беседу как бы о смысле жизни, о призвании, о судьбах отечества. Я, словно серной кислотой выжегший все свои детские воспоминания, добровольно подвергший себя некоей лоботомии (в пятидесятые годы был такой популярный способ лечения-наказания душевнобольных преступников), неизменно чувствовал себя, как бы сказать, более здоровым, что ли. Тогда я подозревал, что дело в эмиграции, но впоследствии, уже в Москве, с ужасом обнаружил, что мои бывшие соотечественники на своей родной земле тоже едва ли не поголовно страдают этой хворью и стремятся жизнь свою прожить подобно роману — с рассуждениями, с лирическими отступлениями, с бесконечными размышлениями о значении жизни. (Наверное, виноваты в этом были бедность и безысходность. Сейчас, с окончательной победой контрреволюции, разговор о компьютерах и поисках работы стал так же мил восточноевропейскому или российскому сердцу, сколь и американскому.)

Так вот, недружелюбно взглянув на меня, собеседники замолкли и как бы очнулись.

— Так ты был в Москве? — вздохнул АТ.— Видел наших?

— Как тебе сказать,— неохотно сказал Верлин,— мы с ними разошлись. Я с тех пор прожил целую другую жизнь. Может быть, даже две или три. Анри тебе не рассказывал, как мы познакомились? Как я раздавал рекламные листовки у порнографического театра?

Я поперхнулся.

— Не сказал? Ха! Ваши акции растут, Анри! Вижу, вы не только не задаете вопросов, но и умеете хранить секреты. На пари я этим занимался. С владельцем театра. Ну ладно, впрочем. О чем я? О том, что у них там продолжается старая жизнь. Все те же разговорчики о литературе, о политике, все тот же тамиздат, который одалживают друг у друга на одну ночь, рассчитывая в каком-нибудь номере «Континента» обнаружить ответы на все свои вопросы. Все то же обильное слюноотделение при виде какой-нибудь полуправды в газете. Я не любитель тюремных библиотек, не поклонник тюремной самодеятельности. Я однажды узнал вкус свободы и ни разу еще об этом не пожалел.

— Ну а не смущает тебя, скажем, что эта свобода досталась только тебе, что ее не с кем разделить? Что твои старые друзья остались там, а ты, так сказать, как оторванный листок, ну и все такое прочее?

— Своя рубашка ближе к телу.— Верлин пожал плечами. Мне казалось, что он слегка лицемерил, как и в рассказе о пари с директором театра.— Мне повезло, другим — нет. Свой шанс в жизни есть у любого человека. Мне, чтобы взять у нее свой, потребовалось унижаться так, как им не приходилось даже перед секретарем парткома.

— Давненько ты не видал секретарей парткома, должно быть. А наш юный друг даже не знает, что это были за птицы. Впрочем... где же это тебе приходилось так унижаться, Павел?

— По-разному.— Господин Верлин вдруг как бы взял себя в руки, и на полном, я бы даже сказал, обширном, жизнерадостном лице его вновь засияла здоровая уверенность в себе, прекрасная седина показалась мне еще благороднее.— Как там у твоего любимого Пастернака: *простимся, бездне унижения бросающая вызов женщина...*

— Я — *поле твоего сражения*,— продолжал АТ. В голосе его, однако, появилось некоторое разочарование.— Почему, Паша, ты не хочешь нанять меня на работу, собственно?

— Я хочу! — воскликнул господин Верлин.— Очень хочу! Но фирма только начинается, деньги на ее деятельность взяты в банке под бешеный, доложу тебе, процент, и я в данный момент просто не могу себе позволить... Да и что ты можешь делать, по чести-то говоря? Распевать под лиру? Я бизнесмен, а не благотворительная организация.

Сказано было справедливо, однако не без покоробившей меня резкости, то есть уж слишком откровенно было сказано, может быть, даже грубо, а может быть, и не без тайного намерения несколько уязвить АТ.

— Ты говорил о какой-то производственной линии... Вам же все равно потребуется подогнать проект под советские условия. Я еще не забыл о своем дипломе.

— Вот-вот,— сказал Верлин, по-моему, несколько устыдившись.— Я сейчас веду переговоры, и если, Бог даст, контракт будет подписан, то вполне возможно, что я смогу, как говорится, оказать помощь старому другу. Но сейчас, пользуясь цитатой из того же автора, сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь.

— Хорошо,— сказал АТ, потускнев. Его звездный час истек. Официантка уже несколько раз подходила к столу, пытаясь убрать остатки наших гигантских бифштексов (по поводу размера которых и АТ, и Верлин уже успели обменяться шутками), жареной картошки, салата, кока-колы в бумажных стаканчиках. Отказавшись от предложения подбросить его на машине, Алексей торопливо раскланялся. И если бы меня попросили определить унижение, я бы вспомнил спину удаляющегося по темной весенней улице АТ, его болтающиеся за ненадобностью руки — и направленный ему вслед взгляд господина Верлина, в котором было смешано два взаимоисключающих чувства — жалость и торжество.

29

Раннее утро. Передо мной в стакане шипит, разбрасывая мелкие пузырьки, порция Alka-Seltzer, голова трещит то ли с похмелья, то ли от недосыпу — вчера я-таки поддался на уговоры одного своего старинного приятеля и провел с ним вечер. Добрая дюжина славного бочкового пива в полузабытой атмосфере простодушного веселья подействовала на меня, я расслабился и даже танцевал: сначала — обыкновенные современные подергивания, затем — нечто классическое, сентиментальное.

Ранним утром, когда машины на перекрестке замирают перед светофором, ясно слышно, как птахи Божьи беззастенчиво чирикают в ветвях тополей и кленов. Говорят, что многое из проходящего по разряду прекрасного, как-то: цветы, искусство, птичье пение, женская красота,— косвенным образом увязано с идеей эффективного и безболезненного размножения. Даже художественные кривляния аэда в хитоне и деревянных сандалиях — лишь переродившаяся песня, которую исполняет самец гориллы, победивший в схватке за самку и звуковым кодом готовящий ее к совокуплению, а балетные па худощавой красотки — вариация телодвижений той же самки, стремящейся показать самцу здоровье и гибкость своих членов. Должно быть, Алексей издевался и надо мною, и над Жозефиной, когда с серьезным выражением лица рассказывал всю эту чушь. Английских слов у него не хватало, и мне то и дело приходилось переводить для Жозефины, присоединившейся к нам на чашку чая с абрикосовым вареньем (по которому АТ положительно сходил с ума).

— Мне доводилось читать монографию про пиявок,— продолжал он.— Оказывается, пиявки, будучи гермафродитами, перед началом любовных занятий тоже ухаживают друг за другом — колотят хвостом по листочкам водорослей, трогают друг друга и как бы поглаживают.

— Как можно сравнивать человека с пиявкой! — поморщилась Жозефина.

— Даша бы на это сказала, что пиявки тоже люди,— возразил АТ.— Есть похожий обряд и у мух-дрозофил. На первой стадии самец приближается к самке и занимает выжидательную позицию на расстоянии примерно в две десятых миллиметра от нее. На второй стадии трогает лапкой живот самки, на третьей — жужжит крылом, исполняя любовную песню. На четвертой — располагается мордочкой к хвосту самки и трогает хоботком ее гениталии, на пятой...

— Ради Бога, заткнись! — почти выкрикнула Жозефина, обращаясь не то к АТ, не то ко мне, невинному переводчику.— Меня как женщину эти уподобления оскорбляют. Особенно стыдно должно быть тебе, человеку искусства...

— Почему?

— Ну потому, что если нет любви, то нет вообще ничего.

— Но с чего ты взяла, что любви нет? По мне так все эти любовные жужжания крыльями доказывают нечто совершенно противоположное: что любовь свойственна даже дрозофилам.

— Перестаньте, Алексей Борисович! — вставил я от себя.— Мухи совокупляются и разлетаются, а человеческой любви свойственна тяга к постоянству.

— Качество любви не меняется от ее продолжительности,— оборонялся АТ.— Ни одна из подруг Казановы не была на него в обиде, а он редко кого любил больше нескольких дней...

— Договорились! — Глаза Жозефины неприятно сузились.— В присутствии собственной жены воспевать Казанову?

— Я исключительно в общем плане.— АТ мгновенно увял.— Прошу прощения, если был бестактен. Прошу прощения, хорошо? — Он посмотрел на жену заискивающим взором.

— Господь с тобой! — засмеялась она.— И почему ты так меня боишься? Чует кошка, чье мясо съела?

30

Понятно, что на закате жизни старику хочется удержать ее, обозначить хотя бы буквами на бумаге, воскликнуть на весь мир: так было! Я не был стариком; я не мучился бессонницей от боли в спине и не клал на ночь искусственные зубы в стакан с водою, влажно шамкая во сне розовыми младенческими челюстями. Я еще не уверен в том, что моя жизнь кончится. Вот почему заниматься воспоминаниями так мучительно: они слишком ясно обозначают, как далеко ты уже отошел от начала известной дороги и сколь кратко оставшееся расстояние.

Однако из приоткрытого окна дует по-особенному свежо. Снег стаял. На самой верхушке тополя под моим окном сжимает в зубах грецкий орех отощавшая рыжая белка, и я невольно улыбаюсь ей. Просохли улицы. Едва ли не каждый вечер теперь я прогуливаюсь по проспекту Сен-Катрин, куда из моего обиталища всего четверть часа на метро. Пускай центр уже не тот, что в моей юности, пускай в нем десятикратно увеличилось количество рвущегося в небеса бетона и огромных стеклянных плоскостей, мрачноватых беспредметных скульптур, футуристических скверików, покрытых не молодой травою с пятнами маргариток, а мертвым асфальтом,— это жизнь, повторяю я про себя, это ее движение, которому невозможно и не нужно противиться. Прокуренные таверны с бильярдом и чинные оргалитово-стальные кофейни, китайские ресторанчики с постаревшими официантами — теми же самыми, что лет десять назад, с тем же услужливо-усталым выражением на лицах. Иной раз — билет в кино на поздний сеанс. Неповторимый запах воздушной кукурузы с растопленным маслом, душка Шварценеггер, с очаровательным немецким акцентом раскидывающий на экране по дюжине человек зараз. Зимой все это никуда не исчезает, но суровы зимы в нашем городе, и соль, которой посыпают мостовые, разъест любые ботинки. Весной я прихожу в себя, словно только-только остановившееся сердце от электрического шока. Кто-то из современных российских писателей уверял, что у человека все должно получаться неловко, что он не имеет прав на житейскую устроенность. Согласиться ли? Скажу по-иному: не бейте человека слишком тяжело, но пусть чувствует, что удар грозит ему всякую минуту, и душа его будет постоянно настороже, попутно, быть может, замечая нечто более достойное, чем жалкое наше бытие, или предаваясь бессмысленным воспоминаниям, теплым, как слеза.

Господин Верлин обхаживал меня, словно юную девицу, и уже несколько раз приглашал на обед в ресторан «Мазурка», что на улице принца Артура, на бигос, вареники и шницель по-венски. В тот день он против обыкновения заказал еще вина — опять же весьма третьесортного. Стояла, как и сейчас, весна, близился туристический сезон, за окнами разливались, соперничая друг с другом, уличные певцы, и продавцы серебряных украшений раскладывали по лоткам свой однообразный товар — знаки Зодиака, подковки, миниатюрные человеческие черепа на цепочках. К тому времени я уже с полгода выполнял мелкие рекламные и переводческие поручения фирмы, а на этот раз мне торжественно объявили о том, что «финансирование открыто», что снято настоящее помещение в Заречье, где меня ждет отдельный кабинет с видом на реку Святого Лаврентия.

Слово за слово, и я наконец поддался уговорам господина Верлина и даже, расчувствовавшись, сам оплатил счет.

«В крайнем случае,— подумал я,— стаж на пособие по безработице у меня уже накопился, с голоду не помру. Но путешествия! Россия! Отдельный кабинет с видом на реку! Черт возьми, игра стоит свеч!»

На следующий день я, отчасти все-таки трепеща, подал заявление об увольнении (принятое без всякого сожаления), а через две недели мой новый босс уже сигналил мне у подъезда банка, и мы вдвоем, кряхтя, грузили в багажник его вишневого, ну, не «ягуара», разумеется, а самого прозаического «плимута» два

или три ящика с моими книгами и бумагами. (Я мстительно сунул туда еще фунта два канцелярской мелочи — скрепок, папочек, дешевых шариковых ручек.) Коллеги завидовали мне; разумеется, у меня хватило и такта, чтобы на прощание не высказать всего, что я о них думаю, и ума, чтобы не делиться с ними сомнениями по поводу устойчивости фирмы «Канадское золото». При всей сладости обещаний господина Верлина и скромных обедах в «Мазурке» или «Будапеште» он оплачивал мои счета за мелкие услуги с неприличным опозданием да и разговор о зарплате все откладывал, ограничиваясь заверениями в том, что получать я буду «существенно больше, чем в банке». Собственно, даже контракт мы подписали только дней через десять после начала работы. И сумма моего жалованья в нем оказалась заметно меньшей, чем на старой службе.

Я покраснел, я разгневался, я потерял дар речи.

Но господин Верлин встал из-за своего министерского стола под красное дерево, обнял меня за плечи и обворожительно рассмеялся:

— Вы будете числиться консультантом, Анри. Компаньоном, если угодно. Работа по найму — это так тривиально! Честно заработанные деньги еще вам не выданы, а государство уже запускает руку в ваш карман. Представьте себе — налоги федеральные, налоги провинциальные, страхование по безработице, пенсионные...

— Но как же без пособия по безработице? И пенсионный фонд у нас в банке был.

— Оставим эти грошовые заботы простонародью,— поморщился господин Верлин.— Неужели вы, Анри, не верите в успех моего начинания? А тем временем будете списывать с налогов все профессиональные расходы — квартиру, автомобиль, а у вас непременно будет автомобиль, и в самом скором будущем,— бархатно разливался он,— газ, свет, обеды в ресторанах — только и нужно, что хранить квитанции! Я приглашаю вас в другую жизнь, не на крысиные бега, а на схватку, ведущую к победе!

31

Так начались мои ежедневные странствия в Броссар, называемый у нас еще Южным берегом, скучноватый геометрический район, похожий на американские пригороды, царство автомобилей и одноэтажных, распластанных по асфальтированной равнине торговых центров, где пахнет китайской кухней, хлоркой и сухими цветами.

Да простится мне юное высокомерие, с которым озирал я тогда этот край двухэтажных коттеджей из сухой штукатурки на алюминиевом каркасе, окруженных невысокими заборами и населенных, казалось мне, незамысловатым средним классом! (Так оно, вероятно, и было, но кто же я такой, чтобы судить?) Прощай, крысиное прозябание банковского клерка, радостно рассуждал я, пересекая в полупустом рейсовом автобусе широкую, спокойную реку, то лазурную, то оловянно-серую, пока навстречу мне катили автобусы, битком набитые обывателями, торопящимися на работу в город. Даже это движение в противоположном направлении отделяло меня от толпы, не говоря уже о том, что новая служба сулила мне доступ в волшебный мир большого международного бизнеса.

От надежды человек глупеет не меньше, чем от любви.

«Здравствуй, новая жизнь!» — как бы восклицал я про себя, пересекая шоссе от остановки автобуса к приземистому конторскому зданию (при первом посещении поселившем во мне порядочное разочарование), которое компания «Канадское золото» делила с аптекой, мастерской по ремонту телевизоров, нотариусом, дантистом и частными курсами экзотерики, по вторникам и четвергам арендовавшими пустующий зал на первом этаже. Господин Верлин планировал в будущем использовать зал для семинаров, выставок, а может быть, и для демонстрации опытной линии по производству верлинского золота приезжим клиентам.

— Типичный мелкий бизнес,— заключил отец за пирогом с грибами, подан-

ным матерью к чаю.— Вероятно, кто-то вложил начальный капитал, теперь года полтора твой Верлин будет пытаться его раскрутить, а потом лопнет. И останешься ты, как бобик, на улице. Кроме того, он, по-моему, вообще авантюрист.

Родители знали господина Верлина только по моим рассказам, в которых, быть может, некоторое недоверие и сквозило. Алхимия, Прага, Амстердам, знакомство с Алексеем, несовершенное золото, торговля с Москвой, тесные и не вполне понятные отношения с советским консульством — кто же спорит, здесь легко усмотреть определенный перебор.

— У тебя у самого мелкий бизнес,— не очень убедительно возразил я.

— Ну да, сегодня густо, завтра пусто. Нет, сынок, в работе по найму есть своя прелесть. На руки, может быть, получаешь и поменьше, зато — уверенность в завтрашнем дне, или как там это называется. Вон у матери тоже мелкий бизнес. После службы всякое воскресенье как угорелая мчится дома показывать. Сколько у тебя, Вера, домов сейчас продается в месяц?

— Рынок вялый,— сказала мать скучным голосом.— Проценты за моргидж высокие. Потом, народ уезжает из провинции, а у тех, кто переселяется, у вьетнамцев этих, у сальвадорцев, даже на даунпеймент денег нет. Теснятся в каких-то подвалах, по восемь человек в комнате. Но что-то все равно набегает. Меня другое беспокоит, Сергей, боюсь я этих командировок в Россию. Ну что ты там забыл, Гена?

— Ох мать! — вскипел я.— Как ты мне надоела со своими вечными страхами! У меня полноценный канадский паспорт, советского нет даже в теории... Королева заступится в случае чего.

— Почитай газеты,— упорствовала она.— Два года назад какой-то старик приехал из Бельгии, так арестовали беднягу, судили и, можешь себе представить, расстреляли. И паспорт не помог. И бельгийская королева пыталась заступиться.

— Так он был военный преступник!

— Все равно страшно. Ты же знаешь,— она замялась,— тут одни законы, там другие...

— Я не идиот,— вымолвил я, несколько смутившись.— Я буду в этом смысле осторожен.

При этих упоминаниях о веревке в доме повешенного всегда наступало неловкое молчание. Дорого, дорого даются пироги и домашнее печенье, которыми потчуют родители взрослых детей, наведывающихся в отчий дом, как на другую планету! Любовь, жалость, снисходительность, зависимость, близость и несказанная отдаленность — кому не знаком этот противоречивый набор чувств, который в родительском доме достигает своей вершины, а стоит выйти на улицу — и переживания уступают место насущным заботам, далеким от закатной жизни тех, кому ты обязан своей собственной.

«А может, и впрямь авантюрист,— размышлял я, оглядывая глухие эмалированные стены своего нового кабинета. (Комната с видом на реку Святого Лаврентия пустовала, но Янек, не столько старый, сколько совершенно беззубый заместитель моего нового босса, на смеси русского с чешским объяснил мне, что фирме в скором будущем потребуется юрист, для которого комната и предназначается.— Вольно АТ рассыпать Верлину комплименты. Одно дело — аспирант физфака пятнадцатилетней давности, другое — сомнительный предприниматель. Да и сам АТ не большой специалист в людях».

Полно, полно, уговаривал я себя в такие минуты, когда основательные сомнения заставляли меня сдвигать в сторону кипу ожидающих обработки бумаг и со вздохом созерцать экран компьютера или голую металлическую стену своего кабинета. Даже если в деяниях господина Верлина и есть нечто, скажем, не то что противоправное, но не вполне нравственное с точки зрения какого-нибудь Жени Рабиновича, а мне-то что!

Кроме того, рассчитав свою зарплату, я увидал, что смогу жить не хуже,

чем раньше, даже откладывая процентов двадцать пять в месяц на налоги да и просто на черный день.

32

— Многоуважаемый господин Безуглов,— читал босс, посверкивая очками, составленное мною письмо,— компания «Канадское золото» имеет честь обратиться к услугам Вашего кооператива для организации в Москве выставки-семинара с участием представителей канадских деловых кругов, посвященного производству искусственных драгоценных металлов на основе последних научно-промышленных разработок. Наша компания также заинтересована в экспортно-импортных операциях, связанных с продуктами питания, удобрениями, потребительскими товарами и т. п., а также бартерных сделках.

— Никуда не годится, Анри.— Он посмотрел на меня с ласковой укоризной.

— Вы же так велели, пан Павел. К тому же я полагал, что Алексей по телефону рассказал этому Безуглову все про нашу компанию.

На жизнерадостном лике господина Верлина отразилось растущее разочарование моими деловыми способностями. Видимо, в слове *все* помимо моей воли прозвучали и приемная дантиста на первом этаже, и сухонький вьетнамец-аптекарь, и пустые кабинеты нашей обширной конторы, и лихорадочная закупка компьютеров, факсов и конторской мебели на аукционах, где распродавалось имущество обанкротившихся фирм.

— Здесь есть свои тонкости,— с отеческой назидательностью сказал он.— Этот Иван, может быть, и знает про нас, по вашему выражению, *все*, но у него есть свои деловые партнеры. Организовать выставку — дело непростое. Российский рынок — джунгли, где новичкам места нет. Даже в таком коротком письме следует показать, чего мы на самом деле сто́им. Скажем, почему бы не упомянуть, что после пятнадцати лет успешной торговли со странами Восточной Европы,— он говорил, как по-писаному, хотя и с некоторыми грамматическими ошибками, которые я ради связности текста убираю,— совет директоров компании «Канадское золото» принял историческое решение о распространении ее деятельности на Советский Союз с целью плодотворного сотрудничества, взаимовыгодной кооперации и содействия перестройке, гласности и ускорению... Созданный при прямом участии японской фирмы «Хаванагила»...

— Пан Павел!

— Хорошо, созданный при прямом участии фирмы «Мацусони» департамент инженерно-конструкторских исследований может предложить советской стороне сооружаемые «под ключ» промышленные мощности по производству химических продуктов, драгоценных металлов... Не надо говорить «искусственных», вы бы еще сказали «фальшивых», Анри...

— Или ненастоящих! — подал голос Янек, покачиваясь в совершенно новом кожаном кресле, за которое с пана Павела на аукционе взяли всего полсотни. Вообще я заметил в его вкусах европейскую склонность к вещам основательным и как бы вечным: коже, габардину, мебели если не красного дерева, то уж, во всяком случае, фанерованной под оное, оксфордским рубашкам в синюю полоску и чернильным авторучкам.

— Верно, Янек, ах, как это дьявольски верно! В общем, Анри, напрягите свои творческие способности. Это письмо рассматривайте как первый набросок нашей рекламной брошюры, которую потребуется впоследствии перевести на английский и французский.

Напряженность растаяла на лице господина Верлина, он посмотрел на часы, показывавшие без четверти пять, и извлек из ящика стола початую бутылку так называемой «Боровички» — весьма сносного словацкого джина, десять ящиков которого недавно поступили в адрес фирмы бесплатно и беспошлинно, так как представляли собой, согласно отправленному на таможню письму, рекламный материал для дегустаций с перспективой последующей реализации «Бо-

ровички» на американском рынке. После первой рюмки я поборол свое недоумение, а после третьей приобрел полную уверенность в том, что сумею написать не только рекламную брошюру, но и целый том, посвященный многолетней деятельности нашей фирмы на рынках Восточной, а может быть, и Западной Европы. Рюмки недорогого чешского хрусталя, надо сказать, были довольно объемистые.

— Приходится хитрить,— шлепал розовыми челюстями Янек,— а вы не удивляйтесь, молодой человек, так поступают все без исключения. Всем надо выживать, закон бизнеса...

— Ты не прав, Янек.— Господин Верлин взмахнул рукой, подобно выступающему на Форуме императору.— Никто не собирается хитрить, никто не будет обманывать наших возможных партнеров. Я всего лишь за то, чтобы постоянно глядеть в будущее. Почему так постоянно несчастен и страдает меланхолией наш общий друг Алексей? Потому что он витает в облаках, где будущего нет, а если и есть, то оно обозначено только редкими минутами так называемого вдохновения. Иными словами, от его работы ничего не происходит, ничего не изменяется. Посетители концертов расходятся, возможно, и в состоянии некоторого душевного подъема, но возвращаются в свою обычную жизнь, изменять которую призваны совсем другие люди — мы с вами, дорогой мой Анри. Толпа консервативна. Расшевелить ее можно с помощью приемов простейших, известных умным людям, однако иной раз, скажем, не вполне ординарных. Сколько стоит ваш галстук? — неожиданно спросил он.

— Долларов десять,— сказал я.

— Вот вам в счет предстоящего чека.— Он протянул мне три бумажки по двадцать долларов.— Отправьтесь вечерком в «Огилвиз» и купите хотя бы один. Завтра у нас посетители, которые родились не вчера и прекрасно могут по галстукам и костюмам определить годовой оборот фирмы.

— А по местоположению? — не удержался я.

— Монреальское отделение фирмы «Канадское золото» — всего лишь дочернее предприятие нью-йоркской компании под тем же названием.— Пан Павел снова заговорил голосом вкрадчивым и официальным: — И на первых порах, на время исследования канадского рынка, мы вынуждены довольствоваться этим скромным помещением.

Он протянул мне визитную карточку, где и в самом деле был указан нью-йоркский адрес, причем на Пятой авеню.

— Но как же...— начал я.

— А вот так, Анри.— Господин Верлин развеселился и даже подмигнул мне.— У фирмы есть свои маленькие секреты. Что до тебя, Янек, то если ты еще раз забудешь дома протезы, я тебя уволю. При всей старой дружбе.

33

Из небытия, из голубого и разреженного воздуха весеннего Заречья вдруг начали сгущаться в нашей конторе молодые люди с бараньими глазками и девицы в синтетических блузках. Заикаясь, они отчаянно лгали про имеющийся опыт работы, и садились за компьютеры, по два человека на кабинет без окон, и покуривали на лестничной площадке, у латунной вывески таинственной компании «Морские путешествия», жалуясь на долгие часы в присутствии и скудную зарплату,— всем им определял пан Павел минимальное жалованье плюс мифические комиссионные с удачных сделок. (У меня в свое время хватило ума отказаться от комиссионных в пользу твердого жалованья. Сейчас я понимаю, что пан Павел не из жадности определял сотрудникам столь нищенское жалованье, а по бедности да еще потому, что на те несчастные несколько сотен тысяч, полученные, возможно, и от какого-нибудь порнотеатра в Амстердаме, смотрел отчасти как на свои собственные деньги и страшился, что они кончатся до того, как дело окончательно развернется.) В кабинет с видом на реку по вторникам и

четвергам стала приходить большегрудая блондинка с дискообразными сережками фальшивого золота в розовых ушках, студентка четвертого курса. Поскольку ни один юрист в здравом уме и твердой памяти не пошел бы в компанию «Канадское золото», пан Павел от души радовался: за четверть нормального жалованья Джулия довольно ловко превращала бойкий, но кишащий грамматическими ошибками язык босса в густые заросли «таковых» и «вышепоименованных». Правда, пока ей доводилось работать только над контрактами с молодежью, откуда босс железной рукой вычеркивал такие лишние пункты, как пособие по болезни и трехнедельные отпуска. Из факсимильного аппарата непрерывно ползла хрупкая, едва ли не на глазах желтевшая бумага, и ваш покорный слуга, проходя в кабинет господина Верлина, напоминал секретарше — о да, и секретарша уже появилась! — о необходимости разреза́ть факс на отдельные листы — раз, и читать, а затем передавать господину Верлину — два.

После недельных волнений некая корейская фирма прислала нам оценку стоимости демонстрационной линии по производству несовершенного золота с доставкой в Москву.

Поглядев на документ, я присвистнул. На мгновение погрустнел и неугомонный пан Павел, из чего я заключил, что подобных денег у него не только нет, но и взять их, в общем, неоткуда.

Между тем неведомый мне Безуглов уже вовсю работал на компанию «Канадское золото», присылая всевозможные коммерческие предложения, обычно весьма неудобочитаемые,— попробуйте на дешевом аппарате снять ксерокс со слепой машинописной копии, а потом послать его по факсу! Впрочем, я разговаривал с ним по телефону, а однажды запросил описание его фирмы, именовавшейся кооперативом «Вечерний звон». В тот же день прибыл обширный устав фирмы, в котором упоминались такие виды деятельности, как «содействие развитию частного предпринимательства и внешней торговли», «сотрудничество с Русской Православной Церковью» и «торговля сырьем, материалами и готовыми изделиями с прогрессивными иностранными фирмами».

— Допустим, ваш Безуглов жулик, но почему же тогда у него такой престижный адрес? — спрашивал я.

Фирма располагалась в Сивцевом Вражке, в районе посольств, особняков и шестиэтажных домов в стиле модерн, напоминающих о Париже.

— Слушайте, Анри, я его сам не видел уже лет шесть,— твердил АТ в ответ на мои расспросы, и правая его бровь начинала подергиваться.— И друзьями мы никогда не были. Просто мне написали, что он теперь активно занимается бизнесом. А бизнес в нынешнем Союзе — вещь весьма и весьма растяжимая, универсальная, можно сказать.

— А кто именно написал? — продолжал любопытствовать я.

— Катя Штерн,— нехотя сказал АТ.— Она у него, кажется, подрабатывает секретарем-референтом.

— У нее же диплом физического факультета!

— Ну да, мало ли у кого диплом! Все они, с дипломами, получают сейчас по двадцать — тридцать долларов в месяц. Вы мне лучше скажите, Анри, зачем пану Павелу,— он усмехнулся,— потребовался Зеленов.

— Банк «Народный кредит»?

— Ага.

— Мало ли кто ему требуется.— Я уклончиво повторил фразу АТ, с сожалением отметив про себя, что Паша Верлин, аспирант кафедры алхимии, возможно, и был другом АТ, но предприниматель господин Пол Верлин, видимо, даже мне, щенку, доверяет больше.

— Я в ужас пришел! — разгорячился АТ.— Зеленов — старый гэбэшник. Причем не в переносном смысле, а в самом буквальном — майор Комитета государственной безопасности. Одно время курировал экзотерику и попортил нам всем немало нервов. Уже после моего отъезда ушел в отставку — хотя какая у

них может быть отставка! — вступил в Союз экзотериков, через год уже стал вторым секретарем Московского отделения. Ну, эллонов он, разумеется, давно не пишет, хотя в юности грешил и две-три статейки опубликовал в свое время.

— А как же банк?

— Это и для меня загадка,— сказал АТ.— Впрочем, Союз экзотериков практически распался. В руках у администрации осталось довольно много недвижимости, да и деньги на начальный капитал могли сыскаться, не в Фонде помощи аэдам, так в том же КГБ, или как он там сейчас называется.

— Так что же, ваш Зеленов — богат?

— Нет, мне пишут, что банк довольно захудалый. Сам не знаю, откуда они берут деньги.

— Целевые кредиты,— сказал я тоном знатока.— Центральный банк предоставляет кредиты по маленькой ставке, а банк отдает их предприятиям по большой. Или по маленькой, но с устной договоренностью, что кредит безвозвратный. Какой-то процент, скажем, треть, при этом выплачивается наличными председателю правления, а уж он делится с нужными людьми.

— Как это мерзко все,— сказал АТ.

Не вполне в лад этим пессимистическим словам глаза его вдруг засияли почти безумным завистливым огнем. Собственно, разговор происходил не в каком ином месте, как в аэропорту Мирабель. Время от времени я похлопывал себя по карману, проверяя, на месте ли мой паспорт с голубым вкладным листочком визы. Неподалеку стоял в маленькой группке предпринимателей господин Верлин, весь — предупредительность, вежливость, хороший тон. АТ никуда не ехал, но отправился проводить нас, а заодно и кое-что передать. Это *кое-что* оказалось виниловым чемоданом весом килограммов в тридцать.

(Окончание следует.)

Денис ВИНОГРАДОВ

Голос стекла

Колыбельная

Солнце садится слезою бессонною
Горем и миром траву уязвив
Чайкою острою, крестопоклонною
Ночь налетает, как пьяный Сизиф

Сети зеленые бродят по площади
Их наблюдают скупые огни
Щурясь, мерцают и в каждом полощутся
Тихие рыбы людской болтовни

Пыльного кремния око туманное
Вперилось в дождь станционных путей
Вот поразила сердца деревянные
Сырость шрапнельная прошлых полей

Где незабудки растаяли грозные
Видится Млечной акации путь
И осторожные звезды обозные
Тихо стрекочут: цикад не спугнуть

Поезд

Под крики семафоров в ясном
Пути морозном я проснусь
И взором пасмурным и властным
В тропу бегущую вольюсь

И буду долго, ту природу
Печальным взором веселя
Сквозь газированную воду
Смотреть на зимние поля

* * *

Все чужеродно в плаще опадающих волн
Все вопиет о знакомом в зенице фонтана
Голос троллейбуса долог в лице неживом
Соль и бетон пломбируют костлявую рану

Голос стекла — леденящий, ласкающий звон —
Держит в ветвях соки, искры которых готовы
Радужной пылью вонзиться в сей Иерихон
Медленным взрывом вернуть позабытые кровы

В небе просмоленном сохнет Луны рукоять
В городе насморк; огни зажигаются рано
Только сирены воистину могут сиять
В этой воде сквозь толченые бусы рекламы

Ветер гниет на лету, обрывая кору
Сладких, смердящих афиш; из-под завтрашней кожи
Смотрит иная — и кости сих стен поутру
В мерзостной плоти уже ни на что не похожи

Муторный век на замерзшем пороге застыл
Шар нефтяной согревает последние будни
Голос стекла отсекает, как пел Даниил,
Камень от дивной Горы — во органах и лютне

Пойте Его — Он побьет пестроту агарян
Лица от племени гари исполнит бесчестья
Землю покроет, стирая безродного шрам
Нитью из тысячи ран вышивая предместья

Нового века. Пока же осколками мгла
Тихо кружится поземкой гарцующей плети
В нервных волокнах ветвей вербный голос стекла
Поит прохожего сердца чумазые клети

* * *

...Когда чернеет ветра грудь
И окольцованные птицы
Спеша, выслеживают путь
В траве, волнующейся в лицах

Когда светлеет горький стан
Воспоминающих и гневных
И льется холод по перстам
Ключом отзывчивым и нервным

Когда литая пустота
Гремит, как крышка у рояля
Карикатурная звезда
Играет в жестком одеяле

И шлет пунктирные цветы
С небес взволнованных и ясных —
То грани этой пустоты
Уже не будут безопасны —

Возьми награду, и беги
Ведь наяву тебя не тронут
Твои смешливые враги
И не спасет твой тихий омут

Вино

Еще глоток — и станция близка
И фонари — ресничными огнями
В груди фальшивый бархат ямщика
Не уследившего за сонными конями

Москва кабацкая вместилась в поезда
В полночный, призрачный и мелкий,
рыбий транспорт
В заученных гостей, которых иногда
Как двух ментов, прельстит пропахший
пивом паспорт

На стыках одури я сладостно пою
Преследуя во тьме пушистых шпал мерцанье
И кажется — все меркнет свет в раю
Для ищущих тропы воспоминанья

Железо

Чертя овраг с заоблачной сиренью
Я проходил кварталы гаражей
Железо синим, маслянистым зреньем
Мне диктовало путь слепых стрижей

Магнитных трав невидимые рамки
Я проходил сквозь луговой трезвон
Все эти металлические гранки
Как контрабанду, пронося в вагон

Когда же обернулся у платформы
Где планер эха обращался вспять
Вдова садов в немецкой униформе
Сметала пыль, забывшую сиять

...В дрожащих досках ток речной запруды
Величественно шел под окнами в цвету
Стекло курило сел закатных руды
И в конскую бросало темноту

Рассвет в окне

Далекий холод близких фонарей
В тень родниковую больничных галерей
В лохмотьях парка брезжущих камней
Все смотрит пристально и рано

Озноб какой-то схватывает плащ
Единой каплей; дождь не настоящ
В одной из тех микроволновых чащ
Что пустырю колючая охрана

А человеку — лес, тамбовский волк
Особенно тому, кому не в толк
Происходящего пугливый шелк
И кепкой на глаза сползает строчка

Хмельному лирику очередного дня:
«На этом пустыре убьют меня
Здесь только пыль — надежная броня
От всех кустов и проволочек

Оденусь пылью, выплюну из уст
И сквозь меня не прорастет ни куст

Ни та же пыль травы; ни храп, ни хруст
Не огласят пустынного квадрата

Но там, где волны пыли пьют асфальт
В проезжем околотке диких смальт
Подымут крик на ветер — словно скальд
С зениц которого упала стекловата...»

И дальше льет воинственную песнь
Сквозь плесень пробираясь на болезнь
Заборов древних и фабричных бездн
Стекло синеет. День тоскует

И я стою, смыкая сонный круг
И солнце, счастьем выпрыгнув из рук
Ночной любви невидимых супруг
Прохожему в затылок тихо дует

* * *

Благодарю тебя, Отчизна,
За злую даль благодарю!
В. Набоков

Мы не больны. Больны не мы
За немоту не отвечая
Я выйду из своей тюрьмы
Глазами дикими качая

Там будет духоносный сад
Звонков и перистых созвучий
И не рассеет этот взгляд
Под солнцем место, ни под тучей

И пробираясь меж стремнин
Листков лекарственной когорты —
Падучий, гневный властелин
Мы не войдем в твою аорту

Вот посмотри, какая смерть
Лежит таинственным загаром
На лицах, мнящих: неба твердь
Доступна теплым окулярам

Стеклянный вирус холодов
Восходит в сердца колкий щебет
Играет линзами зрачков
И увеличивает лепет

Ведущий в эту высоту:
Один как иней в горнем хламе
Играю перьями во льду
И льдинкой в радужном стакане

●

Владимир КАЧАН

Роковая Маруся

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Великому и ничтожному
племени — артистам посвящается

Сейчас вы прочтете предисловия к моей «Роковой Марусе», написанные Леонидом Филатовым и Михаилом Задорновым. Написаны они совершенно независимо друг от друга. Заранее предупреждаю, что они будут меня хвалить. Когда хвалят известные и уважаемые люди — это что-то вроде рекомендации, кроме того, что это само по себе приятно.

Однако (чтоб вы не думали, что я прикрываюсь их авторитетом), когда мы стали друзьями, им до всенародной славы было куда как далеко; ни одной, даже самой нахальной гадалке не хватило бы наглости предположить, что когда-нибудь Задорнов поздравит весь советский народ в новогоднюю ночь вместо президента (и народ в Новом году перестанет быть советским), а Филатов получит все звания и станет лауреатом всех самых престижных в стране премий (у него только Ленинской нет — опоздал и Нобелевской — значит, есть куда расти).

Впрочем, если уж быть честным до конца, их известность и авторитет (в плане рекомендации) этому сочинению не повредят и, надеюсь, даже помогут.

АВТОР

«Роковой Марусей» я горжусь так, будто сам ее написал. А между тем написал эту театральную повесть мой близкий друг — может быть, самый близкий! — друг и однокурсник, а ныне артист театра и кино, композитор и исполнитель собственных песен — Владимир Качан.

Познакомились мы с Володей аж в 1965 году на вступительных экзаменах в театральное училище имени Щукина. Оба были из разных концов страны, именуемой еще Советским Союзом, он — из Риги, я — из Ашхабада, но породнила нас тогда, как я сейчас понимаю, общность вкусов. Нам нравились одни и те же стихи, одни и те же книги, одни и те же фильмы, бывало, что нравились даже одни и те же женщины...

За это время у нас неоднократно возникали разговоры о возможном Володином писательстве. Он постоянно отнекивался. Аргументы, как правило, были одни и те же: да нет, поздно уже... да и графоманов развелось... ну, напишу я одну книжку — на большее ни сил нет, ни времени,— она и потеряется на этих книжных развалах... и потом, ну, что это добавит к моей репутации?..

За точность слов я, конечно, не поручусь, но пафос аргументов был примерно такой. Какой-то резон в этих отговорках, разумеется, был, но я уверен, что, уж если в человеке что-то заложено, надо дать этому «чему-то» выход. И тут уж вступают в силу не вялые соображения по поводу возможного неудачного результата, а власть самого процесса творчества. Что, собственно, и случилось.

Вначале Володя читал свою повесть «с голоса». Каждые две недели приносил две-три новые главы и читал вслух. Я ждал момента, когда она будет закончена и можно будет прочитать ее «глазами», ибо известно, что между словом звучащим и словом написанным «разница велика есть».

Журнальный вариант.

Надо сказать, что читатель я плохой. Вернее, вредный. В юности, читая даже Толстого, я ухитрялся находить в нем множество стилистических неправильностей и полное отсутствие чувства юмора. Позднее та же участь постигла и других классиков.

С годами, правда, моя запальчивая страсть повергать классиков в прах улеглась как-то сама собой, но, беря в руки «Роковую Марусю», я был уверен, что минимум с десяток «блох» я тут наковыряю. Ну, во-первых, автор не классик, что само по себе уже дает некоторую свободу маневра, а во-вторых, он мой товарищ и может даже заподозрить меня в некоторой неискренности, если я преподнесу ему округло-комплиментарную речь.

Я прочитал повесть в один присест, и она понравилась мне еще больше, чем при прослушивании «с голоса». Это была достойная проза, не терпящая по отношению к себе никаких снисходительных скидок на «первый опыт» или «пробу пера». Я даже стал по-хорошему завидовать Володе, потому что это написал он, а не я.

Завидую я и читателю, которому предстоит чтение, смешное и печальное, нежное и ехидное, язвительное и сентиментальное, а самое главное — доброе и благородное.

Леонид ФИЛАТОВ

Я прихожу в гости к другу детства, отрочества, юности, зрелости и приближающейся старости Владимиру Качану. Он читает мне свою рукопись. Это удивительно не по-современному здорово — целый день не думать о деньгах, рейтингах, спонсорах... Не ругать правительство, телевизионные передачи и журналистов... Не злословить об артистах эстрады и подрастающем поколении, а наслаждаться словом, прозой... Я бы даже сказал — поэтической прозой.

Той прозой, которая все реже появляется на прилавках, которая с приходом так называемой свободы нецензурного слова растерялась и уступила место «Оргазму на чердаке» и «Жизни президента через замочную скважину». У Тургенева, Гончарова, Толстого и иже с ними от безысходности опустились рейтинги. Что поделаешь! Образованный, порядочный, интеллигентный человек всегда отходит в сторону и теряется, когда имеет дело с хамством. Писать хорошо стало невыгодно. Тем более невыгодно стало читать то, что хорошо написано. Неприбыльное это нынче дело.

И вот среди всей этой сегодняшней суеты сует, вопреки повсеместному прилавочному литературному хамству, в самом эпицентре московского тусовочного циклона (Володя живет на Пушкинской) мой друг сел и написал повесть. Динамичную, но без агрессии. Остроумную, но не пошлую. По-детективному захватывающую, хотя и о вечном (для тех, кто забыл, поясню: вечное — это душа, а не ставка рефинансирования).

Многие знают Владимира Качана как артиста театра и кино. Но далеко не всем известно, что с юности больше всего он любил поэзию. Опять-таки для тех, кто не понимает, как это возможно — любить поэзию,— уточняю: для него найти новые стихи, которые бы запали в душу, все равно что кому-то другому курнуть нынче марихуанки. Он сочинял музыку к стихам Филатова, Ряшенцева, Рубцова, Левитанского...

Я прекрасно понимаю, что человеку с живым умом надоедает всю жизнь говорить чужими словами, выражать чужие мысли, пускай даже классиков. И Владимира Качана прорвало! Слово это, может быть, кому-то покажется неласковым. Но уверяю вас: бездарности успех вычисляют, а талант прорывает.

Я предполагал, что уже пришло время появиться в России «новой-новой» литературе, чтобы кого-нибудь прорвало. Ведь даже среди «новых» русских стали появляться «новые-новые» русские, без цепей, перстней, тупо стриженных затылков, знающих, что Сара Бернар — актриса, а не порода собак. Но я никогда не думал, что среди тех, кто по-гусарски кинет перчатку литературному хамству, будет мой друг.

Конечно, есть и в наше время писатели, которые не идут на поводу у замочной скважины и нижней половины туловища. Но многие из них — лично для меня — невыносимо скучны. Потому что, как правило, пишут только о себе любимых и становятся очень известными лишь в кругу своих друзей, которые их, любимых, и знают. Таким писателям не остается ничего другого, как убедить себя в собственной гениальности: мол, сейчас для нас — не время, поймут через века. На мой взгляд, это все равно что «фига в кармане». Просто у одного эта «фига» поменьше, а у другого побольше — этакий огромный кукиш.

Володя в эту игру не играет. Он пишет, как пишется, как поется. Получает удовольствие от своего пения и щедро делится этим с читателем. Если сравнивать с музыкой... А музыку можно услышать во всем, что окружает нас в жизни. Просто многие ее не слышат, потому что им некогда прислушиваться. Так вот, если говорить о музыке, повесть Качана — это диксиленд, в котором звучат и остроумные саксофоны, и наглые тромбоны, и романтическое фортепиано, и ироничное динамичное банджо, и безжалостный барабан.

Володя дочитывает мне очередную главу рукописи, и мы едем к Леониду Филатову. Мы дружим до сих пор, хотя встречаемся нечасто. В юности проводили вместе почти все вечера. О том, как мы их проводили, как раз и можно прочитать в «Роковой Марусе».

Филатов читает нам отрывки из «Лизистраты». Мы слушаем, и у меня создается впечатление, что Аристофан специально написал «Лисистрату», чтобы Филатов в наше время реанимировал ее своим ярким, остроумным поэтическим слогом, который все знают по его «Федоту-стрельцу»... Заезжал Саша Розенбаум, чтобы послушать, поговорить о живом, о вечном, а не о спонсорах, рейтингах и шоу-бизнесе. Сидим на кухне, как раньше... Я очень горжусь, что мои друзья взяли из прошлой жизни все лучшее, что они не употребляют в своей чистой русской речи слово «спонсор» и что им до фени ставка рефинансирования.

В соседней комнате по телевизору бубнят новости. Опять кто-то чего-то с кем-то не поделил. Как хорошо, что вся эта дурь сейчас так далеко от нас!

Михаил ЗАДОРНОВ

Слеза Маши Кодомцевой обычно стекала медленно-медленно по совершенно неподвижному лицу. По левой щеке. Но вначале ее большие, красивые, серо-голубые глаза слегка влажнели, придавая взгляду драматический блеск, затем наполнялись слезами, затем переполнялись, чудом удерживая влагу в границах длинных черных ресниц, траурной рамкой обрамляющих всю картину, и, наконец, одна, казалось бы, непрошеная слеза медленно выкатывалась из одного, чаще всего левого, глаза и так же медленно и красиво стекала вниз по щеке. При этом — никакого дрожания губ, голос не прерывается, а, наоборот, очень ровный, низкий, мягкий; руки покойно и благородно висят, и только слеза, влажный хрусталь, красиво расположенный на левой щеке, прозрачно намекает, что все не так просто, что там, в глубине,— драма, которую тебе все равно не понять...

Я называл ее Марусей. Для того, вероятно, чтобы хоть как-то сбалансировать с нормальной земной жизнью все это ее роковое, загадочное и поэтическое. Пожалуй, я был единственным ее знакомым, кто относился к ней не совсем серьезно, у кого ее стиль обольщения вызывал улыбку. Сначала она сердилась, что ее так быстро и безжалостно поняли, а потом сделала меня своим тайным союзником: мол, мы с тобой, и только мы двое, про все знаем, но молчим. Это случалось, когда мы встречались в какой-нибудь компании и я видел, как безнадежно попадался молодой, красивый и, казалось бы, неглупый человек. Общий любимец, чувствующий, что он всем нравится, и весь растворяющийся в этом, весь такой летящий, он вдруг натыкался на Машин взгляд, горячий и слегка грустный.

Он все так же продолжал шутить и нравиться, еще воображая себя в свободном полете, но этот полет уже превращался в свободное падение, прерванный быстрым выстрелом Машиных глаз. Он уже не так смеялся, не так шутил, не так падал и спотыкался, уже ум его был смущен, а воображение задето, он уже погиб, только пока об этом не знал, а знали только мы двое, Маша и я, и на мой вопрошающе-насмешливый взгляд она взглядом же будто просила меня: «Не выдавай меня, ну, пожалуйста». И я молчал, становясь невольным сообщником Маши, и не разрывал тонкую паутину ее нового романа, в которой уже билась очередная блестящая и красивая муха.

В этом месте кто-то из вас может подумать, что моя героиня — тривиальная нимфоманка в тривиальной богемной среде. Но не спешите с выводами, все не так просто. У Маши был туберкулез. Обострение этой болезни, как и у всех хроников, происходит весной и осенью и сопровождается, как говорят медики, особенной чувственностью. Писатели часто делают туберкулез спутником ро-

ковых женщин, вспомним хотя бы Александра Дюма-сына и его «Даму с камелиями». Но куда было его героине до ее тезки Маруси! Машин талант придумать, построить и разыграть любовную мелодраму не имел себе равных. Ведь еще у Маши был театр, где она служила артисткой. И ей не очень везло в театре, больших ролей она там не играла, и потому весь свой творческий потенциал Маша расходовала на жизнь, уж там-то она была и драматургом, и исполнительницей главной роли, и, разумеется, режиссером, а значит, партнера на главную мужскую роль назначала сама. Как правило, это был молодой талант, только что пришедший в их театр по окончании института. Красивый или не очень красивый, но обязательно интересный молодой человек переступал порог театра, готовый на любые подвиги на сцене и в жизни. Он входил в эту жизнь, чтобы побеждать и покорять — и публику, и женщин этого театра, и женщин других, и всех вообще,— и вот тут-то его и поджидала Маша, готовая быть побежденной и покоренной, но... лишь в начале, с тем, чтобы через некоторое время измучить, превратить его в жидкую манную кашу, а затем размазать эту манную кашу на зеркальце своей косметички и смыть ее слезами финальной сцены. Но иногда на молодые таланты был совсем неурожайный год: или совсем никого не брали в театр, или брали уж такую серость, что растрачивать на нее Марусин талант было все равно что открывать лазером консервные банки, и тогда Маша чахла, увядала, ей было неинтересно жить, она становилась злой и начинала выглядеть гораздо хуже, чем в другие времена, когда любовь освящала и освещала ее пустые и скучные будни.

Весь последний год был вот таким, скверным, без романа, без радости и без интереса. Почему почти? Ну, потому что был все-таки в середине прошлого сезона небольшой романчик, так... роман-газета, короткий и не очень интересный,— уж больно легко все у Маши получилось: за какой-то паршивый месяц юноша был обломан и выброшен в архив. Недолго она его любила, минут пятнадцать, как раз столько, сколько он сопротивлялся, интуитивно чувствуя беду. Эта интуиция свойственна пугливым лесным млекопитающим, они все время настороже. Но в том-то и прелесть охоты! Ну как, скажите, отказаться от пьянящего счастья вцепиться в горло какому-нибудь молодому оленю, лани или косуле, причем без риска сломать собственную шею! Но не убить, а лишь слегка придушить, приручить и гладить, гладить... пока не надоест. Маша предпочитала нехищных партнеров, грациозных и беззащитных, и тот, последний, был чудный мальчик с глазами испуганной лани, чем-то напоминающий артиста Коренева из фильма «Человек-амфибия». Того тоже хотелось приручить и гладить нескольким поколениям советских женщин, пролившим немало слез над историей нашей «Русалочки». Машин избранник тогда очень удачно снялся у известного режиссера в главной роли и резко набирал популярность. Он был нарасхват и в кино, и в театрах. Крайне любопытно было Маше, насколько же она сможет тормознуть его карьеру, чем можно ради нее пожертвовать. Это был своеобразный тест на то, сколько она стоит. Выяснилось — много. Мальчик начал пить, пропускать репетиции, срывать спектакли, его чуть было совсем не выгнали из театра и наказали тем, что перевели на исправительный срок в мебельщики-реквизиторы. То есть он должен был и играть свои спектакли, и таскать декорации. Поскольку он кутил и заливал горе литрами водки, а кутежи в его представлении всегда связывались с цыганами, то он и познакомился с несколькими оседлыми цыганами из театра «Ромэн», и некоторое время жил у них в общежитии, воображая себя пропащим Федей Протасовым. Эти пьянки до беспамятства и обрушившаяся карьера с удовлетворением наблюдались нашей Марусей, хотя и не без некоторых уколов совести.

Однако жертва, попив и погуляв до русского ужаса, до *«синдрома разграбленной церкви»*, в один прекрасный день вдруг почувствовала, что не может в себя больше влить ни рюмки водки. Цыганский наркоз тоже стал проходить. Последним толчком к ревизии ценностей был поход со своими цыганами в ресторан-поплавок к цыганам приезжим, которые в этом поплавке выступали. Из уважения к дорогим гостям и родственникам (они все в третьем-четвертом колене оказывались родственниками) и к русскому артисту, которого видели в ки-

но, они начали свою программу следующим образом: вышел на площадку их ведущий, весь в серебряной чешуе нашитых блесток, сверкнул золотым зубом в сторону почетных гостей, хитро и многообещающе улыбнулся и начал: «Цыгане шумною толпой,— тут он повесил тонкую паузу и победно продолжил: — отныне больше не кочуют! Они сегодня над рекой в домах построенных ночуют!» Гром оваций! И уже непосредственно русскому киноартисту добавил: «Да простит нас Пушкин!» За Пушкина тот извинения принял, но притопленная до этого в водке самоирония в нем проснулась. Он стал выздоравливать. К тому же, что называется, у самого дна пропасти его подхватила и спасла милая, простая девушка, переводчица с английского (а никакая не артистка!), его давняя поклонница, в которой не было решительно ничего рокового и которая была поэтому полной противоположностью Маше. Именно она и не позволила мальчику стать *«живым трупом»* Федей Протасовым, обеспечив ему тихую и вполне земную терапию, в которой он так нуждался. Мальчик выжил. Но не сразу и с большими потерями.

Но вернемся к Маше. Мы оставили ее в период *«безлюбья»,* стоящую, так сказать, посреди эмоционального пустыря, вроде бы не обещающего никакого любовного творчества. И тут кто-то ей то ли подсказал, то ли она сама вспомнила, что есть, есть в театре интересный молодой человек, который еще три года тому назад поступил в труппу, и не то чтобы она не заметила его, заметила, но тогда сердце было занято кем-то другим, роман с кем-то выходил на финишную прямую, и она отложила его на потом, сказав себе: «Ну, это подождет, никуда не уйдет». И это *«потом»* все никак не наступало, все как-то руки не доходили, но в глубине сознания тот молодой человек жил и ждал своего часа. И этот час пришел. Разящая энергия Машиных чар обрушилась на Коку внезапно и страшно, как вылетевший из-за угла автомобиль. Кока — так звали его друзья и знакомые, а вообще-то он был Костя, Костя Корнеев. После театрального института он жил беспечно и беспечально. Работа и жизнь были легкими и веселыми, как карнавал. Эти чудесные, праздничные, быстрые годы, кроме всего прочего, дали Коке тот самый опыт общения с женщинами, от которого он даже пресытился и немного устал. Он в последнее время освоил желанный почти для всех молодых людей, но очень трудно воспроизводимый печоринский стиль. В его глазах словно навечно застыло выражение сильнейшей, тошнотворной, постоянно грызущей изнутри скуки, скуки, не утоляемой ничем. Он возбуждал невероятный интерес красивых, знающих себе цену женщин, которые азартно стремились эту скуку сломать. Каждая думала: «Это другие потерпели здесь поражение, а уж я-то справлюсь»,— и каждая на этом попадалась. Вот такой бывалый и непростой паренек попался Марусе на ее любовной тропе.

Все началось с того, что Маша вымыла пол в его комнате. Нет, конечно, и до этого были и взгляды, и полуулыбки, и многообещающее кокетство — весь этот местный Версаль наличествовал, но первая глава романа была написана именно тогда, когда Маша вымыла пол. Она сделала первый ход, и это было нестандартное начало, не какое-нибудь всем известное e2—e4.

Кока был иногородним, общежития театр ему пока не дал, и он снимал крохотную комнату возле кухни в коммунальной квартире, в которой тремя комнатами владела Любанька, белотелая, рыхловатая женщина в очках, очень добрая и своя в доску, носившая среди друзей слегка обидную для нее кличку Ватрушка. Одну из своих трех комнат она Коке и сдавала. А квартира эта была в самом центре, на улице Грановского, по соседству даже был дом, где жил маршал Буденный. Эту комнату и весь интерьер необходимо описать, чтобы вы поняли, что именно предстояло мыть молодой красивой даме из респектабельной семьи.

Нелирическое отступление о жилище нашего героя и некоторых его обитателях

Обилие радостных встреч, такой перманентный праздник, такое ликование «по-черному» не прибавляло стерильности этому помещению. В кухне — прилегающей к Кокиной комнате территории — часто лежали горы немытой посу-

ды, а весь пол представлял собой большую плевательницу и пепельницу. Эта кухня озадачивала даже тараканов. Сосед все время сидел в ЛТП и раз в год возвращался домой. С неделю он держался, а потом начинал гулять. Первые пару дней он еще сохранял приличия и пил, запершись у себя в комнате, из которой лишь изредка, по ночам, доносилось матерное бормотание. А потом... Временами он не мог попасть в свою комнату, не справлялся с ключом и спал на пороге, строго на спине и вытянув руки по швам. Это выглядело особенно дико, когда он непонятно для чего надевал рубашку с галстуком. Так и лежал на пороге своей комнаты в коридоре по стойке *«смирно»* и в галстуке.

Кокину комнату когда-то занимал бывший Любанькин муж Феликс Криворучко. Девять квадратных метров были сплошь увешаны и уставлены чучелами животных и птиц, а также высушенными рыбами, морскими звездами и окаменевшими крабами. В самом углу у двери стоял даже небольшой кабан, чей пятачок однажды кем-то из пьяных гостей был принят за розетку, в которую тот битый час пытался включить магнитофон и громко ругался, что он не работает. Все это, некогда бегавшее, плывшее, хрюкавшее и летавшее убил, привез и превратил в чучела сам Феликс, который был заядлым охотником и таксидермистом. После его ухода все так и осталось, потому что если бы Люба все это выбросила, она бы нанесла Феликсу смертельное оскорбление. Тени убиенной живности роились по стенам и потолкам и стонали по ночам от неотмщенной ненависти к этому киллеру-краеведу, изготовителю их чучел. К тому же, надо сказать, Феликс достиг в своем искусстве почти совершенства: чучела были как живые, глазки у них блестели, шерсть у кабана стояла дыбом, временами Коке казалось даже, что они двигаются, и весь этот животный ужас стал неотъемлемой частью его быта и психики. Коке пришлось к нему привыкнуть, так как денег за снимаемое жилье с него почти не брали, а Любанька его еще и кормила бесплатно.

Несмотря на давний развод, Феликс заходил часто. Он не мог отказать себе в удовольствии делать Любаньке подарки в виде очередных чучел. На Новый год, или в ее день рождения, или просто так, без повода, Феликс приносил свое новое творение и вручал его горделиво и со скромным достоинством. Ни цветов, ни духов, ни конфет — никаких этих глупостей, только новое чучело. Всякий раз Любе надо было делать вид, что она безумно рада подарку, и со слабой улыбкой на лице, из последних сил выражая восхищение мастерством таксидермиста, она брезгливо брала в руки очередную сову или белку и с радостной ненавистью восклицала: «Смотрите, совсем как живая!» Феликс расцветал. Он не мог без охоты. Когда не было охоты, он пил и тосковал по ней. Однажды, когда тоска эта достигла предела, Феликс пришел в Кокину комнату с духовым ружьем, загадочно подмигнул Коке, приложил палец к губам и сказал: «Тс-с-с!» Затем он открыл окно, взгромоздился на подоконник с ружьем, вынул из кармана кусок булки и стал прикармливать голубей, благо это был первый этаж и окно выходило в дворовый тупичок. Плотоядная улыбка нарисовалась на его счастливой физиономии, он крошил хлеб и тихо повторял: «Ща-ас-с, ща-ас-с». Кока с растущим отвращением наблюдал, как голуби от помойки перелетели под окно и стали жадно клевать. Феликс нежно потер щекой ружейный приклад и припал к нему, как к щеке любимой после долгой разлуки...

Потом на кухне Феликс ощипывал трофеи и все приговаривал: «Вот и дичь. Ди-ичь! Ща поужинаем». И правда, через час он ужинал своей «дичью» и, с аппетитом вгрызаясь в голубиную плоть, говорил Коке: «Брезгуешь, дурачок».

В тот вечер Кока твердо решил уехать при первой же возможности. Но пока жил. Терпел, привыкал, презирал, брезговал, но все равно жил по упомянутой уже мною причине материальной зависимости, да и Любино отношение к нему играло свою роль. Демоническая Кокина красота и Ватрушку достала. Глаза ее часто мутнели от чувств, когда она смотрела на Коку. Ее нежность искала выхода и умела себя выразить только в завтраках и ужинах. Их Кока принимал без благодарности, с небрежностью принца, которого просто обязаны любить. Ватрушкину нежность он заметил давно, но ему было удобно принимать ее за материнскую.

И вот в один из чудных дней бабьего лета в эту квартиру позвонила Маша. Она твердо знала, что Коки сейчас нет, что он на репетиции в театре, а репетиция кончится не раньше, чем через два часа. Так же хорошо она знала, что у Коки сегодня день рождения, потому что прошлый день рождения обсуждался и отмечался так, будто это было по крайней мере 825-летие Москвы. В девятиметровой комнате разместились двадцать пять человек, ровно столько, сколько исполнилось Коке в тот год. Как разместились — непонятно, но в театре рассказывали, что более веселого дня рождения не видели. Не всегда, но часто бывает, что где тесно, там и весело. Так что Маша эту дату тогда узнала и на всякий случай запомнила.

И еще Маша успела узнать, какие у Коки любимые цветы, и поэтому стояла перед дверью с пышным, тяжелым и влажным букетом белых хризантем.

Дверь отворилась, и Любанька, оценив ситуацию и решив, что это кто-то из поклонниц, сказала:

— А Кости нет дома. Хотите, я цветы передам?

— Нет, нет, лучше я сама! — сказала Маша.— Я из театра... Из месткома,— почему-то добавила она.

— А-а-а, из театра,— ревниво оглядывая посетительницу, сказала Любаня,— так он сейчас в театре и есть, что же вы там-то ему цветочки не дали?

— Я знаю, что в театре, но, понимаете,— Маша чуть улыбнулась заговорщически,— мы хотели сделать ему сюрприз. Можно я оставлю цветы, подарок и записку в его комнате? — Маше к тому же ужасно хотелось посмотреть, где Кока живет.

— Пожалуйста,— нехотя уступила Любаня,— идемте, я покажу его комнату.

Машу провели по длинному коридору, а потом через кухню в Кокину комнату. Она переступила порог и едва не выскочила обратно от испуга, наткнувшись сразу на чучело кабана, стоявшее справа от входа. Потом оглядела всю комнату и сказала: «Ой!» «Еще бы не ой!» — усмехнулась Люба и пошла за трехлитровой банкой для цветов. Спустя минуту цветы были поставлены, и Люба выжидательно встала у двери, скрестив руки на груди. Повисла неудобная тишина.

— А можно?.. Вы мне позволите?.. Я тут вымою пол и немного уберу. Пусть будет настоящий сюрприз,— понесло Машу. Ничего такого она делать не собиралась, это была настоящая импровизация, спутница всякого таланта.— Вы мне дадите тряпку и ведро?

— Да я вообще-то и сама собиралась,— сказала Любаня,— но уж если вы так хотите...— И Маша получила тряпку и ведро.

Мрачноватый чучелиный склеп был через час превращен в чистенькую и нарядную комнату. В мытье полов Люба не участвовала, но в остальном помогала. В центре застеленного чистой скатертью стола стояла банка с белыми хризантемами, рядом — коробочка с зажигалкой *«Ронсон»*. В глубине букета пряталась записка, содержание которой Маша придумала еще дома. Тихо улыбаясь, Маша оглядела в последний раз свою работу и вышла. Люба была в кухне и резала салат к предстоящему празднику.

— Я пойду, спасибо,— сказала Маша.

— Да не за что,— резонно ответила Любаня и усмехнулась.— Это вам спасибо. Идемте, я провожу.

Дошли до дверей.

— А что сказать, кто приходил-то, если спросит?

— Ой, ничего, ради Бога, не говорите! — сказала Маша.— Сюрприз.

— Сюрприз так сюрприз,— согласилась Люба и закрыла дверь за этой, как она решила про себя, тронутой барышней.

Через час пришел виновник торжества с первыми гостями. Он поцеловал Любаню, получил от нее в подарок блок «Мальборо» и прошел в свою комнату. Там остановился на пороге и точно так же, как и Маша недавно, сказал: «Ой!» Он увидел и хризантемы, и чистую скатерть, и еще влажный пол в комнате, потом подошел к столу и открыл коробочку с подарком, о котором давно мечтал,

но который был ему не по средствам. Ватрушка стояла сзади. Он обернулся и растроганно обнял ее:

— Спасибо, Люб...

— Так это не я,— благородно отвергла Любаня эту признательность.

— А кто же? — удивился Кока.

— Да приходила тут с час назад одна...— Люба поискала слово: — Леди... В золоте вся и бриллиантах. Сказала, из театра, из месткома, хочет, мол, сюрприз сделать. Кольца все с рук поснимала и все побрякушки с шеи, на кухне положила и пол тут тебе весь и вымыла. И все при этом улыбалась, будто знает чего-то, чего я не знаю.

— А цветы? — спросил Кока.

— И цветы ее... Банка моя. И скатерть...— В голосе Любани звучала запоздалая досада на то, что ее подарок меркнет перед сюрпризами этой мымры.

— Да не злись! — засмеялся Кока.

Он вынул букет из банки и погрузил все лицо в тяжелую влажность цветов. Тут нос его наткнулся на какую-то бумажку внутри. Кока вынул ее и прочел: «С днем рождения! Счастья тебе и любви... Не целую... потому что боюсь...» И подпись: «М.».

— А как она выглядела? — спросил он Любаню, которая издали силилась прочитать, что в записке, но подойти ближе ей не позволяла гордость. Однако зуд любопытства терзал большой и добрый Ватрушкин организм, и Кока это видел. Он сжалился и протянул ей листок, хохоча и предлагая тем самым разделить с ним веселье. Любу же, по понятным причинам, записка не рассмешила, и, отвечая на вопрос о внешности таинственной визитерши, она постаралась с максимально возможным для себя сарказмом ее описать. И тут Кока впервые подумал о Маше. Все сходилось: и внешние приметы, и бриллианты, и манера поведения, да и подпись эта — «М.». И он ощутил весьма странное для себя, неожиданное волнение. Так первая пробная стрела, пущенная роковой Марусей, оцарапала его сердце.

Весь следующий день Кока ждал с нею встречи в театре, но она не пришла. Он хотел по глазам, по поведению ее понять: она или не она? Но шанса ему не дали, и нетерпение его росло. Наконец он не выдержал и позвонил вечером ей домой. Кока не знал, что будет говорить, с чего начнет и как задаст главный вопрос, но загадку «она или не она» хотелось разрешить немедленно. И нельзя сказать, что его звонка там вовсе не ждали. Разжечь любопытство и не утолить его ничем — это планировалось, поэтому для Кости Корнеева, для его самолюбия разговор получился довольно дурацким. Он уже через минуту понял, что кидаться на штурм с отвагой слепого носорога — это ошибка.

— Здравствуй, это Костя говорит.

— Простите, какой Костя? — Возникла тяжелая пауза, во время которой Маша забавлялась, а Кока почувствовал себя препарируемой жабой. Но надо было продолжать.

— Костя Корнеев, артист театра, в котором ты работаешь. Коллега твой.

— А-а-а, Костя... Здравствуйте,— пропела Маша своим чувственным контральто, сразу поставив барьер между собой и бедным Кокой тем, что обратилась к нему на «вы».— Вы мне никогда не звонили, поэтому, извините, не сразу узнала.

Пришлось и Коке вернуться к обращению на «вы», отчего он и вовсе почувствовал себя неуютно.

— Здравствуйте,— еще раз сказал он. Протокол общения был составлен, этикет определен, и уже надо было говорить, зачем звонит, дальше тянуть было нельзя.

— У меня, знаете, был вчера, э-э-э, день рождения...

— Да-а? — в меру радостно и вежливо «удивилась» Маша.— Поздравляю. Вы что, хотите его со мной отметить?..

— Нет... то есть да, конечно, но мы его вчера уже отметили.

— Жаль. Если бы вы меня позвали, я бы пришла.

Ласковые обертоны Машиного голоса заманивали Коку все дальше и дальше в трясину игры, кокетства и скрытого смысла.

— Ну, вчера мне и в голову не приходило вас позвать, а сегодня...

— Не поняла... А какая разница между вчера и сегодня? Что же такое случилось, Костя, что вчера вы меня не звали на день рождения, а сегодня позвали бы? Или нет?.. Все равно не позвали бы? А? Костя? Ну, что вы молчите? Ведь этот день уже отметила вся страна, а я еще нет.

— Сегодня... позвал бы,— сказал Костя, постаравшись вложить в это *«позвал бы»* всю вековую тягу человечества к продолжению рода.

— Так, значит, что-то произошло между вчера и сегодня? Что же? — продолжала допытываться Маша.

— Да было тут кое-что...— Костя помолчал, будто решая, говорить дальше или нет.

— Ну, так что же, что? Я просто сгораю от любопытства.

Костя будто и не замечал ее иронии, вот тут-то, на этом месте, можно было еще остановиться, здесь была последняя возможность повернуть назад, превратить все в шутку, но... это было не в его характере, для него это было бы слишком трусливо и скучно. Поэтому, зная, что последним вопросом его спровоцировали на последний же шаг, он этот шаг в прорубь все-таки сделал:

— Вчера днем, когда я был на репетиции, ко мне домой кто-то приходил...

— Ну, ну и что же?

— Оставили цветы, подарок, записку...— Костя опять помедлил.

— Ну... я слушаю вас затаив дыхание,— продолжала торопить его Маша.

Кока услышал это *«затаив дыхание»*, но было уже поздно, он решился.

— Так вот, короче, я позвонил лишь спросить.— Кока коротко вздохнул и посмотрел вверх, как перед расстрелом.— Это была не ты?.. Не вы?..— Он уже знал, предчувствовал, каким будет ответ, но только не знал, в какой форме. Форма оказалась самой унизительной для него: это был искренний смех. Затем Маша с крайней степенью веселого изумления спросила:

— Я?! А почему вы решили, что я могла к вам прийти?

— Да так... Мне описали, как человек выглядел, и я почему-то решил, что это именно вы.— Костя нравился себе все меньше и меньше.— Она там еще уборку сделала и полы вымыла.

— Я?! Полы?! — Тут Машин смех перешел практически в хохот.— Ну, знаете, Костя, мне бы и в голову такое не пришло,— сказала она, отсмеявшись.— Если бы я знала, что у вас день рождения, и если бы мы были ближе знакомы...— Вот тут — легкий оттенок внезапно появившейся грусти, от того ли, что мало знакомы, от другого ли — Бог весть...— Я, наверное, поздравила бы вас, но уж, конечно, не так... экстравагантно. Так что, простите, не я.— Тут Машу опять разобрал смех, и Коке оставалось только ретироваться, по возможности не спиной и не бегом.

— Нет, это вы меня простите,— сказал Костя,— за этот глупый звонок. Ошибся я, бывает. Хотя...— тут он сделал грамотную паузу,— хотя жаль... Но больше не ошибусь.— Еще пауза.— Извините, до свидания.— И Кока медленно положил трубку, надеясь, что хоть закончил достойно. Он ведь интуитивно правильно отыграл финал этого разговора, со всеми своими *«жаль»* и *«больше не ошибусь»*, именно потому, что уж слишком искренне Маша хохотала. А Кока, как я уже и говорил, был паренек с опытом и кое-что в любовных прологах и эпилогах понимал. Кроме того, она ведь как-то по-особенному произнесла: *«Если бы мы были ближе знакомы»*. Словом, Костя, хоть и получил нокдаун в начале раунда, конец его провел достойно: выдержал и не упал и даже чем-то ответил. Поэтому и Маша, положив трубку, не испытала ожидаемой радости от того, что раунд за ней, а, напротив, почувствовала легкую досаду на то, что она, кажется, перегнула. Ей-то хотелось, чтобы он ошибался все чаще и чаще, а он, видите ли,— «*не ошибусь»*. Так что и Маша почувствовала, в свою очередь, легкий укол в сердце, забывшийся, впрочем, через несколько минут.

Любовный пролог был отыгран. Первый раунд закончился. Всю следующую неделю они кружили по рингу, приглядываясь, разведывая, пробуя на проч-

ность то защиту противника от легкого прямого левой, то скорость его реакции на обманное движение правой. О, эти мимолетные взгляды, допустим, в буфете театра, когда, будто внезапно встретившись, взгляды поспешно отводились! Ах, эти якобы простые *«Здравствуйте»* при якобы случайных встречах то в коридорах, то за кулисами! С виду — действительно обыкновенные *«Здравствуйте»*, но для них — полные тайных намеков, иронии, преувеличенной вежливости или, наоборот, обидно-небрежные. О, это случайное столкновение в коридоре, когда ему предстояло смутиться и побеспокоиться: не сделал ли больно, а ей вдруг покраснеть и, поспешно отводя взгляд, сказать: *«Ну что вы, что вы, совсем нет»*. Да и вообще — ах, вся эта чудна́я и чу́дная игра, похожая на приготовления к Новому году, когда сам Новый год значительно менее важен и интересен, чем подготовка к нему! Ведь согласитесь, сам Новый год — это *«уже»*, а подготовка к нему — это *«еще»*. И хотя это *«еще»* всегда хочется продлить, а это *«уже»* отодвинуть, неумолимо облетают листы календаря, золотятся и облетают листья на деревьях, и катится, катится бабье лето Маши Кодомцевой к Новому году Кости Корнеева.

В тот вечер Кока ужинал с друзьями в ресторане ВТО на улице Горького. Они весело выпивали, закусывали красной гурийской капустой и ждали, когда им принесут филе *«по-суворовски»*. Тут к их столику подошел официант Боря и, наклонившись к Кокиному уху, тихо сказал:

— Там, у входа, тебя дама спрашивает.

— Дама? — переспросил Кока.— Действительно, дама?

— Дама, дама,— успокоил Боря и подмигнул.

— Я на минутку,— сказал Кока друзьям и вышел.

Возле входа в ресторан, у телефона-автомата, стояла Маша и улыбалась.

— Вы? — счел нужным удивиться Кока.— Это вы меня вызвали? — Он глупо оглядел коридор, будто там был еще кто-то, кто его вызывал, а затем спрятался.

— Да бросьте,— вдруг очень просто сказала Маша,— вы же знаете... Это я была у вас тогда, вы правильно догадались. А сегодня я одна дома. Муж уехал, и я хочу вас видеть, хочу, чтобы вы пришли. Вот адрес.— Маша сунула в руку остекленевшего Кости бумажку и, все так же улыбаясь, быстро вышла. А он так и стоял минут пять, только качая головой и держа перед собой бумажку, пока не услышал чей-то чужой, хриплый голос, который сказал: *«Да-а-а! Ни фига себе!»* Это был его собственный, Кокин, голос, который он не сразу узнал. Он все стоял и не мог решить, как к этому относиться, ехать или нет, и вдруг поймал себя на том, что он боится. Да, да, именно побаивается. Странно... Чего? Боится ехать туда? Ее квартиры? Или опасается этой женщины? Что это?..

— Да что за черт! — сказал он себе еще через десять минут оцепенелого стояния и две выкуренные сигареты.— Поеду — и все, конечно, поеду! Идиотская трусость какая-то! Она мне нравится? Нравится! Я хочу с ней быть? Хочу! Так какого черта!.. Тем более что муж уехал и квартира свободна.

Кока себя убедил. Он вернулся в ресторан, выпил еще рюмку водки, был рассеян, сказал друзьям, что должен их покинуть, ничего не стал объяснять, вышел, поймал такси и поехал туда, куда вела его записка, все еще зажатая в руке и пахнущая какими-то тревожными духами.

Настало время рассказать о Машином муже; их доме и их круге; обо всем этом *«высшем свете»*, чтобы стали понятны и бриллианты, и ее образ жизни, и некоторые особенности ее характера.

Муж Маши был известным музыкантом, скрипачом. Ансамбль, в котором он играл, шесть-семь месяцев в году гастролировал за рубежом, поскольку классическая музыка там пользуется гораздо большим спросом, чем здесь, и, значит, Машин муж объездил уже почти весь мир. Впрочем, им иногда приходилось радовать своим искусством и жителей Тюмени или Брянска. Это был крупный мужчина с широким тазом, узкими плечами, а также с большими, пухлыми и все-

гда теплыми руками. Он всегда был очень приветлив и при встрече всех целовал, даже если вчера с этим человеком виделся. А если не целовал, то неизменно протягивал вялую руку для рукопожатия, и пожимать эту руку было так же приятно, как связку подогретых сарделек. У него было белое, плоское, слегка оплывшее и всегда улыбающееся лицо с узкими щелками глаз, и поэтому он напоминал мне японскую гейшу на заслуженном отдыхе. Я никогда не был знаком ни с одной японской гейшей, но мне почему-то всегда казалось, что если Митю нарядить в цветастое кимоно, соорудить на голове прическу и дать в руки чашечку сакэ, то и получится типичная стареющая гейша, которой явно есть что вспомнить, но которая никогда об этом не расскажет. Митя — так его звали все, и в этом театре тоже, когда он подвозил сюда Машу на «мерседесе». «Мерседес» в Москве тогда был редкой машиной, не у каждого был знакомый с «мерседесом», а Митя был знакомым всех артистов этого театра. Для нищих артистов он был человеком другого мира, высших сфер, в которых были и заграница, и «мерседесы», и валюта, и специальные магазины; его пухлую руку пожимали Ростропович и Рихтер, поэтому многие считали за честь, когда Митя, подвозя Машу, нередко вылезал из машины поздороваться и поболтать с артистами: «Что-то устал. Вчера только из Аргентины. Тяжелый перелет. Застряли в Париже на сутки». (Хотя как это можно застрять в Париже?..) Для всех он был Митя, а для Маши — Митричек, так она (и только она) его звала. В глаза и за глаза — только Митричек: «Сегодня не могу, очень жалко, но не могу, сегодня Митричек улетает в Японию, мне надо пораньше быть дома». А еще они звали друг друга *«лапа»* и *«малыш»*. Обращение *«малыш»* плохо вязалось с Митиным обликом, но им так нравилось, что уж тут поделаешь, спасибо, что не *«пупсик»* и не *«зайка»*. Но когда я слышал эти *«малыш»* или *«лапа»*, полные прилюдной ванильной нежности, у меня ломило зубы и вся нервная система вопила: «Не на-а-адо!»

Как-то раз я был приглашен к ним в гости. Гости собрались по поводу годовщины смерти Митиного отца, тоже известного музыканта. Мне открыл Митричек и сразу поцеловал, я не успел увернуться, потому что мое внимание было поглощено дверью из тяжелого металла с серебряной отделкой. На двери была табличка из белого опять же металла с фамилией, а в двери — минимум пять замков. Наверное, это все было правильно, потому что, если бы какой-нибудь домушник проник в эту квартиру, он бы не даром поработал. Однако такая затея была бы обречена: при одном взгляде на эту дверь нетрудно было понять, что ее можно только взорвать, но дальше будет сигнализация. Хоть и большая у них была квартира, но в той комнате, где гости сидели за столом, повернуться было негде. И все разом было призвано поразить воображение человека, впервые эту квартиру посетившего. Это вам была не комнатка Коки с чучелами, тут было намешано вопиющее разнообразие вкусов, эпох, интересов, но все имело одно общее: все было солидно и дорого. Тут были и старинный шкаф с хрусталем, и другой антикварный шкаф с фарфором, и третий шкаф с редчайшими книгами, которые тогда можно было купить только за границей и еще неизвестно как через эту границу провезти домой, например, там стояло все, что к этому времени написал Солженицын, и это, помимо зависти, еще вызывало уважение к храбрости хозяев. На самом-то деле все просто: одним — можно, другим — нельзя. Мите было можно. Но нельзя было не отметить, как тонко гармонировали по цвету переплеты книг с обоями и друг с другом. На одной стене висела коллекция сабель, кортиков, ятаганов, мачете и другого холодного оружия; на другой — коллекция охотничьих ружей; в углу — скромное собрание икон. Кроме того: подсвечники, канделябры, блюда, статуэтки и картины в тяжелых золоченых рамах. Словом, интеллигентный дом, в котором живут интеллигентные люди со средствами. Портрет Митиного отца висел тут же. Все чинно сидели, разговаривали вполголоса и не забывали пока, по какому поводу тут собрались. Никого больше не ждали, но вдруг раздался дверной звонок, который у них был, собственно, не звонок, а фрагмент из оперы Бизе: вот как заиграет *«Тореадор, смеле-е-ее...»* — значит, пора идти открывать. Это пришла (случайно, а может, и нет) их соседка Люда. Люда была артисткой балета в Театре оперетты,

то есть в том театре, где балет решающей роли не играет, и у Мити были с ней свои, особые отношения. Маша об этих отношениях догадывалась или даже знала, но делала вид, что не знает ничего, поскольку каждый из супругов, как это принято на Западе, должен иметь право на отдельную личную жизнь. Так ли это принято на Западе и, если да, то на каком именно, точно не знал никто, но так они говорили, словно этот абстрактный Запад был безусловным авторитетом и в этой области. И вот этим правом на независимую личную жизнь и Митя, и Маша широко пользовались. Детей у них не было, да, может, это было и к лучшему, потому что ребенку трудновато было бы разобраться, где деланная жизнь, а где настоящая, где правда и есть ли она тут вообще у папы с мамой. Этот мир, собранный из красивых цветных кубиков, непременно должен был развалиться от первого же порыва свежего ветра, от первого же естественного, искреннего и стихийного вторжения, и он в конечном итоге все-таки развалился, но пока (а мы с вами все еще в этом времени), пока еще сохранял свое хрупкое равновесие, ей еще не надоело окончательно быть *«лапой»*, а ему *«малышом»*.

Итак, Маша открыла дверь их фамильного бункера и встретила соседку Людочку. Сердечность и радость, проявленные Машей при этом, потеряли всяческое соответствие с днем поминовения Митиного отца: «Ой! Людочка, заходите, пожалуйста. Ма-лы-ыш, малыш, посмотри, кто к нам пришел! Вы очень кстати, у нас гости, проходите, проходите, что ж вы в дверях-то?.. Нет, нет, заходите, прошу вас, кого вы стесняетесь? И не думайте отказываться, и слушать ничего не хочу. Мы так рады вас видеть, у нас сегодня такое печальное событие»...— Тут Маша провела Людочку в комнату. Митя ее поцеловал и стал представлять гостям примерно так же, как представлял им час назад недавно купленную афганскую борзую: «Посмотрите, какая красавица. Их в Москве сейчас десять штук. Полторы тысячи долларов, но не жалко. Знаете, сидишь на даче у камина, а у твоих ног большая теплая собака. Хорошо! Носик тоненький, а ножки-то, ножки! Ну, иди, иди, иди, ладно»,— и по крупу ее. Так и Людочку: *вот, мол, красавица наша, мою собаку вы уже видели, коллекцию фарфора тоже, иконы вы оценили, да? А вот это — мой адюльтер, тоже ничего, правда? Людонька, покажись гостям. Повернись. Ничего, да? Фирма веников, знаете ли, не вяжет. Теперь посмотри на хозяина влюбленно*. Это был подтекст, выражение глаз, законная гордость. Ну а текст вполне бытовой: «Людонька, садись, пожалуйста, с Аристархом Иосифовичем. Лапа, познакомь. Аристарх, поухаживай за Людочкой». А Машин припадок радушия, диссонирующий с отмечаемой годовщиной, все продолжался: «У нас такое печальное событие, Аристарх, подвинься чуть-чуть,— годовщина смерти отца Митричека, да-да, уже год... Мы так рады... Как хорошо, что вы зашли, садитесь, Людочка, пожалуйста. Что вы будете? Малыш, передай вино, пожалуйста, нет, не это, там осталось еще «Божоле» пятьдесят третьего года, вот-вот, это, передай, пожалуйста. Аристарх, поухаживай, выпейте, Людочка, да-да, молча, не чокаясь». И оживившийся Митричек заботливо командовал: «Лапа, поставь прибор и семгу, семгу положи Людоньке, она любит». «Сейчас, сейчас, малыш, я все сделаю, не нервничай». Изредка стреляя преданными глазками на Митричека, лукаво посматривая на Машу и не забывая кокетничать с Аристархом, Людочка принялась кушать. И вот тут я по-английски, тихо, не прощаясь, а значит, соблюдая западный колорит этого дома, сбежал из него и больше там никогда не показывался, хоть и был зван не раз. Меня тихо проводила афганская борзая, да и с дверью повезло: была закрыта на один (!) засов изнутри.

Лирическое отступление о розовом фламинго

По дороге домой я думал: стало быть, Маруся живет двумя абсолютно придуманными жизнями. Первая — это ее дом, малыш Митричек, их круг знакомых, а вторая — интересная, запутанная жизнь, полная романов, экстаза и слез, но тоже вся придуманная. «А есть ли настоящая?» — думал я. И если есть, какая она? Конечно, если бы Маша была выдающейся артисткой и играла подряд лучшие роли, то ей и придумывать ничего не надо было бы, она бы всю себя трати-

ла там. А так — две придуманные жизни. А какой же еще жизнью ей прикажете жить?! Да, искусственная жизнь и придуманное счастье, но если настоящего-то нет, как же ей быть? Вы видели когда-нибудь в зоопарке неправдоподобно красивую птицу под названием «розовый фламинго»? Одно слово *«фламинго»* чего стоит! Ветер дальних странствий надувает паруса вашего воображения, вы что-то слышали об испанском фламенко, или об испанских идальго, или о фламандских моряках; вы смутно догадываетесь, что есть в этом имени *«фламинго»* что-то ужасно гордое. И вот вы стоите завороженно перед клеткой с этими птицами, красными и розовыми, и судорога то ли улыбки, то ли слез кривит ваш рот. А они, птицы эти, сохраняют царственную осанку даже в том дерьме, в котором находятся. Я говорю *«в дерьме»*, потому что содержимое их водоема в клетке водой назвать никак нельзя. В нем плавают перья, яблочные огрызки, окурки и хлебные крошки, вода выродилась здесь в некий субстракт, бульон, жидкий холодец из грязи, а запах оттуда наводит на мысль, что в этот водоем справляли малую нужду и причем не один раз. И вот по всему этому шествует фламинго. Да-да, именно шествует, а не ходит. Она ме-е-едленно и величественно вынимает длинную тонкую ногу из дерьма, ме-е-едленно выносит ее вперед, как, вероятно, королева Англии протягивает руку для поцелуя, и затем опять же ме-е-едленно опускает ее обратно в дерьмо, но все так же по-королевски. Да и маленькая ее головка на тонкой шее держится так гордо и прямо, будто у нее на голове корона; а в глазах нет даже презрения к тому, что вокруг, она этого просто не замечает. Не желает замечать — и все! Можно ведь, оказывается, и так! Или даже нужно...

Вот об этом-то и думал я тогда, покидая тот гостеприимный западный дом, к которому мчался сейчас на такси забытый мною на время Кока; мчался, имея в голове холодное любопытство, в глазах — решимость пойти сегодня до конца, в душе — легкое предчувствие беды, а в руке записку, едва уловимо пахнущую тревожными духами.

Кока без труда нашел этот дом на Фрунзенской набережной, отпустил такси, прошел через арку во внутренний двор, разыскал подъезд № 6 и постоял возле него немного, глядя на звездное небо. Во дворе было тихо, никто никого не бил, никто ничего не распивал на детской площадке, никто не орал под окнами песни советских композиторов, только жались к стенам в ужасе от наших дорог и в тоске по родине красивые иномарки да на дальней скамейке целовалась какая-то парочка. «Вот и мне это сейчас предстоит»,— спокойно, без радости подумал Кока и вошел в подъезд.

Маша открыла дверь, не зажигая света в прихожей. В темноте ее глаза слабо светились, как у кошки. Кока произнес приготовленную в машине шутку:

— Здравствуйте, я по брачному объявлению. Вот тут написано: «Я, такая-то, рост, вес, умею то-то и то-то, хотела бы познакомиться с симпатичным и обаятельным молодым человеком. Неравнодушна к изысканным мужским ласкам». Вы давали объявление?

— Давала, — сказала Маша, закрывая за ним дверь,— сегодня давала, и вы так быстро откликнулись, спасибо.

— Не за что,— сказал Кока.— А я для вас достаточно обаятельный и симпатичный?

— Достаточно...

Они продолжали стоять в полутемной передней и смотрели друг на друга.

— Да, вполне достаточно,— повторила Маша, почти прошептала, глядя на него в упор и чуть-чуть прикрыв глаза. Стихийная и темная волна нарастающего возбуждения поднялась по Кокиной крови и уже грозила затопить рассудок; его потянуло к этим блестящим глазам, как некоторых людей тянет к перилам и дальше вниз где-нибудь на балконе пятнадцатого этажа, но Кока не дал пока этой волне накрыть его с головой, отошел от перил, ухватившись за спасательный конец своей шутки:

— А вот я еще хотел поинтересоваться: *«изысканные мужские ласки»* — это как, интересно? Ну, мужские ласки, это я еще понимаю, но вот чтобы *«изысканные»* — это что надо делать? Вы мне можете объяснить? Или... показать?

— Сейчас попробую,— сказала Маша, не отрывая взгляда от Коки, потом вздохнула, качнула себя вперед на последние полшага, разделяющие их, и поцеловала его. Поцелуй длился долго, минуты полторы, после чего Маша, как бы в трансе, чуть отодвинулась от Кокиного лица, отняла руки от его затылка, и они бессильно повисли. А Кока в эти полторы минуты понял, что предчувствие беды его не обмануло, он погиб. Ну не то чтобы совсем погиб, еще можно было бы и побороться, но зачем? И куда только девались его хроническая скука, его холодное любопытство! Он вдруг осознал прозрачно и ясно, что так просто эта женщина из его сердца не уйдет, что она в него уже успела войти и даже расположиться там по-хозяйски и надолго и что, более того, это его вовсе не огорчает.

Маша не спеша подняла на него глаза, поменявшие цвет и ставшие темными в эту главную минуту, и промолвила, будто возвращаясь из клинической смерти: «Я... я как будто вина попила». Затем повернулась и быстро пошла в комнату. Кока бросился за ней. Он уже был во власти этой стихии, стихии желания, какого он не испытывал до этого никогда и ни с одной женщиной. Это было *«темное счастье крови»*, как однажды написал кумир нашей литературной юности Эр. Мария Ремарк.

Маша быстро шла через комнату, не останавливаясь и не оборачиваясь. Она знала, что с ним происходит, она решила не противиться ничему, она даже была горда собой: вот до чего довела, заставила потерять человеческий облик, пробудила в нем зверя,— и поэтому быстро шла через первую комнату, где был накрыт стол для них двоих, через вторую, она стремилась быстрее достичь спальни, а там — будь что будет, для этого надо было еще пройти кабинет мужа, но там, возле рояля, Кока ее настиг. Он обхватил ее сзади и стал целовать в шею, в лицо, в губы, которые она, развернувшись, опять подставила ему; его руки, не останавливаясь ни на секунду, гладили и ласкали ее всю и всюду, казалось, успевали.

— Не здесь, милый, не здесь,— шептала Маруся между поцелуями,— там, дальше... пойдем.

Но Кока уже не слышал ничего, его руки становились все смелее, да Маша уже и не сопротивлялась вовсе, и он все-таки овладел ею прямо здесь, в кабинете, стоя у рояля, в позе № 14, известной в народе под названием популярной закуски к пиву. При этом Маша опиралась руками о черный «стэйнвейн» мужа и, пока сохраняла способность думать, думала, что так ей и надо, а потом — что в этом что-то есть, ну, что у рояля, а не где-нибудь еще. Она сначала тихо, а потом все громче и громче стонала, и, разумеется, Кока с тщеславием, свойственным почти всем мужчинам, относил это за счет своих мужских достоинств. Маша почти кричала, извиваясь всем телом, от чего Кока совсем сатанел и продолжал с утроенной энергией, чувствуя себя самцом-победителем. Маша уже выла, мечтая только об одном: чтобы он побыстрее закончил. О, если бы только знал самодовольный Кока, что у Маши жесточайший остеохондроз и что стоя ей никак нельзя, что каждое движение причиняет ей адскую боль и что именно поэтому она и хотела добежать до спальни! Несчастный Кока! Он думал, что Маша сгорает от страсти, а она просто стонала от боли!

«Ну и хорошо,— немного погодя думала Маша, оправляя платье, под которым ничего не было, словно она заранее знала, что так получится, хотя, наверное, не то чтобы знала, но, пожалуй, допускала такую возможность.— И хорошо,— думала она, читая на Кокином лице признаки законной гордости полового гиганта, еще раз подтвердившего свое высокое звание,— пусть думает, что я от страсти, немного лести мужчине еще никогда не вредило».

Какая все-таки прелесть — эти вторые планы, эта пленительная разница между тем, что делаешь и что думаешь! И откуда только взялась эта хитрая и тонкая вязь отношений, словно взятая напрокат из эпохи Людовика XIV и чудесным образом попавшая к нам, в наше время и наше место, в наше отхожее место?..

А потом был ужин. Когда Маша успела — не знаю, но успела и, если хотела и тут поразить воображение Коки, то своего добилась, хотя он этого старал-

ся не показать. Ужин был простой, без затей: шампанское «Дом-Периньон» в ведерке со льдом, а ему, если захочет чего-нибудь покрепче,— джин, виски или «Посольскую», легкие закуски — салями там, ветчина голландская, миноги с хреном, но это на любителя, ну, икра белужья, да, Господи, кто ее не видел! — а так все по-домашнему, ну, разве что десерт несколько необычен — свежая клубника со взбитыми сливками глубокой осенью, а в остальном так же, как в любой будничный день,— и просто, и мило. Маша смеялась и сама не ела ничего, потчуя Коку всеми этими «незамысловатыми» дарами природы и поглядывая на него хитро и ласково. А Кока был юноша без комплексов, он закусывал «чем Бог послал», застенчивость его никогда не терзала, и дарами природы из валютного магазина его ни удивить было нельзя, ни унизить,— он ел, и все, а Маша, подперев лицо кулачком, смотрела на него пристально и все подкладывала ему в тарелку, будто ее жутко интересовало, сколько он способен съесть. «Съешьте еще вот это, Костенька!» Она опять держала дистанцию, опять разговаривала с ним на «вы», словно давая понять, что то, что было в кабинете у рояля,— ничего не значит, что, мол, это еще не повод для знакомства. Костю это тоже мало смущало, он позволял себе накладывать еду, через некоторые промежутки времени спрашивал: «Маша, а вы-то что же ничего не едите?» (Он тоже перешел обратно на «вы», но сейчас, после близости, это уже не имело никакого значения. Граф с графиней, живущие в разных крылах замка, после любви ужинают вместе — это нормально.) «А я не хочу,— отвечала Маша,— я вообще очень мало ем».— И глаза ее при этом искрились: то ли смеялась над чем-то, то ли влюбилась — нельзя было понять.

А потом они встали из-за стола, неотрывно глядя друг на друга, обошлись без танцев и без единого слова пошли на этот раз степенно и спокойно в спальню, как муж и жена, как будто заранее все известно и все оговорено и слова вовсе не нужны — все и так ясно. А потом снова вернулись к столу, а потом опять в спальню. Бывает у женщин, а еще чаще у мужчин, что, когда они поближе узнают друг друга, больше не тянет, не хочется больше ни постели, ни встреч, или же встречи можно было бы еще оставить, но без постели. Бывает, что-то не нравится и отвращает: запах, жест, манера вести себя, улыбка ни к месту, какая-то вдруг вульгарность — да черт-те что может отвратить! Бывает, неосторожное слово, вырвавшееся у женщины или мужчины в самый интимный момент, способно даже рассмешить, а тогда — какая уж там любовь?! У одного моего знакомого была женщина, которая в минуту экстаза кричала — что бы вы думали? — «Ура-а-а!» Ну скажите, можно быть с такой женщиной или нет? Долго, во всяком случае, нельзя.

А здесь было совсем другое. Утверждают, что есть такое понятие: биологическая совместимость, и тут она оказалась полной, и Кока попался, он даже и хотел, но не мог отыскать в Маше решительно ничего, что бы ему не нравилось. До того было хорошо, что даже плохо. Для Коки, разумеется, потому что, когда он в пять часов утра стал прощаться, Маша уж как-то больно спокойно его отпустила. Когда уже в дверях он обернулся и спросил: «Когда встретимся в следующий раз?» — Маша вдруг ответила: «*Так* никогда»,— спокойно посмотрела на него и улыбнулась от того, какой у Коки был ошарашенный вид. Он этого удара никак не ожидал и потому скрыть ничего на лице не мог.

— Как это — никогда? — криво усмехнулся Костя, вернее, попытался усмехнуться, но у него не вышло.

— Вот так,— сказала Маша,— в театре мы, естественно, встречаться будем, а вот *так* — больше никогда. Завтра приезжает муж,— соврала она.

— Так, может, не здесь?..

— Нигде,— отрезала Маша,— и никогда!..

— Но почему?.. Разве...— Он хотел спросить традиционное «разве нам было плохо?», забывая первое правило удачливых любовников — не задавать вопросов вообще, потому что, если спросил всего лишь: «Где ты была?» — уже проиграл.

— Ни-ког-да,— повторила Маша.— Это был, если хотите, приступ, припадок, я не смогла справиться...

Они помолчали.

— Никогда? — опять тупо переспросил Костя, и Маша, уже ничего не отвечая, лишь слегка покачала головой, а он как-то вдруг и сразу ощутил бездонную трагичность этого слова. Есть, знаете ли, у нас мраморно-холодные слова, космической жутью и скукой веет от них, настроение портится, и необъяснимая тоска щекочет твое сердце: «никогда», «навсегда», «выхода нет», «навечно» и многие другие. Да что там, я один раз в районе Трубной шел по *Последнему* переулку, представляете?

Костя в этот момент некстати, а может, как раз и кстати, вспомнил, как на Пушкинской площади все перестраивали и в связи с этим закрывали шашлычную «Эльбрус», где делали бараньи шашлыки на ребрышках и которую он и его друзья очень любили. И однажды он подошел к этой шашлычной и вдруг увидел на дверях: «Закрыто насовсем с целью ликвидации».

«Никогда, навсегда, насовсем»,— бездумно свистел ветер времени в бедной Кокиной голове, и он в последний раз попытался улыбнуться и спросил:

— Нет?

Маша опять только повела головой, глядя на Костю в упор, и вот тут-то и появилась первый раз в их истории знаменитая Машина слеза, которую я уже описал в самом начале. Она появлялась в самый нужный, кульминационный момент, в апогее любовного действия — что там секс! — вот главное, вот погибель-то где! — и после этого человека уже можно было вычеркивать из списка нормально живущих!

И вот Маша смотрела на него грустными, не могу не написать — невыразимо прекрасными глазами, и по неподвижному лицу медленно катилась одна (но какая!) слеза. Оба молчали.

«Да как же,— думал Кока,— она же меня любит и плачет, но, видно, и вправду почему-то не может встречаться».

«Что-то долго он стоит? — думала Маша.— Самой повернуться и пойти или подождать, пока он первый пойдет к лестнице?..»

— Ну, тогда... прощай,— сказал Кока.

— Прощайте,— тихо ответила Маша. Слеза все еще чудом держалась на щеке, не падала. Кока повернулся и быстро пошел к лестнице. Она чуть подождала, пока он спустится на несколько ступенек, закрыла дверь и бросилась в туалет, потому что — черт возьми! — давно уже туда хотела, а перед Кокой это было никак нельзя, это разрушило бы образ, а уж слеза-то вообще оказалась бы пустым номером.

Следующие два дня Маша была очень весела и довольна собой. Она собиралась, немного отдохнув, сделать следующий ход, она пока еще не знала, какой, но у нее в арсенале было несколько сильных продолжений, из которых в ближайшее время предстояло выбрать лучшее.

А Кока между тем пытался прийти в себя. Надо сказать, что он далеко не сразу опомнился после того *«никогда»*. Он так не привык. С одной стороны, он был глубоко обижен и уязвлен: «Как?! После того, что было, снова на *«вы»* и затем — *«никогда»*?» Не мог же он ошибиться в значении ее взглядов, ее стонов во время... нет! Не может быть! И потом эта слеза... Что это значило?..

Кока слышал раньше где-то в кулуарах театра, что у Маши серьезная легочная болезнь, и сейчас, во время непрестанного анализа происшедшего, мучившего Коку и днем, и ночью, это приобрело роковое, зловещее значение, стало играть особую роль в нынешних Костиных муках, ибо точно укладывалось в схему Машиного поведения, и тогда многое становилось ясно. Ее поведение оказывалось тогда абсолютно объяснимым: она тяжело больна и боится за себя и за него, боится его заразить или что-то в этом роде; а может, ей вообще нельзя ничего, а переживать нельзя в особенности; а может, думает, что он не знает о ее болезни, а когда узнает — струсит; а может... Множество этих *«а может»* билось изнутри в воспаленную черепную коробку Кости, но выхода не находило. Он ведь принадлежал к тем мужчинам, которым было невыносимо само предположение о том, что их просто взяли и бросили; они будут отбиваться от этой

версии до последнего; они будут искать и найдут невидимую, тайную и трагичную, но *«настоящую»* причину разрыва, и это поможет им утешиться на некоторое время.

Он уже хотел опять позвонить и прямо сказать:

— Я знаю, что ты больна. Надеюсь, ты не думаешь, что это может как-то повлиять на мое отношение к тебе? Может, ты думаешь, что я чего-то испугаюсь? Мужа твоего? Болезни твоей? — Он репетировал и прокручивал в голове разные варианты этого возможного разговора; он уже был готов к любому ответу, даже к самому плохому, к тому, что она скажет, что, мол, все в порядке и пусть он поскорее забудет этот эпизод; однако рассчитывал и на лучшее: услышать, допустим, что, мол, да, я люблю и боюсь за тебя, за себя, это оказалось слишком серьезно для меня, прощай, любимый,— и чтобы бросили трубку, лучше — с глухим, сдавленным рыданием,— тогда Коке было бы немного легче. Но так или иначе он страстно желал хоть какой-то определенности, поэтому решил сегодня, что все-таки позвонит. Выпьет и позвонит.

Однако обошлось без звонка, потому что Кока в тот же день совершенно неожиданно для себя получил ответы на все свои вопросы, и это оказалось самым серьезным испытанием во всей его богатой любовной биографии.

Кока шел после репетиции в свою грим-уборную. Репетировал он сегодня на редкость бездарно, да и как могло быть иначе, если все мысли были черт знает где — на Фрунзенской набережной. Шел по длинному коридору, вяло волоча ноги, расстроенный и будто избитый. Там, слева по ходу, были несколько женских гримерных, потом начинались мужские. И тут как раз, когда он проходил мимо, одна из женских гримерных взорвалась таким хохотом, что Кока аж привстал. Потом прислушался. Зря он это сделал, потому что через несколько секунд узнал Машин голос, его нельзя было спутать ни с каким другим. И этот голос описывал подругам, как она хотела в туалет, а Кока все не уходил, и ей пришлось классической слезой, происхождение которой было весьма далеким от любовной лирики, прервать сцену. Машин здоровый, животный хохот, лишенный даже намеков на легочный кашель, не просто резанул Кокины измученные нервы. Наверное, в жизни каждого человека бывают моменты, которых лучше бы не было вовсе,— вот такой момент и довелось пережить Косте. Он стоял на онемевших вдруг ногах, как в страшном сне, когда хочешь бежать, а ноги не идут, и чувствовал, что весь покрывается краской стыда и обиды. Из него будто взяли и вынули грубым хирургическим вмешательством последние идеалы, в которых и так едва теплилась жизнь; удалили, как ненужный аппендикс, и выбросили. Коке еще повезло, что он не прошел по коридору пятью минутами раньше и не слышал о приступе остеохондроза у рояля, иначе не только идеалы, но и его вера в себя были бы подорваны окончательно. Над ним, оказывается, просто посмеялись. И пресловутая слеза была, оказывается, завершающим мазком мастера любовного импрессионизма Маши Кодомцевой на очередном полотне под названием *«Портрет дурака в интерьере на фоне лестницы. Утро. Масло»*. Как же стыдно было нашему Коке, как больно!

Не помня себя, он открыл дверь и шагнул в гримерную. Смех замолк сразу, и все в ужасе уставились на Коку. А он не знал, что сделает в следующую минуту: то ли подойдет и ударит ее, то ли еще что-то... Тяжелая тишина повисла в воздухе. Все только дышали и ждали, что произойдет. В этой тишине лишь тикала мина, отсчитывая последние секунды до взрыва, которого с тайным вожделением ждал весь девичник. Кроме Маши, разумеется,— та действительно была в ужасе. Но взрыва не последовало, Кока решил их разочаровать, потому что внезапно понял, что от него только и ждут чего-то в этом роде; он от этого както сразу успокоился и почувствовал, как холодное презрение выпрямило его позвоночный столб и помогло овладеть ситуацией. Тем более что, во-первых, за ним был эффект внезапного появления, а во-вторых — еще один, как он полагал, козырь, лежавший до поры в рукаве. Да, именно холодное презрение помогло выпрямиться Коке. Не к Маше, нет,— он еще не успел почувствовать к ней ничего такого, чувствовал только, что она ни за что вонзила ржавый и грязный

ножик прямо ему в сердце, повернула пару раз и ушла, даже не полюбопытствовав, как у него там агония протекает, только плюнула, уходя, в его сторону и попала. Ну, ничего, он о ней позаботится позже, сейчас он не может, слишком рана свежа, а вот подруги!.. Эти пошлые актриски, сладострастно ждущие его унижения, мстящие ему чужими руками за прошлые эпизоды своей жизни, которые им тоже хотелось бы вычеркнуть навсегда; эти мерзкие гиены, которые, роняя голодные слюни, подкрадываются к нему, раненому, ослабевшему и пошатнувшемуся; эти шакалихи, эти самки грифов!.. Но нет! Подождите, он еще не падаль! Подождите!

Своеобычность ситуации заключалась в том, что с тремя подружками из пяти, сидевших здесь, у Коки *было*... И остальные две тоже в свое время были не против, да Кока пренебрег.

Собственно говоря, в театре у Коки *было* со многими. Почти со всеми, кроме, естественно, мужчин. Для него это был своеобразный спорт, а когда его спрашивали друзья — на фига ему это надо, зачем он пристегнул к поясу еще один скальп, вон той, уж совсем страшненькой, которая в детском спектакле играет кикимору, или еще другой — стареющей травести, которая уже давно устала разговаривать сиплым голосом курящего пионера, так вот, на этот вопрос Кока неизменно отвечал следующее: «А вот, представьте себе, будет общее собрание коллектива, на котором станут меня обсуждать или сильно за что-нибудь ругать, например, за аморальное поведение. И вот тут-то я встану и скажу: «Да я вас всех, извините, трахал. Не только в переносном смысле, но и в прямом. И тебя, и тебя, и тебя тоже, и тебя тем более. Я вас всех имел и ваше мнение обо мне — тоже».

Друзья качали головами и признавали: «Да-а-а! Это аргумент». И теперь Кокин час настал! Он внимательно и брезгливо оглядел по часовой стрелке каждую из сидящих в грим-уборной молодых женщин и во всех смотревших на него глазах заметил долю смущения; на Машу он и вовсе не глянул.

— Хотите, я скажу, почему каждой из вас так весело? — Все молчали.— Я еще раз спрашиваю: хотите ли вы, чтобы я подробно рассказал, почему каждой из вас *отдельно* так сильно смешно?.. Не хотите? Почему? — преувеличенно наивно спросил Кока.— Ну почему вы не хотите?.. Ведь нам тогда станет еще интереснее и смешнее...— Он юродствовал, постепенно становясь хозяином положения.— Ну ладно... Я рад, что, пока меня не было, я все-таки присутствовал здесь, был с вами незримо... И еще рад, что вам для веселья так мало надо и что эту малость смогла вам доставить вон та нежная девушка в углу.— Кока показал, не оглядываясь, большим пальцем через плечо на Машу, потом все-таки обернулся, внимательно посмотрел на нее и вбил ей прямо в зрачки всю горечь и сарказм, оседавшие в нем сейчас.— Нежная девушка в платьице белом... с томиком стихов на коленях и засушенной ромашкой между заплаканными страницами... Хрупкий стебелек... последний оплот романтизма в этой комнате и во всем этом театре. Асоль, бля!.. На этих алых парусах только в туалет и плыть...— Кока уже был привычно насмешлив, он еще раз обвел глазами всю комнату и сказал последние слова: — Жалко мне... и себя, и вас...— И вышел. Занавес... Без аплодисментов... И — странное дело — всем барышням стало отчего-то стыдно, будто их застали за чем-то непотребным, будто они все только и способны что курить, материться и спускать любовь в канализацию. А каждая женщина — и тем более артистка — не забывает в глубине души, что она и Наташа Ростова, и Мария Волконская, и графиня Монсоро, и Маргарита, как бы ни била их жизнь и как бы они ни жаловались на мужчин, что это они во всем виноваты, что это они их такими грубыми сделали, и что мужиков теперь и вовсе нет, и все приходится на своем горбу... Поэтому, когда им посреди быта вдруг некстати напоминают об этом давно забытом идиотском романтизме и вообще о чем-то возвышенном, им становится и на пару секунд стыдно, и чуть больше жаль себя. И поэтому, когда Кока вышел, им всем первое время было даже неловко друг на друга посмотреть, но это быстро преодолелось, ни одна, кроме Маши, не подала вида, что это ее задело, и общение возобновилось.

А Кока шел опять по коридору к выходу из театра и думал не о том, что сейчас было в женской гримерной, не о том, что он сейчас сказал и хорошо ли это звучало,— он думал о Маше. Жажда мести кипела в его возмущенном разуме. Марусе вдоволь предстояло теперь наесться гнилых плодов своего цинизма и вероломства.

План мести был размыт и неясен, было одно большое желание заставить ее страдать, и не было даже уверенности в том, что из всего, что он придумает, найдется хоть что-нибудь, что заставит ее страдать так, как надо. Но желание было, ух, какое сильное желание было у Коки, а когда человек так сильно хочет, ему надо помочь, и такой помощник у Коки нашелся.

Был у него друг, товарищ по мужским забавам, Володя Тихомиров, долгое время работавший в кино каскадером. В основном он был исполнителем и постановщиком конных трюков, но умел и многое другое, что постоянно подтверждал при Коке, и вот уже третий год вызывал в нем чувство восхищения и даже преклонения, чего Кока изо всех сил старался не показать. Например, он мог залпом выпить из горлышка бутылку водки, не закусывая... Это еще не фокус, это могут многие, говорят, некоторые выливают бутылку водки в миску, крошат туда хлеб и способны не спеша выхлебать всю эту чудовищную тюрю столовой ложкой. А фокус был в том, с каким шиком Тихомиров все это исполнял — он не отрываясь пил эту бутылку водки минуты три; на его лице не было ни отвращения, ни гримасы какого-то усилия, ни, наоборот, жадного удовольствия алкаша — ничего не было на этом лице, кроме едва видимого скучного одолжения: ну, если вы уж так хотите,— полюбуйтесь; он делал последний глоток, отнимал бутылку ото рта вверх и, чтобы все убедились в чистоте исполнения, вытряхивал в рот еще несколько капель; затем подкидывал правой рукой бутылку высоко вверх, она парила над столом две-три секунды и начинала падать, и в тот момент, когда, казалось, она рухнет, с быстротой нападающей кобры выбрасывалась вперед левая рука, ловила бутылку в нескольких миллиметрах от поверхности стола и аккуратно ставила ее.

Еще Володя умел делать уж и вовсе невероятное: как-то поздним вечером 31 декабря он на спор «снял» пять девушек на улице и увез их праздновать Новый год в свою компанию. Вся изюминка этого спора заключалась в том, что «снятие» должно было начаться в 23 часа 30 минут, и все девушки на улице, которых Володе предстояло уговорить, торопились в гости или домой, чтобы успеть встретить Новый год в кругу близких и друзей; другие девушки, которые никуда не спешили, во всяком случае, явно, в расчет не входили, надо было брать именно спешащих, у которых из сумок и пакетов торчали цветы или шампанское, которые нервно взглядывали на часы и очевидно злились, что опаздывают. И вот в считанные минуты Тихомирову надо было: 1) уговорить девушку не ехать к близким, пренебречь и этим даже кого-то подвести и обидеть и 2) ехать в совершенно незнакомую компанию на машинах с абсолютно незнакомыми молодыми людьми. А?! Каково?!

И он выиграл. Последнюю девушку он взял за семь минут до курантов, все кинулись в машины и рванули, но до дома, конечно, доехать не успели, встали где-то на полпути, включили радио на всю катушку и фары машин, вышли, все перезнакомились, открыли шампанское, достали стаканы; из открытых машин на весь проспект начали бить куранты, шел крупный снег и красиво падал в шампанское, белое — в золотое, а одна девушка, которая сопротивлялась и не хотела ехать дольше всех, уже кружилась, смеясь, по шоссе и ловила стаканом крупные снежинки, и все вслух хором считали: 9... 10... 11, выпили, дико хохотали и стали говорить наперебой, что такого Нового года у них еще не было, что так — не встречали никогда. А режиссер праздника Тихомиров стоял с видом «ну я же говорил... и потом будет еще лучше». Потом сели в машины и поехали дальше, и девушки уже совсем не боялись и даже не стеснялись, уже все вокруг были свои; наверное, Володя все-таки угадывал или вычислял на улице девушек, в которых слабо билась или дремала до поры авантюрная жилка. И неосознанно их тянет свернуть с наезженной колеи неведомо куда и посмотреть — что

там, а тут, откуда ни возьмись, очень кстати — Тихомиров, и, глядь, уже едут, хохоча, в двух машинах с незнакомыми, но очень симпатичными и веселыми ребятами. А те их везут еще и на Ленинские горы, где автомобильный каскадер Сашка Шабанов покажет им головокружительный спуск на машине, этакий автомобильный слалом между деревьями, и они будут при этом не снаружи, а внутри машины. А потом едут в гости, опять в сопровождении шампанского, и там Тихомиров сделает так, чтобы две девушки (абсолютно не возражая, а наоборот, весело) навели порядок в квартире, еще две накрыли на стол, а последняя вымыла на кухне вчерашнюю посуду, то есть вели себя уже как совсем свои, как хозяйки...

В тот же день, день крушения идеалов, Кока пришел к Тихомирову с бутылкой водки, они посидели, и Кока все ему рассказал. Поведал Тихомирову, что он увяз, влип и что эта ужасная (в смысле цинизма) особа, которая к тому же старше его на пять лет, сделала его, Коку, больным и слабым, что он постоянно думает о ней, все валится из рук, и он ничего не может с собой поделать.

— Что делать, Володя, что?! — колотился Кока о стенки уютной тихомировской кухни.

— А ничего,— спокойно отвечал Володя, пощипывая бородку, что означало у него напряженную работу мысли.— Плюнуть и забыть. Давай девушкам позвоним, сейчас приедут.

— Да какие девушки! — стонал Кока.— Ты лучше скажи, что мне делать, что?! — Он метался по кухне, заламывая руки, как это было принято в древнегреческих трагедиях, подходил к столу, наливал себе и опять мерил кухню шагами, так что в глазах у Володи рябило.

— Да сядь ты, Бога ради! — заорал Тихомиров.

— Не могу-у-у,— тоскливо выл Кока, выпивал и опять ходил и скулил, мешая Тихомирову сосредоточиться, а ведь он сейчас размышлял и принимал решение. Наконец ему Кокино художественное нытье надоело, да к тому же работа мысли была уже закончена, ибо он перестал пощипывать бородку и, видимо, какое-то решение уже принял.

Кока это почувствовал и встал, глядя на Володю собачьими глазами, полными надежды на то, что сейчас наденут ошейник и поведут гулять.

— Ну ладно,— скучным голосом сказал хозяин,— только поклянись, что будешь меня слушать, что бы там ни было.

— Клянусь, Володь, клянусь, о чем речь!

— Нет, погоди. Тебе будет трудно выполнять то, что я буду говорить. Тебе будет хотеться совсем другого, ты будешь визжать, что ты не можешь это сделать, что ты не садист, что ты ее любишь, и ты будешь отказываться. Будешь?

— Нет, нет, Володя, что ты, не буду! Буду делать все, как ты скажешь.— Кока в данный момент был готов на все, чтобы получить рецепт, точнее, лекарство.

— Давай так договоримся,— сказал Тихомиров,— в первый же раз, как только ты меня не послушаешь, я отхожу в сторону и дальше сам трепыхайся, как хочешь. Согласен?

Надо ли говорить, что Кока был согласен на все, и тогда Тихомиров начал: «Завтра в девять часов утра...»

Назавтра в 9.00 Тихомиров заехал за Кокой на улицу Грановского, в 9.20 они покупали цветы на Центральном рынке, в 9.40 были в переулке напротив Вахтанговского театра, а оттуда пешком дошли до театрального училища имени Щукина, из стен которого вышел несколько лет тому назад наш герой на свободную охоту за признанием и славой. Цветы пока остались в машине и, конечно, предназначались не Маше. Идея была проста: в 10.00 начинаются, как правило, занятия, урок танца, уж во всяком случае. Сейчас будут подходить студенты, а главное — студентки, и тогда они по быстрому выберут самую эффектную и красивую девочку и Тихомиров с ней перед занятиями поговорит. Поговорит, как кинорежиссер. Отчасти это было правдой: Тихомиров как раз начал пробовать себя в режиссуре и даже уже поставил кое-что во ВГИКе, это была диплом-

ная работа его друга — кинооператора, в которую тот и пригласил Володю в качестве режиссера. Кока сыграл там, кстати, одну из главных ролей. Но это было год назад, а сейчас Тихомиров не без удовольствия развернул свои режиссерские опыты в Кокиной жизни.

Вскоре Кока заметил знакомое лицо какого-то старшекурсника, который должен был его знать точно: когда Костя заканчивал, этот парень был на первом курсе. Кока отозвал его в сторонку, сказал, что это нужно для одного фильма, поэтому, мол, и спрашивает: какая сейчас на первом курсе самая красивая девчонка? И получил моментальный ответ, что самая красивая — Тоня Краснова, и, поскольку ответ был быстрым, уверенным, без раздумий и прикидок, Кока понял, что так оно и есть. Он попросил ее описать и сообразил, что эта девушка еще не проходила, затем поблагодарил парня, вернулся к Тихомирову и рассказал, что узнал. Так что, когда без пяти десять появилась и пошла мимо них высокая тонкая девушка с темными волосами, рассыпанными по плечам, с очень красивым и вместе с тем серьезным лицом, девушка, явно не «склонная к быстрому компромиссу», как говаривал Тихомиров, они тут же догадались, что это и есть Тоня Краснова, персонаж № 3, которой была в нашей истории уготована самая неблагодарная роль: она должна была стать всего лишь орудием мести в руках хищного юноши с кроткими глазами и уязвленным самолюбием, и не столько в руках хищника, сколько в руках его дрессировщика Тихомирова.

А Тоня, конечно же, была достойна лучшей участи, и это уже Кокин грех, за который он все равно рано или поздно заплатит. Ну и Тихомирова, конечно: где ему было думать о какой-то судьбе какой-то девчонки, которых тысячи и которые, по мнению Тихомирова, только и рождены, чтобы он их использовал для плотских, режиссерских и других не всегда красивых своих целей? И для Тони жизнь вместо благородного капитана Грея, ожидаемого на берегу, вышвыривает на берег истерзанного любовным штормом пирата, раны которого ей придется хочешь не хочешь бинтовать и врачевать. Бедная красавица Тоня с серьезным лицом! Ты *слишком* серьезно относилась к жизни, к любви и к Косте Корнееву, которому и суждено было стать твоим первым в жизни несчастьем. Уже через неделю Тоня и дня не могла прожить, чтобы не видеть Коку, и, таким образом, была готова ко второму этапу интриги, закручиваемой Владимиром Тихомировым.

Утро. Не скажу, чтобы очень раннее,— около одиннадцати. Конец октября, поэтому прохладно, хотя сегодня на удивление ясно, солнечно и хорошо. Во дворе театра стоят двое — Кока и Тоня. У Тони глаза сияют, влюбленность сделала ее еще красивее; они молчат, смотрят друг на друга и держатся за руки. На Тоне легкая распахнутая шубка, короткая замшевая юбочка, туфли на высоком каблуке, черные колготки — все это вместе сразу выводит на первый план длину ее ног и стройность силуэта. Волна темно-каштановых волос стекает по поднятому воротнику шубки и падает на спину; она прекрасна и влюблена, всю прошлую ночь они провели вместе на квартире у Тихомирова, и сейчас она провожает Костю на репетицию и пропускает из-за этого свои лекции (но ведь он попросил, и как она может отказать ему сегодня). Итак, они стоят, ее глаза сияют, Кокины — пока нет, еще не время, они засияют, когда будет нужно; ее безупречная фигура издалека видна, прекрасно, а поближе будет видно, что за лицо у Тони, ах! какое лицо! — они держатся за руки, отлично, все готово и все в ожидании: через минуту-другую здесь должна появиться Маша, у которой тоже сегодня репетиция.

Вот из-за угла в переулок въезжает «мерседес» Митричека, он везет Машу на работу, та-а-ак! Осветители, приборы! Звук! Готово? Мото-о-ор! Камера пошла! Та-ак! Кокины глаза засияли, уже пора, пора, Кока, включайся! Маша выходит из «мерса», воздушный поцелуй Малышу и пальчиками этак в воздухе, улыбающийся Малыш крупно, тоже пальчиками Маше — закрывает дверь, смотрит на часы, отъезжает — отлично! Маша провожает глазами машину, у нее хорошее настроение, она улыбается, поворачивается, входит в ворота, идет по двору к служебному входу, поднимает глаза и видит разом всю эту скульптурную группу, которая прямо-таки кричит о молодости, любви и счастье. Крупно

фрагменты скульптурной группы: Кока, глаза сияют, отлично! Тоня, ну, тут все и так хорошо! Руки, оператор, возьмите руки их сплетенные, не забудьте. Блестяще! Теперь резко, крупно — лицо Маши. То, что надо: смятение, разочарование, досада и, наконец, желание все это скрыть... Замечательно, так сыграть нельзя, просто гениально! Дальше — Маша проходит мимо них, те ее не замечают. Маша тихо говорит: «Здравствуйте, Костя»,— это звучит как «простите, Костя». Кока — очень крупно! — не в силах оторваться от Тониных глаз смутно слышит, что с ним здороваются где-то сбоку, надо ответить на приветствие. Он с трудом отводит глаза от Тониного лица, замечает Машу и небрежно... небрежно, Кока! — еще небрежнее, сколько объяснять! — абсолютно проходно, как будто не Маша прошла, а грузовик проехал — во-о-от! Это уже ближе, ты же репетировал дома, чтобы это получалось автоматом — а-а-а, мол, это вы, привет, Маша,— и снова все внимание на Тоню! Молодец! Она, Маша, должна понять, что ее не то что простили, а уже забыли напрочь, что ее в упор не видят, что забыли все, что с ней связано, как дурной сон, что она стерта из памяти легко, что не рубец в душе она оставила, а всего лишь надпись мелом и матом на заборе, которая стирается мокрой тряпкой моментально, а след от тряпки уже давно высох. А жизнь продолжается, вот она, жизнь,— Тоня! Теперь Маша одна, на среднем плане, голову опустила — хорошо,— поднялась по ступенькам, вошла в театр, дверь за ней хлопнула — переход на Коку с Тоней — он целует Тоню, говорит: «Ну, до вечера»,— Тоня уходит по двору — общий план Тони — вся в лучах осеннего солнца, счастливая, глупая...— оборачивается, улыбаясь, машет Коке рукой — превосходно! — Кока улыбается ей в ответ чуть ли не сочувственно и даже виновато, машет вслед — вот тут молодец Кока, очень убедительно и искренне! — поворачивается, входит в театр, и за ним дверь тоже хлопает. Сто-о-оп! Съемка окончена, всем спасибо, первый съемочный день позади: для Коки, играющего строго по сценарию; для Маши, играющей, как говорится, набело, с листа и без подготовки; и для Тони, которая совсем ничего не играет и даже не подозревает, что снимается в этой «человеческой комедии» вместо своего по-настоящему первого фильма, в который Тихомиров обещал поначалу ее пригласить.

Ну а дальше, после того как Кока вошел в театр, он подходит к барьерчику возле дежурной вахтерши, расписывается в явочном листе и здесь же, рядом, идет раздеваться. Маша тоже только что сняла пальто и причесывается перед зеркалом, ловя в нем Коку. Кока буднично спокоен, ведет себя так, будто ее и вовсе нет, вплоть до того, что подходит к этому же зеркалу и, взглянув мельком на себя, поправляет волосы. Если бы кто знал, чего стоит Коке это спокойствие! — но... надо, надо,— Тихомиров запретил с ней общаться даже взглядом, только по необходимости, как с товарищем по работе; совсем не общаться тоже нельзя, это будет перебор, проявление неравнодушия; нет, именно ровное, гладкое и неодушевленное, как кардиограмма покойника, безразличие; это страшно, это сыграть очень непросто, тут не дай Бог пережать — вот Кока и старается, он ведь обещал слушаться Тихомирова во всем и пока слушается, хотя ему очень трудно.

А у Маши есть вопросы, она пытается поймать в зеркале Кокин взгляд, но ничего не выходит; и Маше будет почему-то жалко себя всю вторую половину дня; разыграется мигрень, Митричек из-за этого не будет накормлен обедом, а на участливый вопрос: «Что с тобой?» — будет послан далеко и несправедливо, поэтому обиженно пожмет плечами и уйдет обедать в Дом композиторов; потом что-то случится с телефоном, где-то его заклинит, проклятого, и он замолчит, и нельзя будет кому-нибудь позвонить и пожаловаться; потом собака-идиотка кинется под ноги при выходе из ванной, Маша об нее споткнется, и упадет, и расшибет себе локоть; потом отчего-то, да уж ясно отчего — все в одно,— вспомнится, как позавчера пришлось подарить флакон «Сальвадора Дали» этой проститутке Людочке, у которой оказался, видите ли, день рождения, и подарить было больше нечего; потом будет трехчасовая бессонница, и куда-то подевается, как назло, снотворное: когда нужно, его никогда нет, а когда хорошо выспишься — вот оно, паскуда, торчит в ванной на полочке; а когда все-таки удаст-

ся заснуть, вдруг сдуру оживет телефон, и бездушная скотина Митричек, задержавшийся с друзьями еще и на ужин, спросит: «Ну как, тебе уже лучше?» «Да лучше, лучше! Мне очень хо-ро-шо! Мне лучше, чем сейчас, вообще никогда не было!!» — заорет она в неожиданной для себя истерике и шваркнет трубку, и, колотя кулаками подушку, зарыдает; но все-таки через некоторое время станет всхлипывать все реже и, наконец, затихнет в беспокойном и нехорошем сне, в котором ненавистный Кока на ее глазах будет тискать ее соседку Людочку прямо в ее спальне, и рояль почему-то будет не в кабинете, а тут же; она приглядится и увидит, что он натирает ей спину мазью, а Людочка будет двигать своим вертлявым задом вульгарно и похотливо, будто он и не натирает ее вовсе, а что-то другое делает, и тут он обернется и, гадко подмигнув Маше, скажет: «Подожди, я сейчас освобожусь и тогда тебя...» — при всем этом Людонька будет опираться руками о рояль, за которым будет почему-то в этом дурацком сне сидеть Митричек и в такт их движениям аккомпанировать и скалиться своей японской улыбкой, а играть будет уж и вовсе несусветное, не подходящее к ситуации, а именно маршевый фрагмент из «Ленинградской симфонии» Шостаковича; а потом тоже подмигнет Маше этак скабрезно и скажет: «Смотри-ка, у нашей Людоньки тоже остеохондроз, как и у тебя, да? А? А?! — и ужасно захохочет ей прямо в лицо, выкрикивая: — Наш Кока ее вылечит! Вылечит!! Вылечит!!!»

И Маша скажет: «Тьфу!» — и сядет на постели, проснувшись от злости, а за окном будет тяжело вставать пасмурный октябрьский денек, ухмыляясь Маше свинцово-серым лицом и не предвещая ничего хорошего, наоборот, намекая на дальнейшие несуразности и неприятности.

Но нет, на следующий день ничего плохого не случилось, не случилось и через день, и через два, и Маша уж было совсем начала успокаиваться, только тупо ныло что-то внутри, и природу этой боли она пока не понимала.

Через три дня Маша уже словно жалела, что ничего не происходит, была даже разочарована, чего-то будто ей не хватало. С изумлением она почувствовала, что скучает по Косте, хочет его видеть каждый день и — уж совсем ни в какие ворота — хочет его целовать.

Надеясь на встречу, она каждый день в новом наряде и с тщательно сделанным макияжем приходила в театр, как на свидание, но его все не было, говорили, что он болен. Детская обида росла в Маше: да что ж это такое! Каждый день она утром тратит не меньше часа на то, чтобы *выглядеть,* поэтому и вставать даже приходится раньше, а его все нет! И потихоньку до нее стало доходить (точно так же, как несколько ранее дошло до Коки), что не удается ей с холодным носом и без потерь выпутаться из этой истории, что легкого водевиля ей тут не светит, а светит скорее всего изнурительная драма, которая выжмет из нее все соки и измочалит ее всю — да что уж там! — уже мочалит и уже выжимает.

Лишь через неделю Маша получила от Коки, так сказать, «*привет издалека*» и при этом не знала: то ли огорчаться ей, то ли радоваться. Огорчаться от того, что ей представилась возможность увидеть Тоню вблизи, лицом к лицу; разглядеть ее подробно и понять, что это очень серьезная соперница, за которой были и молодость, и красота, и — что не часто бывает при такой внешности — еще и живой ум, и искренность.

Прежде Маша всегда ощущала себя бесспорной фавориткой, которой требовалось побеждать только себя и время. Теперь же не было у Маши дилеммы: бороться или сойти с дистанции. Разумеется, бороться! Как можно упустить шанс впервые в жизни проверить свои силы в очном поединке с реальным противником!

Конечно, если бы Маша знала, что все это затеяно ради нее и что Тоня не соперница, а всего лишь средство, чтобы в конечном счете бросить ее в объятия Коки, она была бы спокойна и даже счастлива. Но ведь она об этом не знает и поэтому мучается и чувствует, как, помимо ее воли, ее засасывает гибельный водоворот любви, которому она уже не в силах противиться. И разбудить в Маше эту любовь могло, оказывается, только яростное и длительное противодействие, которого она до сих пор никогда не встречала.

И, стало быть, естественно, что она испытала не только огорчение при виде Тони, но и радость, причем даже не радость, а так — небольшое, с оттенком злорадства удовлетворение от того, что и Тоня не знает, где он и что с ним. Не только она не видит его в театре, но и Тоня, оказывается, не у дел.

А было так...

Опять утром и опять по пути на репетицию возле театра ее вдруг остановила девушка, которую Маша мгновенно узнала, хотя видела всего один раз да и то мельком. А Тоня, напротив, видела перед собой совершенно незнакомую женщину, на которую в прошлый раз, когда стояли с Кокой в этом дворе, просто не обратила внимания,— все внимание, естественно, было отдано Коке.

— Простите,— сказала Тоня,— вы в этом театре работаете?

— Да,— ожидая какой-то пакости, промолвила Маша.

— Артисткой? — продолжала девушка, заметно нервничая.

— Да, а что, собственно...

— Нет, нет, ничего особенного, просто у меня к вам маленькая просьба. Я знаю, что у вас сейчас репетиция и... вы увидите, наверное, там Костю Корнеева...— Тут Маша хотела было возразить, что, может быть, и не увидит, но почему-то решила пока повременить, послушать.— Так вот передайте ему, пожалуйста, это.— Тоня неловко и поспешно сунула Маше в руку запечатанный конверт.— Вы можете передать? — Маша кивнула.— Ну, тогда спасибо большое, я побегу.

Тоня действительно торопилась и нервничала, словно стремилась побыстрее избавиться от неприятного дела; ей было неудобно, что она сюда пришла, она стеснялась, поэтому и вправду хотела одного: передать свое «письмецо в конверте» первому попавшемуся человеку и быстро убежать. «Но почему первым попавшимся человеком оказалась именно Маша? С какой стати?» — спросите вы и будете правы. А ни с какой!.. Просто на той же улице, напротив театра,— но для конспирации несколько поодаль — стояла машина Тихомирова, который дирижировал, конечно, и этим эпизодом.

Все дело в том, что именно по его указанию Кока пропал на неделю из поля зрения всех и скрывался в комнате с чучелами. Бюллетень у него был: все врачихи в районной поликлинике ему, само собой, симпатизировали, а в репертуарной части театра знали, что у него гипертонический криз, но это не смертельно и скоро он поправится. Любаньке было строго наказано никого не впускать, а на телефонные звонки отвечать, что, мол, нет дома и не знает где. Она носила ему вечером водку, а утром — пиво или сухое и с удовольствием разделяла его затворничество, взяв ради этого отгулы на своей работе. Они выпивали, играли в «подкидного» и смотрели телевизор; все оставшееся от этих полезных и успокаивающих нервы занятий время Кока мечтал о Маше.

А Тоня, когда Кока не заехал за ней в училище, как обещал, а потом не объявился и на другой день, и на третий, просто обезумела и стала его искать где могла. Она нашла в справочнике телефон его театра и позвонила. Ей ответили, что он болен и когда выйдет на работу, неизвестно. Стало чуть легче, ведь эти несколько дней Тоня думала, что он не хочет больше ее видеть, что она ему чем-то не понравилась. Нет, в постели все вроде было нормально, несмотря на полное отсутствие у нее опыта, но где ей было знать, что после самой большой близости с такими, как Кока, много любви и нежности проявлять нельзя, это их только раздражает; где Тоне — провинциалочке из далекого поселка под Нижним Тагилом, носящего диковатое, но гордое название «Большая Ляля»,— было знать эти столичные любовные премудрости, эти штучки, которыми так хорошо владела Маша; откуда она могла знать, например, что после того, как у него все кончилось, к нему нельзя приставать с ласками, что в нем ничего не будет, кроме брезгливого терпения, как она могла предположить даже возможность такого абсурда: она отдала — и ей хорошо, а он взял — и ему плохо; она же не знала, что такой абсурд бывает сплошь и рядом. Как могла она, например, знать, что утром его будет раздражать все: и то, что она шлепает по квартире босая, в его рубашке на голое тело, и что напевает какую-то популярную глупость, и что

спрашивает: «Костик, ты будешь яичницу из двух яиц?» — будто это имеет какое-нибудь значение. Если бы знала Тоня Краснова об этом, то ей стало бы совсем плохо: слишком сильный характер, слишком глубоки чувства, слишком серьезна она была для богемной жизни. И когда в театре сказали, что Костя болеет, самое худшее для Тони отступило: значит, дело не в том, что он от нее прячется, не в том, что она ему противна, наоборот, может быть, он даже тяжело болен, может, за ним даже поухаживать некому, некому воды подать, а она, глупая, носится тут со своими душевными переживаниями. Тоня продолжала искать. В театре не сказали, где он живет, и оставались только Тихомиров и его квартира, где они провели тогда свою первую и единственную ночь, но, убей Бог, Тоня не помнила, где она, знала только, что где-то в районе Кузьминок, но где именно?.. А как могло быть иначе: туда Тихомиров вез их на машине, и они с Кокой все время целовались на заднем сиденье, а запоминать дорогу, целуясь, наверное, могут только разведчики. Да и обратно на такси утром, когда она вокруг ничего и никого, кроме Коки, не видела. Поэтому Тихомиров был разыскан через Мосфильм. Когда он увидел возле студии ждущую его Тоню, то даже не удивился и не сомневался ни на секунду, что она ждет именно его. Он знал, что она появится рано или поздно, потому что так было по его сценарию, а иначе и быть не могло: все катилось по намеченной колее, и с чего бы вдруг с этой колеи сворачивать в лес! Володя удивился только тому, как она набралась храбрости сюда приехать, в самое гнездо сексуального терроризма по отношению к молодым артисткам, тут деятели кинокультуры могли растерзать ее на части, если бы всмотрелись хорошенько; он надеялся, что она все-таки адрес вспомнит и домой к нему приедет, поскольку телефон-то вряд ли знает. И, подивившись слегка Тониной отваге, Тихомиров отнес ее к отчаянному простодушию влюбленной девочки, которая еще толком себе цену не знает; и уже не в первый раз подумал о Коке, что он дурак и дикарь, который предпочитает бижутерию настоящему сокровищу. Тихомиров и сам бы с удовольствием занялся Тоней, но товарищеский долг не позволял, да и Тоня в кромешной слепоте своего первого чувства не видит, что из себя Кока представляет. Может быть, потом, когда она отстрадает своего Коку, Тихомиров ее утешит... Осторожно надо только. Как близкий товарищ...

Он посадил Тоню в свой кабриолет и повез в ресторан Дома кино, где накормил обедом, который должен был бы потрясти уроженку Большой Ляли, но не потряс, она даже не замечала, что она ест и пьет; она с напряженным вниманием ждала новостей о своем возлюбленном, который в это самое время жрал водку, чокаясь с чучелами, и подумывал о том, что он сегодня, пожалуй, Ватрушку трахнет от нечего делать.

Только все съев и закурив, Тихомиров заговорил о Коке. Он поведал уже измучившейся Тоне, что ничего страшного не случилось, что Кока (только это строго между ними) скрывается от армии, что за ним этой осенью особенно рьяно охотится военкомат, а конкретно — жуткие люди, которые его персонально ненавидят: военком, полковник Замышляк, и главный врач медкомиссии, доктор Шухер. Тихомиров ничего не придумал: действительно, в этом военкомате Кока был для всех, как больной зуб; его не могли забрать в армию, когда он учился, да и сейчас, вот уже четыре года, а значит, восемь призывов, Советская армия не могла пополнить свои ряды рядовым Константином Корнеевым, годным к нестроевой и необученным. Ну никак не желал этот артист пополнять собой ряды и Родину защищать! А годы шли, и уж скоро Коке будет двадцать семь, он проскочит призывной возраст, и армия потеряет все шансы иметь в своих рядах такого выдающегося бойца. В их театре был сильный директор, со связями и влиянием, и он обеспечивал своему ведущему артисту отсрочку за отсрочкой, но каждый весенний и осенний призывы военкомат Коке и Кока военкомату традиционно трепали нервы. А сейчас, когда сроки поджимали, когда осталось только два призыва, чтобы его взять, военкомат совсем озверел, и уже директорские знакомства переставали действовать. Вот почему у Коки была в поликлинике пухлая медицинская карта с историей болезни, которая по объему тянула на прилич-

ную повесть. Кока косил под гипертоника вот уже несколько лет и регулярно брал больничный с диагнозом: гипертонический криз. И еще — гипертензионный синдром, якобы после сотрясения мозга, инсценированного все тем же Тихомировым год назад в ближайшей к одной больнице подворотне. В этой больнице работал профессор, близкий знакомый Тихомирова. Профессор очень любил кататься на лошадях, а Тихомиров в Алабинском кавалерийском полку, прикомандированном тогда к Мосфильму, мог его этим обеспечить. Профессор по плану должен был встретить Коку в приемном покое, после того как на Коку «по чистой случайности» поблизости, в подворотне, нападут хулиганы (один повыше, другой пониже, как рассказывал Кока потом милиционеру, не особенно напрягая фантазию) и разобьют о его голову почему-то полную бутылку портвейна. И хотя не было тогда в стране таких хулиганов, которые могли бы пожертвовать портвейном ради сомнительной радости вырубить Коку, а потом убежать, ничего не взяв,— это уже детали, мелочи... Однако, поскольку «на место происшествия» были вызваны и «скорая», и милиция, и милиция, естественно, приехала раньше и доставила Коку в ближайшую больницу, где уже ждал знакомый профессор, Коке пришлось-таки на вопросы милиционеров отвечать. Их интересовала уголовная сторона вопроса, но то, что Кока путался в показаниях, можно было отнести к тяжелым последствиям сотрясения. Хорошо еще, что мифических хулиганов не нашли, а то бы кто-то мог и невинно пострадать. У доставленного в больницу Коки дежурный врач стал искать вещественное доказательство покушения — гематому на голове, и все большее сомнение читалось на его суровом лице. Но тут в приемный покой вбежал знакомый профессор, ненатурально крича: «Костя! Что с тобой?! Что с тобой сделали?!» Костя стал вяло повторять свою легенду, бровями и глазами делая знаки профессору, чтоб тот не переигрывал. Но тот, войдя в артистический раж, метался по кабинету, воздевал руки к небу, потом прижимал их к лицу — ну просто Вера Холодная из немого кино! — и все кричал: «Изверги, изверги! Что они делают! Ты же артист, тебе же надо беречь лицо!» Кока из-под полузакрытых век с профессиональным отвращением наблюдал эту сцену, но все тем не менее кончилось хорошо. Дежурный врач робко попытался указать профессору на отсутствие гематомы, но был грубо прерван: «Да замолчите вы! Какая, к черту, гематома, он же в шапке! Тут такое несчастье, одного из лучших артистов в Москве чуть не убили, а вы про гематому! Немедленно в палату, в отделение ко мне — немедленно!»

Вот так Кока получил гипертензионный синдром, а в придачу к нему гипертонию и историю болезни. И все это должно было как-то подействовать на военкомат. Может, и подействовало бы на кого-нибудь, но только не на доктора Шухера и не на полковника Замышляка. (Кстати, эти фамилии — единственно подлинные во всей истории.) Этих двух деятелей спаивало (в прямом и переносном смысле) одно общее неистовое стремление взять в армию всех: полуслепых, полуглухих, полусумасшедших, плоскостопных, язвенников, тех, у кого были на иждивении дети или родители,— всех оптом. Таких симулянтов, как Кока, было немного, но Шухер и Замышляк на всякий случай подозревали каждого или даже не подозревали, а заранее считали каждого симулянтом, стремящимся уклониться от службы, поэтому у них в армию попадали по-настоящему больные люди, с которыми потом, во время службы, происходили разные неприятности, а бывало, и несчастья. Но зато план их военкомат всегда выполнял! Кто с них спросит потом за то, что какой-нибудь парень с *настоящим* гипертензионным синдромом перестреляет всех своих товарищей? А никто! Зато план есть! И можно доложить! Но всех, кто мешал этому плану, они ненавидели, и в первую очередь тех, кто получал отсрочки, а особенно — деятелей культуры, и еще особеннее — артистов, и уж совсем особенно — неуловимого призывника Корнеева. Когда полковник Замышляк слышал эту фамилию, за него начинали тревожиться, не хватит ли его сию же минуту апоплексический удар: его огромная и без того красная ряха краснела еще больше, глаза изнутри выдавливались злобой и грозили вот-вот лопнуть, а из плотно сжатых командирских губ выбрызгивалась слюна вместе с ненавистной фамилией. Вот у кого был гипертоничес-

кий криз в эти мгновения! «Корнеев? — шипел полковник. — Это который Корнеев? Тот, который из ТЮЗа?..» «Он, он»,— с грустью за все несознательное поколение подтверждал доктор Шухер. У него была другая реакция. Когда он слышал фамилию Корнеев, он грустнел. Он вообще часто грустнел, провожая призывников-москвичей на Дальний Восток, признавая годными тех, кто был совершенно не годен, и он об этом знал, но... отправлял служить. Грустным был Шухер. Вся скорбь его маленького, истерзанного, гонимого народа сконцентрировалась в нем. Он знал, что все — суета сует, а служить — надо! Грустно, но надо. Весь облик Шухера был сама скорбь, стена плача. Его плешивая голова с рябыми пятнышками вечно клонилась вниз, вероятно, из-за длинного и одновременно толстого носа, исключительного носа, похожего на хоботок муравьеда. На конце хоботка росли несколько седых волосинок, которые Шухер, видимо, берег; все эти годы Костя их наблюдал: их было три, всегда три. Этим носом Шухер все время шмыгал и вытирал его, кажется, одним и тем же огромным клетчатым платком. И глаза у Шухера все время слезились, не иначе от грусти. Им обоим этот артист-призывник был так же приятен, как застрявший в горле плавник ерша; их бы воля, они бы послали его служить прямо завтра в стройбат, куда-нибудь на север Якутии, лет на двадцать пять, чтоб он там в вечной мерзлоте чего-нибудь копал и копал, пока не околеет, сволочь. Но... пока не получалось. Не получилось и этой осенью, директор добился еще одной, на этот раз последней, отсрочки, и Кока об этом вчера узнал по телефону. Поэтому завтра собирался вылезать из своего логова и Тихомирову об этом сообщил.

Пока Тихомиров рассказывал Тоне про военкомат, она смеялась и не верила Тихомирову, что такое бывает, что такая опереточно-зловещая пара может существовать, ну, порознь — это еще ладно, это бы не так удивляло: ну Шухер себе и Шухер, и Замышляк тоже, разные ведь фамилии бывают, но вместе...

— Да бывает еще и похлеще,— говорил Володя,— бывают, знаешь, *такие* сочетания! Вот сейчас точно не поверишь. Двух музыкантов-скрипачей тоже взяли служить, без них тоже армия никак, но поскольку скрипачи (один окончил консерваторию, другой — Гнесинское), то куда их? Естественно, в какой-нибудь военный ансамбль или оркестр. И они оба попадают в какой-то оркестр ПВО, или куда-то в этом роде, и там становятся друзьями, и ходят все время вместе. И все бы ничего, но у одного фамилия Тригер, а у другого — Сипилис. Порознь — тоже сойдет, а так, представляешь себе: ходят вместе всю дорогу Тригер и Сипилис — два друга, два солдата, два защитника Родины.

Тоня быстро обучалась в театральном институте и, в чем смысл каламбура, уже понимала, поэтому хохотала над этой историей до слез. Она уже выпила немного вина, и Тихомиров был такой милый, забавный, если даже и врет, то как остроумно. И тревоги куда-то отступили, растаяли, и в ресторане было так тепло и уютно, и вообще все оказалось гораздо проще, чем она себе воображала.

— Коку жалко! — вздохнула Тоня.— Сколько ж он натерпелся от Шухера и Замышляка! — Она опять засмеялась.— Все-таки у нас, у девушек, перед вами хоть одно преимущество: нас в армию не берут, если только сами не захотим.

— Слушай,— говорил Тоне Тихомиров,— завтра он из подполья выходит, я знаю точно, они за ним гоняться перестали, и завтра он пойдет утром закрывать больничный, а потом — в театр. Репетиция у них в одиннадцать, а он часов в двенадцать подойдет. Где он сейчас, я не знаю,— врал Володя,— он никому свое убежище не открывает, но вчера он мне звонил, поэтому я в курсе. Тебе в этом театре светиться не обязательно, согласна? Ты же не жена ему. Пока, во всяком случае...— неаккуратно шутил Тихомиров, а Тоня засмущалась так трогательно и по-детски, что он чувствовал себя чуточку подлецом: обнадежил девушку почем зря, ведь у таких, как она, где любовь, там и брак.

— Коку тоже раздражать не стоит, вернее, компрометировать: к нему ведь девушки в театр не ходят, понимаешь,— продолжал он врать, глядя на Тоню прозрачными и чистыми глазами.— Поэтому заходить внутрь тебе не надо. Мы с тобой вот что сделаем: завтра утром, перед их репетицией, подъедем к театру, я тебя подвезу. Ты перед этим напишешь ему, что будешь ждать его там-то и во столько-то, и передашь эту записочку кому-нибудь, кто пойдет на репетицию, годится?

Конечно, годилось; повеселевшей Тоне все теперь годилось, даже это предложение, сшитое наспех белыми нитками и лишенное всякой логики. Ведь, спроси у него Тоня, почему бы ему самому не передать записку и даже не в чьи-то руки, а самому Коке, или даже зайти в театр и оставить вахтерше (он-то уж никак Коку скомпрометировать не может), или подъехать к концу репетиции и передать ему на словах, что Тоня его будет ждать в условленное время в такомто месте, то есть, если он так любезен и так хочет помочь, почему именно она сама должна эту записку кому-то передать, в общем, задай Тоня ему хотя бы один из этих вопросов, Тихомиров был бы в большом затруднении. Сама-то идея, чтобы Тонино письмо попало в Машины руки и чтобы Маша хорошенько в Тоню всмотрелась, была неплоха, но деталями Тихомиров в этот раз пренебрег. Однако Тоня, счастливая от того, что Кока наконец нашелся и что она теперь не одна, что ей помогают, липы не разглядела. И в конце концов, может, Тихомирову приятно с ней общаться, может, она ему нравится, поэтому он и хочет, чтобы вместе.

Вот так и получилось, что утром они сидели у театра в Володином «понтиаке», потом появилась Маша, которая в этот раз шла пешком (Митричек в то утро был занят), и Тихомиров сказал: «Вон, смотри, девушка идет. Я, кажется, ее знаю, видел раньше. Она, по-моему, тут как раз артисткой и работает. Давай быстро ей передай».

— А может, все-таки вы... сами...— робко попросила Тоня.

— Ну вот еще! Я встретил, я привез, кто тут кого любит, я не понимаю! Кто ему свидание назначает, я, что ли? Ну хоть чего-нибудь вы сами можете сделать? Как дети малые, ей-богу! Давай, давай! — И Тихомиров выпихнул из машины застенчивую девушку.

Вот так «случайно» и встретила Маша красавицу Тоню и рассмотрела ее как следует, получив реальный повод для ревности, и даже поговорила. А когда Тоня собиралась уже убежать, она остановила ее и спросила, почему это она уверена, что Маша его сегодня увидит и сможет передать конверт: ведь его уже неделю в театре нет, на репетиции он не ходит, и говорят, что болеет. Тоня ответила:

— Ну у меня есть сведения, что сегодня он придет.

— Откуда? — неосторожно поинтересовалась Маша и тут же мысленно выругала себя за этот вопрос, потому что Тоня чуть пристальнее, чем надо, посмотрела на нее, словно став в этот миг взрослее на несколько лет. И только секунд через пять, вдруг перестав торопиться, Тоня ответила:

— Да так, видение мне было... предчувствие, у меня, знаете, бывает такое.— И улыбнулась Маше *женской* улыбкой.

Это она пошутила так, ведь не рассказывать же в самом деле этой незнакомой, элегантной и странно заинтересованной женщине о военкомате; это известно только избранным, тем, кто ближе Коке, кто, может, за него даже замуж выйдет. Они помолчали, глядя друг на друга и улыбаясь.

— Так я пойду...— полувопросительно сказала Тоня с неприличным, как показалось Маше, оттенком превосходства, продолжая улыбаться.

«Вот сука,— подумала Маша,— мало ей, что она спит с ним, она еще и надо мной издевается. Она что, знает про меня и его?..»

Ей было так неприятно, что она, видимо, забыла, зачем Тоня здесь, что, если передает записку, значит, наоборот, не встречается с ним и тем более не спит. Однако она быстро очнулась и, тоже мягко улыбнувшись Тоне (как, если бы могла, улыбнулась бы гюрза перед укусом), сказала мягким, грудным голосом:

— Да, конечно, идите. Я обязательно передам, если увижу, если ваше предчувствие вас не обмануло. До свидания.

И Тоня быстро пошла к машине Тихомирова, который издалека с большим удовольствием наблюдал за этой сценой. А Маша, наша несгибаемая Маруся, с прямой спиной и гордо вздернутой головкой, бросилась в театр, в свою гримуборную, борясь изо всех сил с низким желанием немедленно вскрыть конверт и прочитать, что там.

Кстати, это тоже входило в тихомировскую схему: если бы Кока сегодня заметил, что конверт вскрывался, или вообще получил записку без конверта, значит, Маша уже готова ко второму этапу операции под кодовым названием «Три К»: «Кокина кровавая кара» — и пора подтягивать стратегические резервы; люди, машины — все должно быть готово. Но... облом: конверт оказался целеньким. Кока, как и ожидалось, пришел в театр к двенадцати часам и вскоре получил этот конверт из рук потупившей глаза Маруси. Дрогнула ее рука, передающая конверт, и она его чуть не уронила; Кока принял его, как и полагалось, с вежливым равнодушием, сказал «спасибо» и отошел, даже не глянув на нее, чем еще больше подогрел Машину досаду; отошел и не заметил, мерзавец, ни взгляда, ни руки дрогнувшей, хотя и то, и другое было наспех, но подготовлено. А Кока, в свою очередь, не заметил этих деталей не потому, что из последних сил изображал равнодушие и был все время в образе, навязанном ему Тихомировым, а потому, что сам испытал в тот момент сильнейшую досаду, увидев, что конверт не вскрывался. И только много позже Кока узнал, что Маша, перед тем как передать Тонино письмо, попросила у костюмеров чайник, заперлась в своей гримерной, вскипятила его, подержала над носиком, над паром, конверт, а потомтаки вскрыла его жадно, едва не порвав. И узнает это Кока через несколько месяцев от самой Маши, которая, смеясь над своей тогдашней ревностью, ему все это расскажет.

А в данный момент наша Маруся, сгорая от нетерпения и одновременно презирая себя за это, вскрывает конверт, вынимает записку и читает, что сегодня Коку ждет эта барышня там-то и во столько-то, что она его любит и целует, гадина, и — эт-то еще что за намеки? — «целует *всюду,* куда он только захочет», и, конечно, этой же ночью будет ласкать его и целовать всюду, как и обещала, а она, Маша, в это же время будет лежать рядом с постылым Митричеком и, уставив широко раскрытые, пустые глаза в потолок, думать о том, что Кока — *ее* Кока! — сейчас эту юную красотку держит в объятиях. И, представив себе все это, Маша с протяжным стоном, больше похожим на рычание, плюнула на ненавистный конверт, вновь заклеила его и понесла проклятому мучителю. Своими собственными руками! Чтобы он сегодня с этой подлой разлучницей лег в постель! А она, Маша, им еще и постелит — записку передаст!..

Тихомиров мог быть доволен: Маша дозревала...

Назавтра Маша узнала о себе, что она мазохистка, потому что жадно искала на лице Коки следы усталости после прошедшей ночи. Не нашла: не было у него синяков под глазами, щеки не впали, и носом он не клевал. Выспался, стало быть... «Иначе бы он выглядел после *нашей* ночи,— думала она,— может, он эту девицу и не любит совсем». Она уже пыталась войти с ним в какой-то контакт, но на ее полуобращения к нему (вроде бы ко всем, сидящим вокруг, в актерском фойе или буфете во время перерыва, однако больше всего к нему) Кока отвечал рассеянным невниманием. Актерское фойе — это такое помещение внутри театра, за кулисами, чаще всего близко к сцене, куда зрители и вообще посторонние не имеют доступа. Там артисты отдыхают в перерывах между репетициями или в ожидании своего выхода на сцену. Те, кто любит узкий круг или относительное одиночество, поднимаются в свои грим-уборные; те, кто любит перемыть кости своим коллегам, оказаться в центре внимания, рассказать анекдот и вообще посплетничать, собираются в актерском фойе. Именно там распознаются, вычисляются и затем обсуждаются тайные театральные романы, которые, как правило, перестают быть тайной буквально через несколько дней после их возникновения. Это только центральные персонажи каждого театрального романа наивно полагают, что их отношения — секрет для окружающих. На самом-то деле все их милые двусмысленности, случайные взгляды, даже партнерские отношения на сцене, когда тексты их ролей говорятся вроде так, как обычно, но... все-таки не совсем так; или же, наоборот,— показная холодность и равнодушие друг к другу,— все это становится настолько очевидным не только профессионалам, но и просто внимательным людям, что их тщательно оберегаемый секрет вскоре становится просто смешным: «Куда идем мы с Пятач-

ком — для всех большой секрет». Или как в пьесе Шварца: «А секреты у нас, ваше величество,— обхохочешься». Только одну пару знаю я, которая держала в тайне свои отношения девять (!) лет, а потом они все-таки поженились и живут счастливо. Стальная воля была у этих артистов; как они держались, что даже совсем близкие друзья не знали, непонятно. Знаменитое свидание Штирлица с женой в кафе для этих людей было бы провалом: в театре есть те еще специалисты, они бы и в такой невинной сцене углядели бы любовный криминал. Поэтому и наши герои вступали сейчас в весьма опасную зону: и Кока — со своим деланным равнодушием, и Маша, прячущая свои страсти за показным легкомыслием.

В актерском фойе обсуждали тогда предстоящую постановку «Горя от ума» и возможное распределение ролей; все предполагаемые действующие лица тут сидели. Амплуа «герой-любовник» в театре уже давно и безоговорочно было отдано Коке, поэтому все сходились на том, что Чацкого будет играть он. Кока в это время отстраненно молчал и смотрел в окно, будто бы и не о нем шла речь.

— А почему вы думаете, что Чацкого должен играть герой-любовник? — подала вдруг Маша голос из своего угла, где тихо сидела до поры и занята была только тем, чтобы сдерживаться и на Коку не смотреть.— Да к тому же еще и Костя, с какой стати?

Наступила тишина. Что Корнеев будет Чацким, было настолько всем ясно, что Машин вопрос прозвучал странно и даже парадоксально.

— А кто же еще? — спросила Машина подруга Вика, которую Костя Корнеев бросил еще три года назад после жалкой недели случайной связи. Несправедливо бросил, как считали Вика и ее подруги, потому что она была хорошенькой, голубоглазой, со светлыми пепельными волосами и покладистым характером. Но она в глубине души все равно страдала по Коке без всякой, впрочем, надежды на взаимность. Она всегда была за Коку и поэтому еще раз спросила:

— А кто же еще может это играть?

— Да кто угодно,— ответила Маша,— только не он.

— Почему? — спросила уже не Вика, а кто-то другой.

— Почему? — словно рассуждая сама с собой, повторила Маша.— Да потому, что наш Костя Корнеев слишком красив для этой роли...

— То есть?

— Ну, слишком неотразим. А Чацкий — отразим. Его ведь оставила Софья ради Молчалина. Так какой же он герой-любовник? Это Молчалин скорее должен быть неотразимым. Может, я чего-то не то говорю, но мне кажется, Костя именно поэтому больше подходит для Молчалина. Молчалин должен быть такой, что ему отказать невозможно.

— А вы думаете, что я как раз такой? — не выдержал Кока со своего места и прямо посмотрел на Машу, забыв, что ему это запрещено.

Маша так же прямо взглянула на него, клинки скрестились, и Маша почувствовала почти ликование от того, что сумела вызвать его на открытый бой.

— Ну конечно,— сказала она, улыбаясь.— Вас ведь, Костя, никто и никогда не бросал, верно?

— А вы откуда знаете? — усмехнулся он.

— Так, слышала... Всегда ведь вы бросали, а не вас... Поэтому переживания Чацкого от вас далеки, ведь так?

— Это сплетни,— сказал Кока, глядя на Машу так, что усомниться в значении этого взгляда было невозможно. Поединок пошел жесткий.— Про вас ведь тоже говорят...

— Да? Интересно, что же? — наивно и светло спросила Маруся.

— Да то же самое!

— И вы этому верите?

— А почему я должен верить или не верить? Говорят — и все. Но больше верю, чем нет.

— Напра-а-асно,— протяжно сказала Маша, чуть прищурив глаза.— Вот совсем недавно обо мне просто забыл человек, к которому я была больше чем неравнодушна.

— Вас? Забыл? — сказал Кока и сардонически засмеялся.

Разговор уже шел только между этими двумя, они забыли о всякой осторожности, а все с интересом прислушивались к этому диалогу, понимая, что речь тут идет не только об искусстве.

— Меня, меня,— повторила Маша.— Он нашел себе другую. Даже влюбился, наверное...

— А это откуда вы знаете? — спросил Кока.— Тоже говорят?

— Ну, я кое-что сама видела...

— Да что вы видели? — вконец завелся Кока и только тут спохватился. Он понял, что она его завела на ту территорию, на которую ему и шагу нельзя было ступить, что там она чувствует себя как рыба в воде и что он нарушил все тихомировские директивы. Надо было, пока не поздно, возвращаться в равнодушие, стабильность которого была залогом успеха.

Кока расслабленно откинулся на спинку кресла.

— Извините, Маша,— сказал он,— мне скучно об этом разговаривать. Кто, чего, о ком сказал — это так неинтересно. А что касается пьесы, то кого дадут, того и сыграю. Молчалина — значит, Молчалина. Это ведь не от нас с вами зависит и не от вашего мнения обо мне, а от режиссера: как он решит, так и будет.

И тут их с перерыва позвали обратно на репетицию, и Маша пошла в зал с абсолютно испорченным настроением: только, ей казалось, она его зацепила и он стал уже почти оправдываться, что полюбил другую, уже почти признался, что *не* полюбил, плевать, что на виду у всех, результат важнее,— как вдруг на тебе! Опять замкнулся, опять холоден, и она, Маша, наверное, ему все-таки безразлична, его только сплетни заинтересовали да распределение ролей; и не понял он никаких ее намеков или, что еще хуже, не желал понимать.

На самом же деле Кока все понимал и очень вовремя отступил в этой скользкой беседе, не ввязался в дальнейшую драку, ибо основным его оружием в этот период было леденящее израненную Машину душу безразличие. И теперь он уже с тайной радостью видел, что не только «лед тронулся», а уже, круша и ломая все на своем пути, мчится вниз по бурной реке их романа, и им с Тихомировым надо только слегка корректировать русло, чтобы этот «*лед*» по этой «*реке*» мчался, куда им надо.

Почти каждый день Кока докладывал Тихомирову по телефону обо всех изменениях, происходивших в Маше, о признаках страсти, ревности или боли, которые он в ней замечал с каждым днем все больше и больше и которым радовался. Он все спрашивал Тихомирова: не пора ли ему обнаружить себя или хотя бы намекнуть, что он не так безразличен, не так равнодушен к ней, как ей сейчас представляется?

— Подожди-и,— недовольно гудел Володя,— ты что, хочешь все испортить? Ты с ума сошел! Если ее чуть отпустить сейчас, она же тебя сожрет!

— Все, все, молчу, Володя,— соглашался Кока, счастливый от того, что все получается, что все идет как надо и что он эту партию выигрывает, пусть с подсказками, но все же выигрывает.

Несколько дней передышки Маша все же получила, ничем особенно не омрачалось ее бытие, и боль, которую вызывал в ней Кока, становилась тупой и, во всяком случае, терпимой. Она даже стала привыкать к этому новому для себя состоянию; уже ничего не предпринимала, потому что попросту не знала, что надо делать в таких случаях, когда ее не любят и даже игнорируют. Но и такая тупая боль, оказалось, может стать привычкой, с которой худо-бедно, но можно жить, даже расслабиться, лишь бы не били больше по больному месту. Однако расслабиться как раз ей и не позволили, и этот относительный покой оказался просто короткой передышкой перед новой пыткой, крайне неприятным шлепком по тому же самому больному месту.

Не придумывая пока ничего нового, идя, так сказать, по уже проторенной лыжне, Кока и Тихомиров повторили тот же эпизод с Тоней во дворе театра, но только выжали из этой ситуации максимум возможного, довели ее до высшей кондиции. Да и незачем было на данном этапе выдумывать новые приемы, когда тот, раз испытанный, подействовал так безотказно.

Буквально на том же самом месте, где Маша их увидела в тот раз, они стояли и целовались. Маша после спектакля спокойно шла домой и ничего такого не ожидала: Кока не был занят в этом спектакле, и его тут просто не должно было быть. И она совершенно не была готова к встрече с ним, тем более такой. Что они тут забыли? Другого места не могли найти? А забыли они, оказывается, Машину подругу Вику, за которой после спектакля и заехала вся их гоп-компания. Естественно, компания была тщательно подобрана, чтобы произвести на несчастную Марусю правильное впечатление. На трех иномарках (меньше — никак!) они все подъехали к воротам театра за десять минут до окончания спектакля. Машины были набиты до отказа веселыми молодыми людьми, а также самыми красивыми манекенщицами на любой вкус и цвет. Их Володе со своим товарищем по такого рода развлечениям Валеркой Барминым — знаменитым спортсменом и кутилой, нарушающим спортивный режим часто и с удовольствием,— удалось пригласить прямо сегодня специально из Театра моды. Ну а дальше все как полагается: девичий смех, они на коленях у ребят, в руках у каждой по бутылке шампанского, пьется прямо из бутылки — так веселее; дверцы открыты, музыка на всю катушку — фестиваль, короче; а Кока с Тоней — на том же самом месте во дворе, неподалеку от двери с надписью «Служебный вход». У Коки в руках бутылка шампанского, они с Тоней слегка навеселе, их любовь вроде как счастливо продолжается. Вот такая картинка, мизансцена такая...

Спектакль закончился, из театра пошла публика, и, значит, через пять — семь минут Валера пойдет на служебный вход за Викой. Вика всегда выходила с Машей после этого спектакля, и Митричек ее подвозил либо домой, либо к метро. Но сегодня и спасительного Митричека не было с его «мерседесом», и так получилось, что Маша *совсем* ничего не могла противопоставить всей этой бригаде душевных рэкетиров. Бармин встретил Вику внутри, у служебной раздевалки, сзади шла Маша. Вика их познакомила:

— Это наша ведущая актриса Маша Кодомцева, а это...

— Я знаю,— сказала Маша.— Кто же вас не знает!

— Очень приятно,— сказал Валера, ничуть не солгав, ему действительно было приятно.— А что, вы и вправду ведущая?

— Не очень,— устало и грустновато ответила Маша.— Но кое-что играю...

— Пригласите посмотреть.— Бармин уже откровенно кадрил Машу прямо при Вике, но он был такой.

— Приглашу как-нибудь... Я через Вику передам, ладно? Ну, до свидания.— Маша уже оделась и пошла первой к выходу, но это было не по плану. Бармин только в общих чертах знал суть сегодняшнего действа, однако свою конкретную функцию помнил хорошо: он и Вика должны были выйти первыми, и это было бы знаком для Коки, чтобы он начинал целоваться и нежно любить Тоню. Поэтому Валера остановил Машу, едва не схватив ее за руку:

— Подождите! Может, вы с нами поедете? У нас компания, у нас весело, а?

— Нет, спасибо,— мягко улыбнулась Маша,— как-нибудь в другой раз.

— Валера, ты идешь? — Вика говорила уже с лестницы, ведущей к выходу из театра.

— Сейчас, сейчас, ты выходи, а я попробую ее уговорить.

— Никогда не уговоришь,— сказала Вика, вернувшись,— она всегда делает только то, что хочет, и с тем, кто ей нравится.

— Иди, иди! — грубовато подтолкнул Вику Валера.— А вдруг понравлюсь, вдруг она меня полюбит?..

— Тебя? Да никогда! Это исключено, ты не из ее романа.

— Почему это? — обиделся чемпион, на какой-то момент потеряв нить своей задачи.

— А потому... Она больше артистов любит. Правда, Маш?..

Маша укоризненно посмотрела на нее, но ничего не сказала.

— Ну иди же! — еще раз, уже резче, сказал Валера.— Скажи там, что я сейчас.

Фыркнув насмешливо, Вика пошла к выходу. Задача была выполнена.

— Так, может, все-таки поедем? — продолжал Валера уговаривать.— Правда, будет весело, я обещаю.

— Нет, мне не до веселья сегодня что-то. И потом я устала.— Маше этот спортсмен был вовсе не интересен, и она совершенно не хотела произвести на него впечатление, но все равно производила, она это видела. Никакой, даже маленькой радости не возникло у нее по этому поводу, она и вправду устала, да к тому же из всех мужчин на свете ее интересовал сейчас только один.

— А телефончик,— развязно сказал Бармин,— можно ваш записать?

— Зачем? — с грубоватой прямотой спросила Маша.

— Ну-у-у, зачем, зачем?.. Затем! — логично ответил Валера.

— За-чем? — еще раз спросила Маша с интонацией «отстань».

Валера понял. Но проигрывать он не привык и поэтому спросил:

— Ну а на спектакль-то хоть пригласите?

— На спектакль приглашу... Через Вику. До свидания.

И Маша вышла. Бармин за ней. С выходом Вики Кока получил условный знак, поэтому самозабвенно целовал Тоню уже минуты три, столько, сколько Машу задерживал в проходной Валера. Как только Маша вышла, она сразу увидела Коку, а тот, оторвавшись от Тони, стал пить шампанское из горлышка, потом опять прильнул к Тоне, отставив руку с бутылкой далеко в сторону. И тут вся развеселая компания, науськанная Тихомировым, вывалилась из машин во всем своем великолепии и пошла с хохотом, шампанским в руках и прибаутками в их сторону, чтобы поторопить Коку с Тоней и Валерку с Викой. Маша должна была увидеть всю картину в объеме и пройти сквозь строй веселящейся молодежи. Она и пошла посреди этого шабаша, посреди карнавала, прибитая и оскорбленная, как Кабирия в финале феллиниевского фильма. Только в отличие от Кабирии ей не дали возможности светло и прощально улыбнуться. Ее стали наперебой звать с собой, она отказывалась, ей предлагали выпить шампанского, она только растерянно качала головой. Когда звали с собой, Кока тоже подключился к уговорам, заведомо зная, что она откажется и что ей будет больно, когда он в обнимку с Тоней будет весело говорить ей: «Ну, поехали, что вы! Повеселимся!» — мол, между нами теперь ничего нет и не предвидится, так что будем товарищами. Да еще Бармин не преминул взять мелкий, пакостный, но все же реванш, когда сказал вдруг: «А чего вы ее зовете? У нас ведь и так на коленях все сидят. Ни одного места в машинах».

— Не беспокойтесь, я не поеду,— еще раз сказала Маша и посмотрела в этот момент на Валеру почти с сочувствием.

Бармин грубость свою попытался сгладить:

— А хотите сейчас такси возьмем? Кто-то с вами поедет.

— Спасибо, спасибо, я домой! — в последний раз сказала Маша и посмотрела на Коку. «За что же ты меня так?..» — прочел Кока в этом взгляде, и у него *закружилось* сердце. Однако он нашел в себе силы еще раз улыбнуться, крепче прижать к себе Тоню и сказать легко и беззаботно: «Ну пока».

И Маша пошла в этот проклятый вечер одна! Пешком! В метро! Она шла, чувствуя себя совсем чужой на чьем-то празднике, чувствуя, что жизнь идет мимо, что никогда она не была так одинока, что она придет сейчас в пустую квартиру и станет плакать.

Но все это были лишь цветочки по сравнению с тем, что ждало Машу завтра, в воскресенье...

Почти каждое воскресенье было мучением для Маши и ее позором. Она имела несчастье играть курицу в детском спектакле. Был в их театре такой крест почти для всех артисток труппы, почти каждая через это театральное крещение прошла: в детском спектакле надо было сыграть три, если так можно выразиться, роли — березки, курочки и мышки. Четыре артистки играли березок, из них же три играли еще мышек и две — курочек. Маша играла всех трех представительниц флоры и фауны, но особенно люто ненавидела она образ курицы. Эти курицы сопровождали Бабу Ягу и символизировали собой ее место жительства — избушку на курьих ножках. Впрочем, избушка тоже была, она выезжала на сцену отдельно, а курьи ножки в виде двух куриц шагали тоже отдельно. «Избушка на курвьих ножках»,— однажды подло пошутил над растоптанными

девичьими идеалами служения театральному искусству один закулисный острослов. Курицы были одеты в грязные тряпичные лоскутки, изображающие, очевидно, перья; отдельно на проволочном каркасе крепился хвост, он приподнимал платье с нашитыми перьями, и, таким образом, все сооружение сзади напоминало чудовищно распухшую куриную гузку. Но и это еще не все. Прибавьте сюда толстые синие колготки, заляпанные красными и белыми мазками. Эти толстые колготки у всех артисток постоянно спадали и морщились, а синий их цвет намекал, вероятно, на печально известную в те годы магазинную птицу. На лицо надевались тяжелые очки с черной оправой и прикрепленным к ней кошмарным клювом темно-бордового цвета. Видимо, художник спектакля питал особенную слабость к дерзким тонам, а его болезненная фантазия в сочетании с ненавистью к женщинам вообще и к артисткам в частности подсказала ему это изобразительное решение. Впрочем, возможно, он питал антипатию только к курицам, потому что с березками и мышками он обошелся несколько деликатнее, хотя и без художественных озарений: березки были одеты в длинные белые платьица с нашитыми черными тряпочками; а мышки — в серые юбочки, серые накидочки и серые же шапочки с ушками. Нормальные, короче, деревца и нормальные зверушки. Но вот на курицах наш кутюрье отдохнул! Все вложил сюда, все горячечные фантазии несостоявшегося живописца! Единственным реализмом, который он себе позволил в создании этого образа, был гребешок. Все вышеописанное куриное бедствие увенчивалось маленькой шапочкой, к которой был прикреплен омерзительный поролоновый гребешок; его траектория проходила прямо по центру куриной головки; начинаясь от затылка, он змеился по всему черепу и затем упирался в клюв. Головной убор напоминал, таким образом, верхнюю часть панциря динозавра и завершал трагическую картину куриной мутации. А чтобы артисткам было еще обиднее, держался на белой резинке от трусов. Она больно натягивалась под подбородком и всякий раз напоминала жрицам Мельпомены о сложности выбранного пути, о том, что «служенье муз не терпит суеты» и что прекрасное, в том числе и вся куриная конструкция, должно быть величаво. А реализм художника выразился в том, что гребешок все-таки имел натуральный красный цвет.

О роли куриц сказать нечего: слов у них, конечно, не было, лишь время от времени они обязаны были реагировать на происходящее, хлопая крыльями и извлекая из гортани звуки, от которых их самих слегка подташнивало: «Ко-ко-ко! Ко-ко-ко-ко!» Режиссер, который специализировался в этом театре на детских спектаклях, был буквалистом и доискивался жизненной правды жадно и целеустремленно, буквально во всем. Так, например, репетируя другой детский спектакль, он один раз остановил репетицию и сказал актрисе, играющей корову: «Стоп, давайте разберемся. Вы пришли сюда, в эту сцену, совершенно пустая. Вы с чем пришли? Откуда? И наконец самое главное: вы решили хотя бы для себя, вы — до дойки или после?»

Так и здесь он всеми силами старался добиться от актрис, чтобы они были похожи на куриц, если не внешне, то хотя бы внутренне — повадками, например. Поэтому курицы должны были, вертя головками и тряся гребешками, время от времени оглядывать пол в поисках зерна. Таким образом, поиски «зерна роли» (по Станиславскому) обретали здесь абсолютно прямой смысл.

Это воскресенье началось для Маши с остаточных явлений — неприятного осадка после вчерашнего вечера. Маша проснулась поздно, потому что и заснула поздно, приготовила завтрак, приняла душ, поболталась по квартире, послушала музыку, не особенно тщательно оделась и накрасилась, потому что ни с кем встречи, особенно с ним, не ждала, и поехала в театр. И в театре все было обычно и даже скучно. Маша прошла к себе наверх, переоделась в березку, спустилась в буфет попить кофе, но тут начался спектакль и пора было идти на сцену. Она и пошла, откружила в хороводе первое свое появление в качестве березки и отправилась переодеваться в курицу, заметив мельком, что вся середина первого ряда, примерно десять мест, пустая, никто не пришел. Обычно с третьим звонком пустующие хорошие места тут же занимались теми детьми и роди-

телями, у которых места были похуже, но тут почему-то оказались незанятыми. Маша это заметила, но, естественно, никакого значения не придала; поднялась в грим-уборную, сняла березкино платье, затем быстро, с привычной гадливостью, напялила на себя курицын костюм и побежала играть свой следующий эпизод; дождалась музыкального вступления и пошла на ярко освещенную сцену, выкатывая вперед избушку Бабы Яги. Избушка остановилась, и Маша прошла еще дальше, ближе к публике, хлопая крыльями, перебирая синими куриными ногами и весело кудахча.

И тут... в зале раздались аплодисменты. Они шли с первого ряда, с тех самых мест, которые пять минут назад пустовали. Маша взглянула на эти места через очки поверх клюва и... едва не подавилась своим последним кудахтаньем. На этих местах, в позах пляжных отдыхающих, вытянув ноги, сидела и аплодировала вся Кокина кодла с ним самим в центре. Они были со своими манекенщицами, а Кока — с этой самой, с которой целовался и письмо от которой Маша ему передавала. У всех у них были чрезвычайно серьезные лица, мужчинам это удавалось лучше, а вот их бабы — те, видно, еле сдерживались. Маша осторожно опустила на пол правую лапку, потопталась немного, как-то формально побила крыльями и повернулась к залу спиной. В это время уже вовсю шла сцена Бабы Яги с Василисой, но она была фактически сорвана компанией, которая опять захлопала и даже закричала: «Браво!», как только Маша повернулась тем, что должно было изображать куриную гузку. Маша была уже цвета своего гребешка и не знала, что ей делать: прикидываться, что не обращаешь внимания, нельзя, это будет беспомощное вранье; обидеться и уйти со сцены или перестать играть, постоять в стороне — тоже нельзя, потому что от нее только того и ждут, чтобы она показала, насколько они выбили ее из равновесия.

И Маша все-таки приняла неординарное решение: продолжать откровенно и даже вызывающе играть свою курицу, играть еще добросовестнее, чем обычно. «Да, я сейчас курица и не стыжусь этого! Дети верят, а на вас мне плевать!» Это было правильное решение гордой женщины, но это были и худшие минуты всей ее жизни, ибо гордая женщина Маша все равно знала, что она *сейчас* курица, а гордая курица — это так же странно, как, скажем, почтовый орел. Она мужественно кудахтала, хлопала крыльями, переступала голубыми ногами, и на каждое ее «ко-ко-ко» эти гнусные птицеводы из первого ряда хлопали и кричали «браво!» и «бис!», мешая всем остальным артистам играть. Наконец проклятая сцена закончилась. Избушка, дребезжа, поехала обратно за кулисы в сопровождении Маши, которая, повернувшись гузкой, тоже стала уходить, и опять раздались на ее уход самые громкие аплодисменты. Живодеры, с Кокой во главе, продолжая сохранять каменно-серьезное выражение лиц, устроили настоящую овацию, с полминуты после ее ухода они продолжали скандировать: «Маша! Ма-ша!» А красная, разъяренная Маша уже мчалась к себе наверх, расталкивая всех и не разбирая дороги.

Во втором действии Маша была мышкой, и все повторилось сначала: на ее появление и на ее уход опять были аплодисменты и крики «браво!». И в третьем, когда она снова была курицей,— та же картина: только выйдут куры — аплодисменты, только Маша скажет свое «ко-ко-ко» — «браво!», «бис!», только повернется гузкой — овации, на уход — то же самое. Казалось, гаже этой пытки ничего быть не может, однако самая большая пакость была, оказывается, впереди. Именно в третьем действии, когда Маша в очередной раз проквохтала «ко-ко-ко-ко», кто-то из них, наверное, грузин, сидевший рядом с Кокой, потому что говорил с характерным акцентом, произнес тихо, но внятно, так что на сцене все слышали:

— Кока, она тэбя зовет.

— Замолчи, сиди тихо,— отозвался Кока, предчувствуя, что сейчас Машу добьют, и с последним великодушием пытаясь спасти ее, но было поздно.

— Слюшай,— продолжал грузин,— ты что, сам нэ слишишь, да? Она вэсь спэктакль зовет: «Ко-ка-Ко-ка-Ко-ка! — а ты нэ идешь! Ты очень холодный Кока... кола,— завершил грузин свой каскад каламбуров, а артисты на сцене

ржали, как радостные кони. Они не злились, что им мешают играть, давно заметив в первом ряду невозмутимого товарища по работе Костю Корнеева. Почти все уже к тому времени знали или догадывались, что между ним и Машей что-то происходит, а раз так, значит, со стороны Коки это был ход, который коллеги не могли не оценить. Розыгрыш в театре всегда приветствуется, даже если он злой и обидный, поэтому они были на его стороне. Сегодня жертва — Маша, но на ее месте завтра может оказаться любой из них. Жестокие дети! А у Маши кипели слезы на глазах; они не имели уже ничего общего с той классической Машиной слезой, которая так паралитически действовала на мужчин; они кипели и мгновенно высыхали от ненависти. Между тем эта жуткая казнь длилась уже два часа. Наконец все закончилось, занавес закрылся, звери, птицы и деревья пошли переодеваться в людей. Маша влетела в свою грим-уборную, ногой захлопнула дверь так, что посыпалась штукатурка, и стала сдергивать с понятным остервенением куриные перья, будто ощипывая себя, курицу проклятую, для адского бульона, который клокотал у нее внутри. Затем Маша пнула ногой только что стянутые синие колготки, они высоко взлетели и повисли на лампе; выдрала «с мясом» свою куриную гузку, и она полетела в один угол; вцепилась в гребешок, и он, с оторванной резинкой, полетел в другой. И только Маша стала надевать свою одежду и постепенно успокаиваться, как вдруг ее внимание привлек какой-то сверток, лежащий на гримировальном столике и перевязанный розовой ленточкой. Маша схватила его. Под розовой ленточкой была вставлена открытка, невинная открытка с изображением цветка и словом «Поздравляю!». На обороте от руки было написано: «М. Кодомцевой от благодарных поклонников 1-й Московской птицефабрики». Любопытство пересилило злость и спешку, Маша развязала ленточку, разорвала оберточную бумагу, там оказалась довольно изящная деревянная шкатулочка, она открыла ее. В шкатулке лежали: яйцо, сваренное вкрутую, куриный суп в пакете, брикетик куриных бульонных кубиков, а также маленькая детская книжка «Курочка Ряба» с картинками. Все это было аккуратно переложено белыми перьями, нетрудно догадаться — чьими... Маша никогда не ругалась матом, но слова знала... И все, что вспомнила, выцедила сейчас сквозь зубы, глядя на подарочек, а потом выбежала вон из гримерной. Она сильно хотела перехватить шутников, и Коку в первую очередь, у центрального входа, чтобы сказать им несколько прочувствованных, теплых слов. Она даже не стала надевать верхнюю одежду и понеслась на улицу в чем была. Как смертельно раненная, но оттого еще более опасная рысь, Маша выпрыгнула за угол и стала дико озираться, ища в толпе выходящих зрителей единственное и любимое лицо, в которое следовало сейчас вцепиться когтями. Но... Коки и след простыл. Ни его не было, ни остальных девяти «юных зрителей», ни их машин.

Однако это было, наоборот, хорошо для Маши. Она вернулась в театр и, когда минут через десять пришла в себя, вдруг поняла, что такая открытая эмоция против него и его друзей была бы непростительной ошибкой. Ее наконец осенило, что все эти красивые девушки, письмо, показные поцелуи и тем более последнее издевательство, которому ее сегодня подвергли, не случайность и не импровизация; она поняла, что против нее ведут жестокую, планомерную войну, что там ни о каком равнодушии и речи не идет, что все это не более чем месть за тот самый ее неосторожный, случайный, но тем не менее циничный выпад против Коки, когда она все рассказала подругам и показала тем самым ему, что он для нее ничего не значит. Она поняла и сразу успокоилась; она снова была в своей тарелке, вернее, в своем окопе, в привычной для себя обстановке любовной битвы. Вот такой язык она понимала, вот это было по-нашему! Не то что безразличие и товарищеская вежливость, которые Кока демонстрировал все предыдущие дни. Вот это действительно бы ее доконало; окончательно ее распластать они могли только одним — постоянным, тягучим давлением равнодушия, с которого Кока так успешно начал, когда Маша *действительно* не знала, что ей делать дальше, как к нему подступиться. И поскольку это равнодушие оказалось дешевым блефом, теперь все уже было гораздо легче, остальное, как

говорится, было делом техники. Не важно, что десять против одной, она им еще покажет! Рассудок Маруси вновь обрел холодную остроту, фантазия заработала. Действительно, Тихомиров и Кока сделали внешне блестящий ход, устроив Маше жестокую экзекуцию на детском спектакле, но только внешне, потому что тут был очевидный перебор, двадцать два, что называется. Видно, терпения у них, голубчиков, не хватило, кинулись первыми в лобовую атаку, потому и проиграют они, непременно проиграют...

Уже утром следующего дня на доске приказов вполне оперативно повис выговор К. Корнееву за то, что он учудил накануне, за «попытку нарушить художественную целостность спектакля». Так, видимо, продиктовал режиссер без лишней скромности в отношении своего детища.

Но Кока, конечно, даже не огорчился, он был героем дня. Ну а Маша, придя в театр пораньше, за полчаса до репетиции, первым делом отправилась к завтруппой и сказала: «Делайте со мной, что хотите, я больше это играть не буду». Завтруппой, как и все, была уже в курсе *всего*. Она, стараясь не засмеяться, строго глядела в бумаги и говорила что-то о производственной необходимости и дисциплине. Маша стояла на своем.

— Я уже не в том возрасте, чтобы играть эту мерзость. Березку — пожалуйста, это я еще потерплю, но курицу — никогда! Пусть молодые артистки к этому искусству приобщаются, вон их сколько в этом году взяли.

— Ой, я вас умоляю! — сказала завтруппой Ада Иосифовна с типичным одесским акцентом, придающим слову «умоляю» другое значение, типа — «бросьте этих глупостей».— А вы что? Не молодая артистка?

— Хватит! Я боль-ше не бу-ду э-то иг-рать, хоть уволь-няй-те! — по слогам, раздельно и жестко произнесла Маша. Ада Иосифовна поняла, что Маша в этом вопросе кремень и уговаривать ее или даже угрожать бесполезно.

— Ну хотя бы напишите заявление, по каким причинам,— сказала она.— У вас есть веская причина?

— Есть, — ответила Маша и посмотрела ей прямо в глаза, увидев при этом, что та знает ее вескую причину.

Завтруппой глаза отвести не успела и поняла, что Маша теперь знает, что она знает... Несколько секунд они молчали, глядя друг на друга: Маша — с отчаянной решимостью добиться своего, а Ада Иосифовна — с нарастающим состраданием. Она в этот момент думала, что, как женщина женщину, она Машу очень даже понимает. Лет двадцать тому назад она пришла работать в этот театр исключительно из-за одного артиста, кинозвезды, в которого была влюблена без памяти. Стала работать помощником режиссера. Через некоторое время тот узнал про ее любовь, увидел, что она розовеет и у нее прерывается дыхание, когда он рядом останавливается... И поглумился над этим. Она никогда этого не забудет. Он завел ее как-то раз в оркестровую яму и приказал раздеться. Некрасивая, длинноносая Ада безропотно выполнила приказание, она бы еще и не то выполнила ради него; сказал бы прыгнуть из окна — она бы и прыгнула без колебаний. Поэтому она сбросила с себя платье, не сомневаясь ни в чем, легко...

— Еще? — спросила она тогда.

— Ну да,— ответил он,— все снимай.

И Ада сняла все, аккуратно повесив белье на рядом стоящий пюпитр, и стояла, дрожа от волнения и холода, ждала, что он с ней сделает.

— Ну... и что дальше? — почти позвала она.

А артист оглядел ее всю, с ног до головы, как врач-патологоанатом, и сказал:

— Э-э-э-э, да у тебя пупырышки. Тебе, наверно, холодно голой, да? Одевайся.— И ушел. А она так и осталась в этой яме, голая, безутешно всхлипывая еще полчаса. И зачем плюнул в душу — непонятно...

С тех пор Ада Иосифовна подсознательно ненавидела в театре всех героев-любовников и относилась к ним с особой требовательностью и пристрастием. Так что выговор Корнееву она печатала с удовольствием и вывешивала с наслаждением, а Машу понимала, поэтому, устало махнув рукой, сказала: «Ладно, Маша, идите, что-нибудь придумаем». Маша сказала: «Спасибо»,— и пошла в буфет.

Ко всем встречам, взглядам и даже насмешкам Маша была готова, и ни в том, ни в другом недостатка сегодня не было. С бо-о-ольшим интересом смотрели на нее собратья по профессии, а особенно подруги: что-то она будет делать дальше, что предпримет, ведь надо же чем-то ответить этому засранцу, который ходит сейчас по театру победителем, как после удачной премьеры.

А Маша вопреки ожиданиям не делала ничего! Она именно сегодня величественно ходила по театру, сдержанно улыбаясь и с изысканной простотой отвечая на ехидные приветствия. Она была одета в очень строгое черное платье с белой кружевной отделкой, никаких украшений не было в этот раз на ней, на руке было одно только обручальное кольцо — символ верности Митричеку да на груди — лишь небольшой гранатовый крестик, словно невзначай пролившиеся на грудь капельки крови. Словом, очень удачный был внешний вид. Кающаяся блудница ходила сегодня по театру, но не униженно, а, напротив, достойно неся свой крест. «Да, я блудница,— словно говорил весь ее облик, — но пусть первый бросит в меня камень, кто сам...» — ну дальше вы помните.

Падший ангел в черном платье с белым воротничком, намекающем отдаленно о чем-то монашеском; о том, что, травмированная греховной любовью, не устоявшая перед соблазном и за это справедливо наказанная, она удалилась сейчас из этого суетного и жестокого мира и оставшиеся дни проведет в посте и молитвах... Покаяние будет теперь основным смыслом ее жизни...

Ага!.. Щас!.. Как бы не так! А прыгающие чертики?..— да какие там чертики! — черти, притаившиеся в глубине Машиных глаз, даже не притаившиеся, а нагло играющие в карты, комфортно расположившись в ее зрачках и нам оттуда ухмыляясь. Глаза-то были вроде скромные, грустные, а со дна их ключом било веселье, там все равно прятался грех и ждал своего часа, обещая темпераментные наслаждения тому, кто его увидит и выпустит на волю.

Все, кто видел Машу сегодня, не могли не признать: да-а! Это женщина! Так держать удар — это достойно уважения. Всем своим видом Маша словно говорила: «Вы можете меня убить, унизить, затоптать меня! — хрупкий и красивый цветок, случайно выросший посреди овощной грядки. Хотя не знаю, много ли вам от этого радости: могли бы меня хотя бы сорвать и кому-то подарить или даже засушить для гербария, а так — что за польза? И все равно я лучше и красивее всех вас, все равно я цветок, а вы всего лишь петрушка и картошка!»

Поэтому триумф Коки был недолгим; он видел Машу, видел, как она держится, и очень скоро почувствовал себя почти осквернителем храма, человеком, зло и беспощадно надругавшимся над самой любовью и красотой. И еще: что эта невообразимая женщина сделала его победу его же поражением. Вот что значит тщательно продумать внешний вид и линию поведения! Вот что значит делать и говорить совсем не то, чего от тебя ждут! А сказала она ему вот что. Они стояли в буфете в очереди за кофе, вернее, Маша стояла третьей и последней в этой очереди, и тут в буфет вошел Кока. После секундного колебания он решил, что стесняться глупо, и встал вслед за Машей. Это судьба так распорядилась, а если бы не она, то Маша сама нашла бы сегодня способ сказать ему, что хотела. С минуту они постояли, потом Маша обернулась и тихо сказала:

— Зачем же вы... так?

— Как? — сделал Кока попытку удивиться.

— Вы знаете, о чем я,— продолжала Маша все так же тихо,— так нельзя, потому что...

— Почему? — не сумев скрыть ни своего отношения к ней, ни давней своей обиды: мол, почему это вам можно, а мне нельзя, с нарочитой легкостью поинтересовался Кока.

— Потому что... потому что я... вы можете сейчас мне не поверить и будете правы... После того случая мне, очевидно, трудно верить. Я бы на вашем месте и сама не поверила, но... это правда, я...— Тут Маша опустила глаза и сказала совсем тихо, еле слышно, но Кока услышал: — Я... полюбила вас... Поэтому и прошу вас теперь: не надо так... больше...

— Как? — уже по инерции спросил наш герой, чувствуя себя последним

подлецом, ведущим грязную войну против самого воплощения любви, красоты и женственности. Он стоял перед Машей, пропадая и проваливаясь куда-то вниз, будто в скоростном лифте, со звенящей пустотой в пищеводе от начавшегося падения; он уже потянулся, чтобы взять ее за руку и начать говорить, говорить взахлеб, что все это неправда, что это они нарочно, что это все его друг Тихомиров, а он с самого начала был против, что он сам давно уже сходит с ума по ней, но Маша этого будто не видела, она стояла, опустив глаза, и продолжала отвечать на ненужный Кокин вопрос «как?».

— Вот так не надо... пожалуйста... как вчера. Потому что я сказала вам сейчас то, чего мне, наверное, не следовало бы говорить и чего я никогда, поверьте, никому не говорила. А вам повторю: я люблю вас... И вы хотя бы за это пожалейте меня, не делайте мне больше... так больно...

С этими словами Маша посмотрела на него двумя озерами непролившихся слез, потом наклонила голову, увидев на отчаянной Кокиной физиономии все то, что и хотела увидеть, вышла из очереди и быстро ушла из театра.

Ей уже не интересно было смотреть, как крышка гроба опустится и накроет с треском все режиссерские сценарии каскадера Тихомирова и заодно все Кокины надежды на реванш.

А последним гвоздем в крышку этого гроба послужил Машин обморок, который случился с ней ровно через неделю. За эту неделю Кока совершенно измучился. Он перестал советоваться с Тихомировым, так как понимал, что больше не в силах сохранять жесткую линию поведения. В день Машиного признания его сердце пело: неразделенной любви больше не было; Маша хотя и посмеялась поначалу над высоким чувством, хоть и «растоптала цветы», но в результате Кока победил, и она теперь его *действительно* любит, теперь Кока в этом не сомневался. Тихомиров же сомневался и настоятельно рекомендовал другу не кидаться сразу в Машины объятия и поунять несколько свою щенячью радость. Физическую близость с ней Тихомиров разрешил, но советовал особую пылкость не проявлять и слова типа «навеки твой до гроба» не произносить ни в коем случае. Но Кока уже не собирался следовать ничьим советам, он теперь жаждал искренности, глупого любовного лепета, нежных признаний, прогулок под луной, чтобы рука в руке, глаза в глаза, щека к щеке и т. д. Взаимного глубокого удовлетворения равных партнеров желал он теперь, почетного мира, благодаря которому каждый получил бы, что хотел: то есть друг друга. Однако ни о каком почетном мире речь уже не шла. Машу, как победившую в сорок пятом году Советскую Армию, устраивала только полная и безоговорочная капитуляция. И знамя над рейхстагом, то есть обморок, был назначен на следующий вторник.

Всю неделю Маша «болела», пришла ее очередь брать больничный лист, но одно и то же оружие может, оказывается, производить разное впечатление. Более того: одного — только ранить, а другого — убить. Кокино недомогание и отсутствие в свое время только портили настроение у Маши; Машино же отсутствие и невозможность ее разыскать где-либо Коку просто истерзали. Он-то думал, что после заветных слов он позвонит, они встретятся и будут любить друг друга до потери сознания, ан нет! Он ее не нашел, она как в воду канула! Сто раз все последующие дни Кока набирал ее номер — все мимо! И опять он просчитывал все варианты, опять метался от версии к версии, думал невесть что, паниковал, молился, ругался, пьянствовал, чтобы этим наркозом хоть как-то снять тревогу и боль, бежал от самого себя, ночевал в самых неожиданных местах, терял силы и способность к минимальному сопротивлению. Ну а Маруся тем временем готовилась к решающему штурму Берлина и водружению знамени над рейхстагом. Несколько дней до вторника Маша почти не ела и довела себя до нужной кондиции: слабость и головокружения были теперь постоянными. Во вторник вызывались все участники готовящегося спектакля, было что-то вроде генеральной репетиции, так называемый черновой прогон. И Маша закрыла больничный лист и явилась в театр. И опять она была вся в черном. Не было теперь никакой белой отделки, другое черное платье было на ней, и черный шелковый

шарф был обмотан вокруг шеи, подчеркивая смертельную бледность осунувшегося лица, на котором выделялись, печально мерцая, огромные серые глаза. На репетицию пришел траур по безвременно погибшей любви, которой не дали разгореться и которую погасили злые люди...

И едва только все собрались (а Кока опоздал, чуть все не испортив, да и как ему было не опоздать, если ехал он аж с Матвеевской от своего друга и однокурсника Боба, которого полночи заставлял с собой пить и не давал ему спать рассказами о своих переживаниях), так вот, как только все собрались и герой с помятым лицом тоже, извиняясь за опоздание, вошел в зал, как только начали прогон, Маша прямо на сцене красиво упала в голодный обморок (правда, то, что это *голодный* обморок, знала только она). «Красиво упала» — это вовсе не значит, что она прикидывалась, обморок был настоящим, и Маша все сделала для того, чтобы потерять сознание, когда будет нужно, а *некрасиво* упасть она просто не могла, природная грация этого никогда бы не позволила. Но в последнюю секунду перед отключением сознания, уже в падении, она с неуместным в ее состоянии торжеством успела заметить, с каким лицом застыл Кока, как схватился за горло обеими руками...

Вызвали «скорую». Те приехали, повозились над Машей, привели ее в чувство, покачали головами, посовещались и все-таки увезли в больницу. Вскоре стало известно, что ее увезли сначала в какую-то обычную больницу с острым нервным истощением, очень низким давлением, слабым пульсом и прочим; выяснилось, что в ней едва теплилась жизнь. «Потеря интереса к жизни, вплоть до комы»,— как написано в одном медицинском справочнике. Но уже на следующий день верный и ничего не подозревающий, как всегда, Митричек перевез ее на Шаболовку, в клинику неврозов. Там, собственно, и было ей место, ибо именно невроз от большой любви и был сейчас ее основным заболеванием. А голодный обморок что! Она сейчас покушает; Митричек привезет чего-нибудь вкусненького, и она быстро восстановится. А вот Кока теперь пусть мучается! Пусть знает, кого чуть не погубил, пусть его совесть загрызет, изверга!

Кока и вправду не находил себе места, он думал, что все случилось из-за него, и отчасти, конечно, был прав. Отчасти — потому что не только ради него Маша все это устроила, но и ради самого процесса, ради совершенства в драматургии, к которому всегда стремилась. Крещендо в драме обязано быть выразительным и сильным, и обморок тут очень подходил, и именно натуральный — не какая-нибудь там дешевая дамская истерика. И Маша лежала в больнице с веселым сознанием хорошо и добросовестно выполненной работы.

А Кока, поедаемый сутками напролет глубоким раскаянием, каждый день посылал в палату цветы, но сам зайти не решался. Наконец, когда он пришел уже в пятый раз, то вдруг прямо во дворе наткнулся на Машу, которую впервые выпустили погулять. Шел к двери, думал опять передать цветы и сразу уйти, и тут дверь открылась прямо перед его носом, и Маша — собственной персоной — оказалась в полуметре от него. Он так и встал, как в игре «Замри», большой, нелепый, растерянный, покрасневший, как мальчишка, который украл и съел варенье, а его застали с перепачканным ртом прямо на месте преступления. Так и торчал с букетом, не зная, куда его девать. Маша стояла напротив и глядела на него почти насмешливо, наслаждаясь его замешательством, потом взяла из его рук цветы и, полуутверждая-полуспрашивая, произнесла: «Это мне?..» Кока кивнул и, силясь что-то сказать, двинулся к ней. «Не надо».— Маша закрыла ему рот рукой, а он схватил эту руку и стал быстро-быстро ее целовать. Все, что хотел Кока сказать, все, что чувствовал, он выражал сейчас в исступленных взаимоотношениях с Машиной рукой и был при этом ужасно похож на дворового пса, которого неделю не кормили и теперь кинули наконец долгожданную кость. Он и трудился над этой рукой, склонившись, впиваясь в нее губами и всем своим существом, а Маша глядела на него сверху и ласково гладила его буйную голову другой рукой. Блудный сын вернулся! Родина вновь приняла его в свои материнские объятия! Абзац!

В Машиных глазах, глядящих теперь куда-то вдаль поверх Кокиной голо-

вы, была несколько странная смесь любви, нежности, иронии, а также спокойного, гордого удовлетворения мастера, любующегося плодами своего труда. Что ж, немало сил, здоровья, нервов ушло на это, зато посмотрите, каков результат!

Кока наконец оторвался от ее руки и потянулся к губам, она не возражала. Он обнял ее. Она была такой беззащитной, такой хрупкой, ненакрашенной, в трогательном байковом халатике под дубленкой, которую Кока стал быстро расстегивать трясущимися руками, совершенно позабыв, где находится. Да это и понятно, потому что он чувствовал, как гибкое Машино тело отдается его рукам, отзывается на каждое прикосновение. Поэма экстаза! Эрогенная зона везде, даже в воздухе, во всем дворе, на всей территории больницы! Судорога страсти, скрутившая их обоих!

Первое же прикосновение показало, насколько они соскучились друг по другу, как стремились к соединению, и теперь ничто не мешало... кроме того, что они стояли прямо перед входом в клинику неврозов. Последний невроз надо было немедленно вылечить, и Маша, неровно дыша, по частям выталкивала из себя слова: «Уйдем от входа... ты что, глупый... Отойдем в сторону... *Малыш...*» И аж замерла, соображая, что это она сказала. А потом было не до анализа, они отошли за угол здания, затем еще дальше, в глубину двора, и Маша стала злостно нарушать больничный режим. Ах, если бы врачи понимали, что Кока был сейчас для нее лучшим лекарством! Они оба были в некотором смысле «слегка подпорченными бананами»; их непринужденная порочность и даже бесстыдство, наивное и искреннее, как у детей, едва не привели к тому, что они чуть ли не разделись прямо тут, за больницей, и чуть не совершили того, к чему их так тянуло, здесь же, на снегу, на брошенной верхней одежде. Все шло к этому, и пальто уже были сброшены. Но... последние остатки благоразумия победили: верхняя одежда вновь была надета. Теперь-то у них все было впереди, какие наши годы! Кока ушел, пообещав прийти завтра, и в первый раз за много дней он чувствовал себя счастливым, а Маша пошла к себе в палату. По дороге она думала: «Отчего это я назвала его Малыш? Почему не Жу-жу, Си-си или, скажем, Котик? Это было бы правильнее: Костя — Котик... Ну и ладно,— с довольной усмешкой решила Маша,— пусть он теперь будет Малыш, так тому и быть».

Так и стало. Отныне и навеки прирученный Малыш бывал у Маши каждый день, а когда ее на сутки-двое отпускали из больницы, он заранее находил место, где им можно было встречаться. Маша была даже раза два в Кокином зоологическом музее, что послужило причиной ссоры между ним и Любанькой и необходимости подыскать себе новое жилье. Но все равно сравнительно короткие, поспешные, порывистые встречи не могли утолить их постоянного любовного голода, и «костер любви» (это из песни) пылал с неистовой силой. В общем, красиво развивался их роман, я бы даже сказал весело. Так прошла вся зима, а весной театр поехал на гастроли в город Одессу...

Они ходили по городу, взявшись за руки; они не расставались ни на минуту. У Маши был одноместный номер, и ночевали у нее. Ночи, разумеется, были безумными и волшебными, для сна оставалось всегда час-два, не больше, все остальное время уходило на любовь страстную, чувства нежные, слова пылкие... Долго так продолжаться не могло: слова начали повторяться, чувства — притупляться да и «заниматься любовью» сутками напролет могут разве только кролики. Коке с Машей иногда и ночей было мало, они, бывало, и днем прибегали в номер и бросались в постель с жадной торопливостью, будто завтра война и уже никогда ничего не будет. И всюду и всегда они были вместе: спали вместе, ходили на море вместе, ели вместе. Вот только... ели вместе они, пожалуй, напрасно... И вот почему...

Несмотря на полную близость и взаимопознание, Маша зачем-то продолжала сохранять перед Кокой тот самый образ неземного существа, которому все земное и низкое чуждо, которое размножается только пыльцой или почкованием, которое даже не пользуется туалетом, потому что ест и пьет только в силу печальной необходимости поддерживать жизнь в своем грациозном организме.

Туалет якобы был не нужен, потому что весь минимум продуктов, потребляемых Машей, превращался в энергию. Энергию любви! Тяжелый образ, да и не нужный вовсе в теперешней фазе их отношений, но Маша почему-то упорно из него не выходила. Она будто не сознавала, что все основные компоненты этого образа рушились по мере их знакомства и цепляться за них было уже глупо. Первым, еще давно, отпало то, что Маша не нуждается в естественных отправлениях и не ходит в туалет, потому что Кока ведь подслушал случайно тогда в коридоре театра, что она это все-таки делает и, более того, хочет этого иногда в самый неподходящий момент. Вторым ушло то, что близость осуществляется только пестиками и тычинками, так как у нашего героя уже было с ней добрых пять десятков случаев в этом усомниться. И, наконец, в славном городе Одессе предстояло пасть еще одному редуту Машиной сказки.

Это произошло где-то уже к концу гастролей. К этому времени Кока от постоянного недоедания, недосыпания и интенсивной половой жизни стал походить на уличного мартовского кота, худого, драного, с фосфоресцирующими, безумными глазами. От недоедания — потому что ему не давали есть. Кто? Да Маша, разумеется. День начинался с завтрака в буфете гостиницы. После трех-четырех ночных актов Кока *ужасно* хотел есть. И когда они приходили в буфет, готов был слопать все меню; он вожделенно мечтал хотя бы о яичнице из трех, нет!.. пяти яиц и непременно с ветчиной. «Ну, Машенька, что возьмем?» — весело спрашивал Кока, выбрасывая слова между голодными спазмами. И неизменно получал один ответ: «Возьми себе, Малыш, что хочешь, а я, пожалуй, творожку». И так изо дня в день, из утра в утро... И каждый день Кока сдерживал стон и не брал себе ничего, что хотел, а брал тоже творожок, потому что хотел соответствовать: как это так? Она, такая воздушная, вся духовная такая, будет творожок, а он, стало быть, грязное животное, будет под ее сочувствующим и, может быть, даже брезгливым взглядом мясо грызть, яичницу трескать? Нет! Он тоже будет творожок, только хлеба побольше и несколько кусочков, пока отвернулась, с собой; он тоже будет воздушный и неземной; он тоже будет не от мира сего; дух одержит верх над низменной плотью, и не уступит он Маше в духовности, пусть она знает, что жрать для него не главное. Вот Кока и становился все воздушнее и воздушнее, все духовнее и духовнее; он нервно вздрагивал и чего-то пугался, когда просто шел по улице; на него уже нельзя было посмотреть без невольной сострадательной гримасы на лице: о Господи! Что это идет? Надо же, до чего себя довел!..

Обед и ужин были для него такой же смертной мукой. Когда они приходили в тот же буфет или другую столовую, Кока уже с безнадежным отчаянием спрашивал:

— Маша, тебе опять творожок? Или, может..?

— Нет, нет! — всегда отвечала она.— Мне только творожок, Малыш, ты же знаешь.— И с мягкой укоризной смотрела на него: мол, не можешь ведь ты заподозрить, что я стану есть *мясо убитых животных*... О-о, этот творожок! Послать бы его далеко, к родимой матери — корове! А саму эту корову прибить и закопать! Нет! Не закопать, а превратить в говядину и поступить с ней, как полагается нормальному мужчине! Но нельзя, нельзя, черт возьми! Первобытным мужчиной разрешается быть только в постели с Машей, а вот в столовой никак!..

Нетрудно себе представить, как Кока через две недели ненавидел творожные изделия; можно понять, почему он потом несколько лет не мог смотреть не только на творожок, но даже на сыр и кефир.

В конце концов случилось то, что и должно было случиться. Был обед в диетической столовой, в которую Маша каждый день Коку таскала. Эту столовую Кока «любил» больше всех; там он чаще всего в компании желтолицых язвенников и пенсионеров вкушал гороховый суп, овощное рагу и этот сволочной творожок. Он уже серьезно подумывал о том, чтобы разыскать телефон этой столовой, позвонить из автомата и через носовой платок измененным голосом сообщить, что в ней заложена бомба. Хотя, с другой стороны, кому может понадобиться взрывать эту обитель желудочной скорби?.. Но, может, поверят, и тогда — хоть день перерыва...

Гороховый суп Кока уже *выпил,* овощное рагу проглотил за пять секунд и теперь с ненавистью ковырял творожок. Маша свой уже успела съесть, потому что от супа и рагу отказалась, и терпеливо ждала Коку, нежно наблюдая, как он доедает полезное и не отягчающее желудок благородное блюдо. В Коку оно уже не лезло, и он, виновато отодвинув творожок, сказал Маше: «Больше не хочу, пойдем».

— Наелся? — ласково спросила Маша.

— А как же! — не без сарказма сказал он, думая, что надо что-то предпринять, а иначе он просто сдохнет.

— А кисель?

— Не буду, пойдем.

Сейчас они должны были на час-два расстаться. Коке нужно было навестить дальних родственников, Маша сказала, что она должна пойти на почту и дать поздравительную телеграмму подруге, у которой сегодня день рождения. Они вышли из диетической столовой. Маша поцеловала его и сказала: «Пока, Малыш, не скучай там, у родственников. Через два часа встретимся в гостинице. Я буду в номере тебя ждать, ладно?..» И они разошлись в разные стороны... с тем чтобы уже через пятнадцать минут встретиться снова. Встретились они в самой банальной пельменной, на другой улице, в двух кварталах от столовой, совершенно случайно, однако *случайным* вряд ли что-то бывает, все подчинено какой-то *верхней* логике, все, наверное, шло к этой роковой пельменной. Ведь могли же они направиться в разные пельменные, и все было бы по-старому, можно было еще некоторое время морочить друг другу голову. Но... карты легли иначе, и вот они столкнулись буквально лицом к лицу именно в этой грязной забегаловке. Маша сидела за столом, перед ней вызывающе стояли два мясных салата и две двойные порции пельменей, она ела торопливо и жадно, будто боялась, что ее сейчас застукают на месте преступления. Ну чего боялась, то и получилось. Кока зашел сюда опять же абсолютно случайно, он решил сперва забежать в театр, узнать расписание репетиций на завтра и потом только поехать к родственникам, поэтому развернулся и пошел в другую сторону, туда, где он вовсе не должен был оказаться. Но оказался. Он увидел эту пельменную и несколько минут постоял у входа. После короткой, но яростной схватки между организмом и силой воли, которая закончилась в пользу голода, Кока, проклиная себя за слабость, вошел внутрь. Он встал в очередь, набрал на поднос тоже две порции пельменей и еще (уж пропадать, так с музыкой!) две порции сосисок, а еще две бутылки пива и стал искать, за какой стол пристроиться. Он увидел свободное место, столик, за которым сидел только один человек; увидел место, а не человека, и быстро направился туда, а подойдя, вежливо спросил: «У вас не занято?» Девушка, сидевшая одна за столом, только промычала что-то в ответ, поскольку рот у нее был занят уже двумя пельменями, а третий она как раз цепляла на вилку. Она только отрицательно покачала головой, что, мол, не занято, и вилкой с наколотым пельменем сделала приглашающий жест. Обмен репликами, озвученный с одной стороны, и безмолвный — с другой, проходил в автоматическом режиме, без эмоций, ну, как это обычно и происходит: «Свободно?» «Пожалуйста». Или: «Вы выходите на следующей?» «Да». Правда, голос человека, задавшего вопрос, показался девушке странно знакомым, но рефлекс узнавания, задавленный здоровым аппетитом, слегка припоздал. Кока в это время поставил поднос на стол и стал сгружать с него всю свою снедь. За эти несколько секунд рефлекс узнавания догнал Машу и послал ей в мозг сигнал надвигающейся катастрофы. «Не может быть»,— подумала она и стала медленно поднимать глаза, все еще надеясь на чудо, на то, что это не он. А Кока освободил наконец поднос и только тут посмотрел на соседку по столу. «Здравствуй, ужас!» — только так можно было назвать эту картину, застывшую безмолвно посреди оживленной пельменной. Над щеками Маши, разбухшими, как у запасливого хомяка, от непрожеванной пищи, которой было куда как далеко до творожка, панически метались огромные глаза в поисках хоть какого-нибудь выхода. Выхода не было. Ничего нельзя было сделать в этой ситуации, невозможно ничего

придумать. А у Коки задрожал поднос в руке, и он элементарно покраснел, покраснел так, как не краснел никогда в жизни, будто Маша не с пельменями его застала, а с другой женщиной в постели, словно его поймали сейчас на чудовищной измене. Вот так они смотрели друг на друга минуту, в которую вместилось все. Они так долго прикидывались, играли, старались выглядеть лучше, чем они есть на самом деле, так долго писали свой роман, что для естественной жизни в нем уже не осталось места. Обоим стало понятно, что вот и кончилась любовь. Какая мелочь, в сущности, микроб, может все испортить! Вот тут бы им засмеяться, обратить все в шутку, но нет! — не тот случай, слишком много игры было между ними, и сейчас вся игра куда-то ушла, и в первый раз за все время они были совершенно искренни, растеряны и огорчены; оба поняли в этот момент, что все кончилось, что Кока теперь если и будет когда-нибудь обнимать ее, непременно вспомнит про ангела с набитым пельменями ртом, да и Маша будет вечно помнить его, с дурацким и несчастным видом держащего в руке дурацкий поднос, что они уже никогда больше не смогут серьезно относиться друг к другу даже в минуты близости, а значит, близость теперь исключена; уже нельзя шептать в постели милые нежности: все будет казаться игрой, даже если ею и не будет. Романтика рухнула! Все! Это был момент истины для наших любовников, и не осталось ничего, кроме усталого сожаления. И все это — в одну минуту!

Потом Кока осторожно поставил поднос обратно на стол, посмотрел на нее *другими* глазами — уже не любовника, а все понимающего друга — и сказал, грустно улыбнувшись: «Э-э-эх, Маша... Какие же мы с тобой все-таки артисты...» Потом поднял руку, будто хотел погладить ее по щеке, но раздумал, вздохнул и вышел. И тут Маша впервые за много лет *по-настоящему* заплакала, некрасиво размазывая по лицу слезы рукой с зажатой в ней вилкой и давясь солеными и будто резиновыми пельменями. Она плакала так горько, как плачет ребенок, у которого отняли любимую игру. А ведь игра в любовь и была, в сущности, ее единственной игрой, смыслом жизни, и сейчас она вдруг поняла, что это не может быть смыслом жизни, а тогда какой же в ее жизни смысл? И есть ли он вообще? Тридцать ведь уже, а нет ничего: ни настоящих ролей, ни настоящих друзей, ни детей, ни любящих, ни любимых по-настоящему — ничего нет! Обо всем этом и плакала моя Маруся, а потом вытерла слезы и доела все, что было на столе. Все равно ведь надо было как-то жить... Надо было жить дальше!..

Эпилог

Вскоре после описываемых событий я должен был ненадолго уехать из Москвы на работу в другой город. Это «ненадолго» растянулось на целых двадцать пять лет. Туда, где я жил, доходили разные слухи. Из них я узнал, что каждому из действующих лиц этой истории жизнь воздала, как это ни странно, по совести и по справедливости, а не так, как часто бывает в нашей стране: «от каждого — по способностям, каждому — по морде». Тихомиров стал все-таки режиссером, но снимает плохие фильмы, лучшее, что у него выходит,— это о лошадях, где есть конные эпизоды, там Тихомиров всегда «на коне». Но это и неудивительно, поскольку Володя всегда любил лошадей больше, чем людей, и где-то его можно даже понять. Но так или иначе конно-каскадерская юность обрела в его фильмах самое выразительное воплощение. Все, что касается людей, получается у него значительно хуже. Когда на экране он пытается воссоздать хоть что-нибудь подобное тому, что он придумывал в свое время для Коки, у него почему-то не выходит, получается скучно и временами даже пошло. Недавно он по старой дружбе упрашивал сняться в его новой картине Антонину Ивановну Краснову, да, да, ту самую Тоню, когда-то наивную и влюбленную девочку, а теперь народную артистку России. Мало того, она теперь и депутат, и лауреат всего, что только есть в стране. Она работает в очень хорошем и даже академическом театре (это не всегда одно и то же, но в данном случае совпадает, и Тоня действительно в хорошем театре первая артистка, на нее специально покупают билеты, ее ждут после спектаклей десятки поклонников). Она много снимается

в кино, и пригласить ее считают за честь лучшие наши кинорежиссеры; ее портреты — на обложках журналов, а многочисленные интервью ей даже надоели, потому что всюду спрашивают одно и то же, и ей уже неудобно повторяться; словом, она народная любимица и по-прежнему красавица, только слегка располнела и взгляд стал чуть ироничнее да губы жестче.

Замуж Тоня вышла после долгой планомерной осады со стороны одного очень хорошего и надежного человека, не артиста, избави Бог, а доктора медицинских наук. Зато теперь она счастливая жена и мать. Впрочем, не знаю насчет счастья, но в ее семье есть и покой, и радость, и понимание. Тоня получила от судьбы компенсацию за моральный ущерб, причиненный ей в юности тщеславием Кости Корнеева и злодейской рукой Володи Тихомирова. Поэтому нетрудно догадаться, что тихомировские уговоры сниматься у него Тоня отвергла. Сначала по телефону, когда звонил ассистент, а потом и лично, когда Тихомиров в надежде все-таки уговорить минут тридцать топтался у театра после спектакля со своим сценарием в руках. Тоня вышла наконец, узнала его: бородка была все той же, глаза наглые и смешливые, и он напористо и сразу стал говорить ей про гениальный сценарий и гениальную роль, которую она, конечно же, гениально сыграет. Он все пытался расположиться в привычной для себя зоне юмора, а Тоня пристально смотрела на него, смотрела, и он стал постепенно скисать. И когда скис окончательно, Тоня сказала: «Не сто́ит, Володя. В одной картине я у тебя уже снялась, помнишь? Много лет назад. Это была моя первая роль, я ее здорово тогда сыграла, правда? Ты был, помню, доволен мной.— Володя молчал, ему нечего было сказать, наглость и юмор тут уже не проходили, а извиняться было слишком поздно.— А первую хорошую роль, первый урок вовек не забудешь,— продолжала Тоня.— Слишком сильное, Володя, впечатление, боюсь его испортить. Так что, извини, но нет!» Это было десять лет назад...

Вика снялась у него в этой роли, бывшая Машина подруга, помните?.. Такие озорные повороты иногда жизнь делает, что просто диву даешься! Тихомиров ведь тогда еще обещал себе заняться Тоней, когда у нее все пройдет, но не вышло у него с Тоней ничего. А про Вику он само собой забыл, но, когда он сидел на «Мосфильме» у себя в кабинете и как раз обдумывал после Тониного отказа, кого из артисток попробовать, открылась дверь и на пороге встала красивая и стройная женщина, в которой трудно было узнать милую простушку Вику, курицу номер два из того самого детского спектакля. С Тоней она, тогда коротко познакомившись, отношений не прерывала, изредка они перезванивались, и Тоня не далее как вчера рассказала ей, как приезжал со сценарием Тихомиров и как уехал ни с чем. Более того, она посоветовала Вике позвонить Тихомирову и попытаться. И Вика решила, что это ее последний шанс. Она закрыла за собой дверь, прислонилась спиной, чтобы никто не вошел, и сразу сказала ошеломленному Володе, что она пришла к нему не как к режиссеру, а как к человеку, что она давно следит за его творчеством и восхищается им издалека, что ей все равно, кого он будет снимать в следующей картине, потому что он ее интересует всю жизнь как мужчина, а не как режиссер, что она сразу догадалась тогда, кто стоит за сюжетом любовной драмы Маши и Коки, что она уже тогда балдела от его таланта и гусарской удали, что она уже тогда жалела, что с ней был не он, а Бармин, что она все эти годы не решалась к нему подойти или позвонить, а сейчас шла в другую группу и вдруг увидела табличку на двери «В. П. Тихомиров» и подумала: «Это судьба. Или сейчас зайду к нему и все скажу, или никогда. И если его там не будет, значит все, значит — *не* судьба», что если он хочет взять ее прямо тут, в кабинете, она готова, пусть даже только один раз, и она уйдет навсегда, что... да много еще чего выпалила разом Вика смутившемуся вдруг Тихомирову. Монолог ее длился минуты три, кто-то порывался войти, но Володя крикнул: «Я занят!», а потом подошел к двери и повернул ключ в замке. Он и раньше подозревал, что он гений, но такое откровенное и пылкое признание получил впервые. Она согрела его очерствевшее сердце, он запер дверь и, таким образом, предложение взять ее прямо сейчас и здесь принял, но кто тут кого взял — это еще вопрос. Машины уроки, ее наглядные примеры для Вики даром

не прошли, она провела эту партию безукоризненно и свой последний шанс использовала стопроцентно. Тихомиров купился. К нему в последнее время как к мужчине и гусару мало кто из дам обращался, все больше как к кинорежиссеру, и он, надо сказать, часто злоупотреблял служебным положением, но полного удовлетворения от этого, конечно, не было. А тут... Ее, такую красивую, застенчивую, почти в слезах молодую женщину, совершенно не интересовали пробы, ее интересовал только он сам, так сказать, в чистом виде. Ну как тут было устоять! И он, конечно же, попробовал ее (и в прямом, и в переносном смысле), и утвердил затем на роль, и снял, а через год снял и в следующей картине, а еще через год — вот что изумительно! — женился на ней.

И теперь, говорят, живут очень хорошо. Имитация любви у Вики превратилась вроде в настоящее чувство, в настоящую привязанность, а Тихомиров перехода, естественно, не заметил; впрочем, был ли тот Викин монолог на пороге точно рассчитанной игрой — теперь он уже никогда не узнает.

А великий спортсмен Валерка Бармин совсем отошел от спорта, он даже не пытался быть тренером, он решил стать писателем и драматургом. Он решил, что его жизнь, в спорте и вообще, должна быть увековечена на бумаге. Там было что вспомнить, наш «непрофессиональный» спорт был тогда большой тайной, и Валера многое мог порассказать. Он нашел себе соавтора, нормального литератора, умеющего в отличие от него хорошо и грамотно складывать слова, и они вместе выпустили первую книгу. Успешно. Потом были написаны другие. Но шли годы, и имя Бармина, которое обеспечивало книге кассовый успех, стали потихоньку забывать. Наша страна, к сожалению, беспамятна на великих спортсменов. Это в Канаде до сих пор чтят Боби Халла или в США — Джесси Оуэнса, да и Пеле знают не только в Бразилии и не только по кофе. А у нас бывший лучший спортсмен планеты, которого на руках выносили болельщики со стадионов мира, живет теперь неизвестно как, и никому он не интересен. Так что сейчас Валера живет тихо, иногда крепко выпивая и делая свои фирменные пельмени, но жалеть ему не о чем: в его жизни было все — и слава, и преклонение, и красивые женщины всех мастей и национальностей, и победы, и драмы — все было. Он попытался еще раз победить — в литературе,— и почти получилось, но... почти... и он, кажется, успокоился. В конце концов многие согласились бы поменять *всю* свою жизнь на десяток Валериных «звездных» лет...

Любанька-Ватрушка теперь замужем за бизнесменом, одним из руководителей какого-то крупного товарищества с очень ограниченной ответственностью. Она в его дела не вникает, она в основном на даче. У нее там две собаки, одна очень большая, кудлатая, ее зовут Вулкан, а другая — маленькая собачонка с крохотным беличьим тельцем, над которым высятся почему-то огромные, как локаторы, уши. Собачку зовут Тревога. В каком состоянии надо проснуться, чтобы так назвать щенка, ума не приложу! На даче Любанька с удовольствием возделывает свои сельскохозяйственные угодья, там двадцать соток, и они требуют постоянного ухода и внимания. Любанька гордится своими парниковыми помидорами, а помогает ей на даче все тот же Феликс, ее бывший муж. Он у нее там вроде работника. Прогнать его по доброте душевной Ватрушка так и не смогла, после ее нового замужества Феликс остался бы совсем один, а новый муж и не возражал, хорошо понимая, что Люба только жалеет его. Так что и Феликс оказался не один и при деле, но с одним условием: не приносить никогда больше ни одного чучела. Теперь он дарит их соседям по даче; соседей много, поэтому, пока он всех осчастливит, еще много лет пройдет.

Кока почти спился. Он считает, что его жизнь не удалась. Он работает все в том же театре, однако ничего не получилось из того, чем обещал стать Костя Корнеев в блистательном начале своей карьеры. После истории с Машей все пошло как-то вкривь и вкось. Роли в театре предлагались все хуже, потому что и игрались им все хуже, да и в кино почему-то перестали приглашать. Как и все слабые люди, Костя винил в этом только обстоятельства и окружающих; почти каждый вечер он сидел в ресторане ВТО, а после пожара перекочевал в «Балалайку» (так ласково и фамильярно, без всякого уважения к музыкальной куль-

туре страны, называют ресторан Союза композиторов). Всем случайным и не случайным своим собутыльникам Костя жалуется на судьбу, которая в России беспощадна к настоящим талантам; еще жалуется на режиссеров, которые его не видят и не понимают. Его красивое, тонкое, благородное некогда лицо обросло складками, мешками и вторым подбородком. Да и походка изменилась у Кости: пружинистая грация хищника семейства кошачьих сменилась усталой и ленивой пластикой циркового медведя, готового даже обруч вертеть ради подачки на арене. Рассказывают, что месяц назад в ресторане Дома кино Кока встретился с Тоней. Тоня сыграла главную роль в очередном фильме, премьера которого тут и праздновалась.

Тоня стояла с охапками цветов перед входом в ресторан, как вдруг к ней подошел Кока. Больше двадцати лет Тоня его не видела, но узнала сразу, даже не глазами, потому что трудновато было узнать в этом оплывшем человеке, старающемся держаться прямо, свою первую любовь. Узнала чем-то другим, особым: что-то неожиданно заныло внутри, будто мертвые нервные клетки, пораженные когда-то Костей Корнеевым, вдруг разом ожили и закричали.

А Кока встал перед нею и, развязно расшаркиваясь и ёрничая, сказал: «Ас-сь!» — что означало у него сейчас «здрасьте».

— Здравствуйте,— тихо произнесла Тоня.

— Сколько лет, сколько зим! — ненавидя себя за гадкую, особенно в этой ситуации, банальность, фальшиво пропел Костя. Он, хоть и в нетрезвом виде, вкус все-таки сохранял. Тоня уловила это и тон поддержала:

— Двадцать четыре лета и двадцать четыре зимы, если точно.— И продолжила очень просто, приглашая и его к тому же: — Здравствуй, Костя.

— Смотри-ка, узнала! Неужели помнишь меня? Правда?

— Я все помню, Костя,— сказала она, и какое-то совсем новое, незнакомое выражение ее глаз неприятно поразило его.

— Да, чуть не забыл, с премьерой тебя...

— А ты смотрел? — спросила Тоня.

— Не-е, куда уж нам, кто нас туда пригласит? Мы тут, в буфете,— продолжал ёрничать Кока,— но я уже слышал, что ты опять здорово сыграла. Поздравляю! — Он все всматривался в Тонино лицо, с каким-то злобным вожделением ища на нем следы распада, как и у него, но не находил и от этого чувствовал себя еще более «униженным и оскорбленным».

— Мне пора,— сказала Тоня, и тут он понял, что за новое и неприятное выражение глаз у нее было: это была жалость. И тогда Кока последним усилием воли выпрямился, расправил плечи и, став внезапно на несколько секунд опять красивым и гордым, сказал:

— Всего хорошего тебе, Тоня. Будь счастлива! И... прости меня, если сможешь...

И нагнулся к ее руке. И Тоня руку не отняла, и жалость у нее тоже на несколько секунд сменилась уважением к этой своей пьяной и ныне опустившейся первой и самой сильной любви. Она поцеловала наклонившегося Коку в лысеющую макушку и быстро отошла. Простила, стало быть... А Кока от этого поцелуя в макушку вздрогнул, как от выстрела, и еще какое-то время постоял, согнувшись и с вытянутой вперед правой рукой. Он опомниться не мог: будто, с одной стороны, отпущение грехов получил и стало светло и легко, а с другой — будто ударили его этим великодушием. И тут (прощальная усмешка судьбы!) кто-то из проходящих на банкет гостей положил в протянутую Кокину руку купюру. Ощутив в своей руке бумажку, Кока даже не понял вначале, что это такое. Постепенно выпрямляясь, он посмотрел на свою руку, и моментальный приступ ярости овладел им. Он глянул вперед: кто это сделал, кто это ему подал?! Но люди шли плотной гурьбой и никто не оборачивался; ни в ком нельзя было угадать человека, которому надо было сейчас бросить в лицо скомканную купюру, а потом тут же, на глазах у всех, набить морду. Кока разжал готовый для удара кулак и посмотрел на скомканные деньги, которые хотел уже было с благородным негодованием отшвырнуть в сторону. Потом расправил купюру.

Это были двадцать долларов... И опять Кока замахнулся, чтобы отбросить эти деньги подальше, но рука остановилась сама. Рука решала за него, что делать дальше, а мозг уже практично пересчитывал доллары в рубли, а рубли — в сколько можно за эти деньги выпить и закусить. Потом спокойно поднялась левая рука, и они обе, левая и правая, аккуратно сложили сувенир из далекой Америки и спрятали его в нагрудный карман пиджака.

Маша жива и даже здорова: она сама вылечила себе туберкулез и теперь даже делает зарядку на снегу в одном купальнике. Митричек давно с ней расстался и теперь женат на своей ученице, которая училась у него в консерватории, а домой к нему приходила, чтобы брать дополнительные уроки. Скрипачка оказалась способной, она вышла за Митричека замуж; интересно, как она его называет? Тоже Митричек, Малыш? Достались ли ей имена в наследство от Маши, как и все остальное? Или она придумала что-то свое? Нет, вряд ли: способности у девочки были специфические, дать что-либо, даже имя, она никак не могла, она была очень талантлива по части «взять». Вот и в этом случае она брала-брала уроки, а потом взяла и все остальное: и Митю, и «мерседес», и квартиру, и дачу, и все прочее, что к тому времени, как ни странно, совсем перестало интересовать Машу. Хотя, наверное, не странно: видно, не захотела Маша продолжать ту свою жизнь, называться «лапой» и все время лгать, что-то изменилось в ней самой. И жизнь решила поменять круто, отказавшись от всего, что казалось ценным и привлекательным в жизни прежней. Поэтому Маша внимательно следила за крепнущей связью между педагогом и ученицей, а потом собрала вещички и ушла из дома, как настоящий мужчина, оставив все. Она в это время приняла католическую веру, но дело не в конфессии, а в сути: она считала справедливым, что не оставила себе ничего, потому что она Митю много обманывала и, таким образом, сделала ему много зла. Театр дал Маше комнату в коммунальной квартире, там она и живет до сих пор. Пять лет назад она ушла на пенсию, в театре было сокращение штата, и она не стала ждать, пока ее попросят, написала заявление об уходе сама. Пенсии на жизнь, конечно, не хватало. Какое-то время она пыталась найти работу, но не получилось и кончилось тем, что Маша попросилась работать дежурной вахтершей в том же театре: как-то ведь надо зарабатывать на жизнь, и потом — все-таки среди людей, среди своих. Когда мимо нее проходит Кока, она улыбается ему, как всем, они даже почти друзья; он иногда занимает у Маши денег на водку, и она, если есть, с радостью дает. Все ее любят, никто не грубит, а молодежи объясняют, что здесь сидит бывшая артистка и ее обижать нельзя. В общем, она считает, что жизнь удалась и жаловаться не на что...

Все это я о ней знал и в этот приезд решил Машу повидать. Я шел пешком в этот театр, знакомый мне до кирпичика, и слегка волновался. Была суббота. Осенние листья шуршали под ногами, стояло роскошное бабье лето, совсем как тогда, много лет назад, когда начиналась история Коки и Маши, когда Маша пришла к нему на улицу Грановского и вымыла пол в комнате с чучелами. Я знал, что Маша в театре, потому что перед этим позвонил прямо к ней на вахту и спросил, не меняя голос (я был уверен, что она меня все равно не узнает), какой спектакль идет сегодня. Я услышал знакомый красивый, низкий голос: «Сегодня днем детский спектакль»,— она назвала его, этот спектакль был, видимо, бессмертным, он был вечно живой. Я из озорства спросил: а кто играет сегодня курочек и мышек? Маша терпеливо перечислила ряд незнакомых мне фамилий. Я повесил трубку и помчался в театр. Хотелось сделать ей что-нибудь приятное. Я знал, что она любит большие смешные игрушки, поэтому по дороге в детском магазине приобрел огромного, почему-то оранжевого медведя. Насчет цветов я решил с самого начала, что это будут белые хризантемы — как воспоминание о начале их с Кокой романа.

Я прошел по тому двору, где Кока и Тихомиров разыгрывали перед Машей свои жестокие игры, постоял перед служебным входом и попросил проходящего мимо молодого человека позвать вахтершу: мне не хотелось заходить вовнутрь и делать нашу встречу публичной.

— Кого? — переспросил молодой человек.

— Ну ту женщину, что у вас здесь на вахте сидит.

— А-а, Марью Сергеевну! — тепло улыбнулся юноша, и я обрадовался тому, что он так улыбнулся.

Через минуту вышла Маша, моя Маруся. Она выглядела свежо и молодо. Я протянул цветы. Маша ахнула и слегка покраснела от удовольствия и смущения, узнав меня, узнав цветы. Потом она обрадовалась медведю. «Я подержу пока его,— сказал я,— а то тебе неудобно будет разговаривать». Мы чуть отошли и стали говорить.

— Мне сейчас пятьдесят пять,— говорила Маша,— и жизнью я довольна. Грех жаловаться: у меня есть все, что мне надо.

— Все-все? — спросил я улыбаясь.

— Все! — ответила она твердо; потом, расслышав в моем вопросе некоторое лукавство, опять повторила: — Да, все... а что? — И еще через пять секунд: — Ах ты об этом? — И стала заразительно хохотать.

— Ну а все-таки,— спросил я,— как твоя личная жизнь, Маша? Кому ты опять разбила сердце? Кого теперь сводишь с ума?

И тут она вскинула на меня свои ни капельки не потускневшие глаза, и оттуда вдруг полыхнуло таким цыганским огнем, что у меня остановилось дыхание и заныло сердце.

— Как? — осторожно выдохнул я.— Неужели... неужели... роман?

Маша застенчиво прикрыла огонь длинными ресницами и чуть заметно кивнула.

— Ну-у-у, знаешь,— хрипло и восхищенно протянул я и, повинуясь внезапному порыву, склонился к ее руке — в поцелуе и поклоне одновременно. Потом выпрямился. В этот момент, как по заказу, между нами медленно и неровно падал красно-желтый кленовый лист. Я поймал его. Тот же кленовый лист, что двадцать пять лет назад, что век назад, что год назад... Что в Канаде, что в России... Осень была... Бабье лето... И будет — год спустя или век спустя... И жизнь не кончалась, и все, что было, продолжалось. Ну а старость... Ах, вздор! Старости не было вообще!

И тут я сказал Маше: «Спасибо»,— отдал медведя и пошел. Она не спросила, за что «спасибо», она все поняла. Через несколько шагов обернулся. Она не уходила и помахала мне рукой. Другой рукой она обнимала *осеннего* оранжевого медведя и большой букет белых хризантем. Они были ей к лицу; шли ей цветы и медведи, особенно сейчас... Эту картину, этот кадр я желал запомнить навсегда, на все время, что мне оставалось. Поэтому стал медленно отходить, подняв руку в прощании. Я пятился по залитому мягким солнцем театральному двору, и фигура Маши постепенно растворялась в лирической пелене, застилавшей мои глаза.

Я продолжал уходить все дальше. Чуть поодаль, за Машей, виднелись силуэты Коки, Тихомирова, Вики, Тони, Валеры, Любаньки-Ватрушки, Митричека и других персонажей, исполнителей эпизодических ролей в этом немудреном спектакле. Глядите, они взялись за руки и кланяются вам, и улыбаются. Поаплодируйте им, поблагодарите за то, что они, как могли, сыграли свои роли перед вами; сейчас их скроет занавес, и вы никогда не увидите их больше. Вот уже их фигуры теряют очертания, размываются, сейчас исчезнут совсем. Впереди остается только главная героиня с цветами от самого верного поклонника.

— Маша,— шепчу я почти беззвучно,— на бис! Ну хоть что-нибудь перед тем, как занавес упадет!

Она делает рукою жест, означающий, мол, погоди минутку, сейчас будет тебе прощальный сюрприз, затем отодвигает от лица букет, и тут я вижу, обмирая, коронный номер. Я вижу, как слеза Маши Кодомцевой медленно-медленно скатывается по совершенно неподвижному лицу. По левой щеке...

●

Юрий БУЙДА

Сумма одиночества

Напрашивается то, чтобы писать вне всякой формы: не как статьи, рассуждения и не как художественное, а высказывать, выливать, как можешь, то, что сильно чувствуешь.

Лев Толстой

Булавка

Не любо — не слушай, а лгать не мешай.

Солдат не удивился и не ужаснулся, увидев себя в зеркале: он не помнил, как выглядел до операции. Хирурги сложили его лицо из кусочков обожженной кожи, наложив семнадцать швов. «Чудо, что глаза целы,— сказал врач.— И ходить будешь, хоть и через запятую. Ты в рубашке родился, парень».

Спустя несколько месяцев сержанта выписали из больницы и демобилизовали. Была весна сорок шестого года. С чемоданом в руках парень спрыгнул на разъезде и, с трудом переставляя больные ноги, побрел по лесной дороге, которая часа через два привела его в деревню. Бездетная супружеская пара — хромой старик и опрятная нестарая женщина — пустила его на ночлег. К ужину солдат достал из чемодана тушенку и бутылку водки. Выпив, показал, что везет с собой в подарок родителям: несколько наручных часов, мужской костюм, консервы... Ночью он упредил старика, подобравшегося к нему с топором, и убил его ударом ножа. А потом навалился на полумертвую от страха женщину. Утром она стала ласково целовать его искореженное лицо, и он понял, что лучшей доли ему не нужно. Он смутно помнил, что, если идти по лесной дороге, можно добраться до родительского дома, но женщина сказала, что каратели сожгли все окрестные деревни. Он подарил ей золотые часы и кусок красивой ткани на платье, угостил тушенкой и водкой и снова привлек к себе. От хорошей еды, выпивки и мужской ласки она расцвела. Дня три они прожили как в угаре (она не проронила ни слова, когда солдат закопал тело ее мужа на задах огорода). Наконец он взялся за хозяйство, вспоминая, что такое топор и вилы.

Утром женщина истопила баню. Когда парень повернулся к ней спиной, она с ужасом уставилась на родинку в форме кленового листа, которую, когда он был маленький, так часто целовала. Парень обернулся, и она машинально прикрыла руками свои красивые полные груди. «Ты мой сын,— сказала она.— А он был твоим отцом. Неужели ты нас забыл?» Он покачал головой, недоверчиво глядя на нее. Стоя к нему спиной, она торопливо надела бедное белье, сколола булавкой кофту-самовязку и бросилась в избу. Солдат с досадой посмотрел на свои опухшие ноги и стал одеваться.

Войдя в избу, он сразу увидел ее. Перевел взгляд на красный угол: лампадка была потушена, а иконку, прежде чем сунуть голову в петлю, женщина аккуратно задернула занавеской. Только тут до него дошло: она не лгала. Похоро-

нив ее рядом с мужем, парень ослепил себя булавкой, которой она скалывала свою кофтенку, и отправился бродить по великой Руси, прося подаяние и рассказывая о своей жизни...

Эту историю поведал завсегдатаям Красной столовой огромный слепой старик в долгополом черном пальто, застегнутом на четыре пуговицы и одну булавку. Никто не знал, откуда он взялся.

— Вранье,— предположил Колька Урблюд.

— Слепые не врут,— возразила Феня.

Старик не был похож на человека, который хотя бы краем уха слыхал об Эдипе, Лае и Иокасте или читал Софокла. Но больше всего меня (много лет спустя) поразили две детали из его рассказа: булавка и опухшие ноги. Узнав, что богами ему суждено погибнуть от руки сына, Лай велел Иокасте бросить младенца в лесу, проколов ему булавкой сухожилия. Приемный отец Полиб дал мальчику имя Эдип, что переводится как «с опухшими ногами». Эдип лишил себя зрения бронзовой фибулой — булавкой с одежды повесившейся Иокасты. Булавка и опухшие ноги явились из мрака античности в прокуренную Красную столовую, где за жестяной стойкой подремывала Феня, над головой которой висела жалобная книга с наклеенной на обложку фотографией Акакия Хоравы в роли великого воина Албании Скандербега.

Говорят, что художники делятся на ищущих Бога и ищущих имя Бога. На самом деле Бог и Его Имя — химическое целое. Игра ума и память сердца влекут художника с одинаковой силой.

Красная столовая занимала полуподвальное помещение со сводчатым потолком в старом кирпичном жилом доме. По вечерам здесь собирались лучшие в городке лжецы, краснобаи и брехуны, которые под Урблюдову гармошку и вечную котлету плели историю за историей — в них ценилась не правдивость, но занимательность. Лотерея, клады, пьянство, тюрьма, охота и рыбалка, нечистая сила, женщины, силачи, Сталин, иностранцы — темы и сюжеты прихотливо сплетались, срастались, образуя причудливые узоры вроде тех милетских, о которых писал еще Апулей.

Полусумасшедший дядя Лепа вспоминал женщин, которых он познал в столицах освобожденной от нацизма Европы: почему-то все они были в комбинезонах и отдавались бравому солдатику в «пакгаузе на бидонном полу» (когда я работал в районной газете, он еженедельно присылал мне письменные версии этих историй — варшавскую, будапештскую, берлинскую и почему-то парижскую).

Иван Тихонин рассказывал о своей битве с зелеными чертями: на исходе запоя мужик принялся вилкой выковыривать чертей из руки и добрался до вены, после чего доктору Шеберстову пришлось зашивать его вдоль и поперек, а медсестрам — выносить кровь ведрами.

Юрий Михайлович Тетерин был единоличным держателем истории о Черной Кошке. Так называлась банда, орудовавшая в конце войны во Владимире. Молодчики выдрессировали черную кошку, которую сердобольные женщины подбирали у своего порога и поили молочком, а ночью коварная тварь ловко открывала изнутри задвижку и впускала татей.

Истории о женщинах и силачах объединялись фигурой Ванды Банды, которая голыми руками разрывала пополам живую кошку. Она работала грузчицей на мукомольном заводе и в одиночку освобождала вагон с зерном быстрее, чем бригада из пяти-шести человек.

История пастуха Толи Ячневского пользовалась неизменным успехом в исполнении самого героя. Однажды, когда пьяный Толя заснул, его собаки покусали громадного быка, цапнув его за самое-самое. Разъяренный бык, весивший чуть не тонну, выдернул стальной якорь, к которому был привязан толстенной цепью, разогнал псов и бросился на Толю. Пастух попытался спастись от зверя в бетонной трубе, проложенной под шоссе, но застрял. Его задница осталась снаружи. Страшным ударом бычина вогнал пастуха в тру-

бу, после чего Толе пришлось поваляться в больнице и смириться с прозвищем «Бычья Жопа»...

Был в Красной столовой и свой резонер — учитель Терешков, любивший уличать рассказчиков во лжи. Он ярился и спорил с ними до посинения, пока однажды его не хватил удар. Пришлось вызывать «скорую». Очнувшись в машине и увидев над собой мрачное лицо известного мизантропа фельдшера Шильдера, Терешков испуганно спросил:

— Куда едем, Феликс Игнатьич?

— В морг.

— Но я же еще не умер!

— Так ведь мы еще и не приехали.

На постоялом дворе и в таверне, по пути к или в, во дворце или тюрьме, на биваке, в келье, больнице, казарме люди, рассказывая истории, стремились вызвать смех, сострадание либо страх. Но какую бы цель ни преследовали рассказчики, они хотели и хотят лишь одного — любви. Мне нравится мысль Иво Андрича о том, что в лице слушателя рассказчик обращается к человечеству, то есть и к себе в том числе, и тем самым удовлетворяет и собственную жажду любви, даже если и не осознает этого.

Ни Апулей, ни Боккаччо, ни умерший в 1612 году Шипионе Баргальи не писали рассказы в теперешнем смысле. Они создавали книги вроде «Золотого осла», «Декамерона» или «Забав, во время которых прелестные дамы и молодые люди развлекались пристойными и приятными играми, рассказывали новеллы и спели несколько любовных песенок». И даже когда появились газеты и журналы, рассказы поначалу печатались в них лишь как piece — кусочки, части чего-то. Еще герои Достоевского рассказывали друг другу «пиесы» и «поэмки», которые мы сегодня назвали бы вставными новеллами.

Современный рассказ, как мне кажется, родился в Германии, где уже в XVIII веке выходили сотни журналов, газет и альманахов, послуживших образцами не только для неофитов новоевропейской культуры, какими тогда были русские, но и для англосаксов, создавших журналы, кажется, лишь для того, чтобы печатать в них эссе и памфлеты. Не случайно лучшая в истории мировой литературы новелла — «Локарнская нищенка» Клейста — была напечатана 11 октября 1810 года (отчего бы, кстати говоря, не объявить этот день Днем новеллиста?) в «Берлинской вечерке».

Другой великий рассказчик — Эдгар По — вошел в литературу благодаря филадельфийской газете «Сатердей курир», которая на протяжении 1832 года опубликовала пять его текстов, включая «Метценгерштейн». В те времена американские газеты наперебой проводили конкурсы на лучший рассказ, стимулируя творческие поиски и подготавливая почву для взрыва, вынесшего к читателю Эмерсона и Торо, Мелвилла и Готорна. Французские газеты культивировали роман-фельетон, английские из номера в номер печатали Диккенса, русские не могли выйти в воскресенье без «подвального» рассказа (ну, например, без бунинского «Легкого дыхания»). А в наше время Генриху Беллю пришлось объясняться, почему он сочиняет короткие рассказы.

Что там ни говорите, но все же эпоха не романная. Бывает.

Утверждают, что отечественная — да и мировая — новеллистика переживает кризис. Но у людей никогда не пропадал и не пропадет вкус к сжато и ярко рассказанной истории. Они готовы уделить нам немного времени и даже проявить дружескую снисходительность, если ради правды мы немного приврем: «Не любо — не слушай, а лгать не мешай» (так русский переводчик Осипов назвал книгу историй барона Мюнхгаузена, увидевшую свет в 1791 году). Все дело, наверное, лишь в нашей готовности или неготовности пожертвовать собою ради любви к Другому.

Еще Гомер был убежден в том, что боги посылают людям приключения, чтобы будущим поэтам было о чем петь. Жизнь обретает смысл и завершенность, только если она рассказана. История и есть история. В русском языке в

отличие от немецкого и английского нет разницы между Geschihte и Historie, между story и history. Жизнь есть рассказ. Во всяком случае, в России, где столетиями слово почиталось как Слово.

— Ладно,— сказал Колька Урблюд, откладывая гармошку.— Теперь моя очередь. Но сперва налейте для цвету.

— Вчера ты напился и блевал,— строго сказал дед Муханов, не выпуская изо рта сигарету, набитую грузинским чаем высшего сорта.

— А ты что делал?

— Делал вид, что ты не блюешь.

Колька перевел взгляд на слепца, который машинально застегивал и расстегивал свою булавку, и заговорил:

— После смерти Сталин стал трактористом в Сибири...

Одиночество с видом на комнату с видом на одиночество

Иногда по ночам я жгу книги из своей библиотеки — развлечение, не приносящее ни радости, ни хотя бы низменного удовольствия, но в такую ночь, как эта, когда за окном клубится ледяная морось, оседающая влажными пятнами на грязный асфальт, нет, в такую ночь я не выйду на улицу, в холодную и ничем не пахнущую темень. Хотя, быть может, и стоило бы. Мне еще никогда не приходилось кричать на улице в такую непогодь. В моей коллекции криков нет такой ночи. Я кричал в подушку, кричал в замызганной, заплеванной рощице, тянущейся вдоль железнодорожной линии, в яму, которую выкопал в сыром лесу за Варшавским шоссе, в заброшенном ангаре на пустыре, в обледенелом тамбуре лязгающей электрички, в горячей ванне, в метро — люди шарахались от меня и бежали дальше, озираясь кто с ненавистью, кто с завистью,— но такой ночи и такой улицы в моей коллекции нет. Что ж, пусть она останется мечтой, сожалением об утраченной возможности, без чего немыслима любая подлинно ценная коллекция...

Я остаюсь в комнате, курю у окна, жду.

Улица пустынна. Ни людей, ни собак, ни Бога.

В толще дома забулькал лифт. Слышно, как он остановился. Открылись двери. Шаги... Но это опять не ко мне.

На столе, рядом с пишущей машинкой,— апельсин. Его давно пора съесть, не то он сгниет, но я медлю.

Форма моей комнаты, родившаяся в архитектурной мастерской Освенцима, не иначе, проста, безнравственна, чудовищна: прямоугольник. Четыре на четыре с половиной метра. Почти квадрат — круг, из которого не вырваться. Геометрия зла. Справа от окна — маленький письменный стол с пишущей машинкой, пепельницей и толстенной пачкой чистой (как сам ужас) бумаги. Вдоль стены — нешироkая тахта без двух ножек, одна заменена кирпичами, в роли другой выступает желтый пятитомник Сервантеса. Изредка на полуистлевшей маслянистой поверхности тахты раскидывают свои горизонтальные прелести — блинообразные груди, вялые животы — мои немногочисленные подружки из тех, о которых принято говорить, что не бывает некрасивых женщин, а бывает мало водки. Дальше — двустворчатый платяной шкаф, слишком даже просторный для моего скудного гардероба и бельевого запаса. Напротив тахты, вдоль другой стены,— книжные полки. С потолка свисает костлявая латунная люстра с вечно перегорающими лампочками, которые приходится добывать на лестничных площадках, разумеется, тайком от добропорядочных соседей.

Я пытаюсь написать заметки об одиночестве. Почему русский человек так жаждет одиночества? Национальному самосознанию чужда культура одиночества, вызревшая на христианском Западе. Оборотной стороной европейского индивидуализма является индивидуальная ответственность, лежащая в основании свободы со времен евангелистов. Западное одиночество —

это труд, который может восприниматься и как проклятие, но не сводимо к проклятию. Для общинного, коллективистского русского сознания, усматривающего в индивидуализме лишь зло, одиночество — это душевное состояние, ибо наша свобода — это свобода мистического восхождения индивидуальной души к Богу, свобода слияния с Ним. Столетиями русские люди жили на миру, в тесных жилищах, не имея возможности побыть наедине с собой и завидуя святым подвижникам, затворявшимся в лесных скитах и монастырях...

Мы мечтаем о проклятии одиночества.

А я — я ненавижу свое жилище.

По ночам я прислушиваюсь к звукам, зарождающимся в глубинах дома. Скрип кроватей. Капля, с болезненным звоном разбивающаяся в раковине. Чей-то всхлип. Полузадушенный женский крик. Плач младенца. Взбрех спящей собаки. Шаги. Дверь. Лифт. Но это опять не ко мне. Краски и запахи чужих сновидений глубокой полночью сгущаются и смешиваются, проникая во все уголки дома, моей комнаты и моего ума. Утром бывает очень трудно выделить свои сны из слипшейся массы чужих видений, отделить свой кошмар с пауками и клюворылыми гадами от райского хаоса, клубящегося в сознании юной девушки, со счастливым стоном подающейся влажнеющим спелым лоном навстречу прекрасному золотому змею, который прилетает к ней каждую ночь...

Я курю у окна. Пора. Обернуться нужно вдруг, внезапно. Конечно же, это всего-навсего игра. Но иногда мне кажется, что, пока я глазел в окно, кто-то перебирал мои вещи. Мистика. Авторучка на письменном столе лежит не так, как положил ее я. Почему-то оказывается открытой папка со старыми рукописями. А если заглянуть в платяной шкаф, наверняка окажется, что серый костюм с накладными карманами висит не с краю, а рядом с черным, который давно пора выбросить. И апельсин уже не оранжевый и вроде бы успел тронуться порчей. Еще более разительные перемены обнаруживаются утром, после путешествия по мелководью старушечьих снов и в багровых глубинах ада (ад — это я, а вовсе не другие). Похоже, кто-то пытается нащупать меня и шарит наугад, натыкаясь на мои вещи в надежде проникнуть в меня, в мои сновидения,— кто-то, кому я нужен. Кто-то ищет меня, и я не знаю до сих пор, радоваться этому или ужасаться. Я пробую вообразить человека, который — быть может, помимо своей воли — пустился в путь, принялся за дело, столь же человеческое, сколь и трагическое, который ищет другого, ибо без другого не может осуществиться его собственное «я». Мучительное, небезопасное, хотя иногда и плодотворное приключение, слишком уж напоминающее поиски Бога,— движение по кругу — в самом совершенном и чудовищном из лабиринтов вечности...

Кого же я жду? Женщину? Бога? Неумолимого врага?

Одиночество — это ожидание. Я смертен, ergo — я должен ждать. Всегда быть готовым к встрече. К любви и смерти. Ибо не существует никакого будущего, кроме того, что зовется «сейчас». Страшно оттого, что страх или незнание могут разлучить меня с теми или с тем, кого я жду, и этот страх вызывает боль — главное сокровище моей коллекции болей...

Наконец я растягиваюсь на тахте и засыпаю.

На рассвете особенно неприятно бульканье вновь ожившего лифта. Это не ко мне, не ко мне. Не ко мне.

Приподнявшись на локте, я тупо смотрю на птицу, опустившуюся вдруг на подоконник и замершую, уткнувшись клювом в ледяное стекло. На что она уставилась? Ага, на апельсин. Даже отсюда мне видно, что плод уже несъедобен: он сгнил.

Испугавшись моего движения, птица улетела. Я могу длить и длить ее полет в своих сновидениях, как она может длить и длить мою жизнь в своих. Впрочем, возможно, что ее память и воображение захвачены апельсином, продолжающим разлагаться на столе...

Ивовые заросли

...И что бы ни случилось с нами,
мы входим в пламя или в пламя.
Томас С. Элиот

В юности я написал рассказ — сейчас я думаю, что это неважная проза,— в котором главный герой во сне и наяву мучительно ищет брата-близнеца: однажды они разминулись в густом ивняке — в джунглях провинциального детства. Даже, находясь далеко друг от друга, братья остро чувствовали, что происходит с другой «половинкой». И вот один из них навсегда пропадает в ивовых зарослях в треугольнике между рекой, забором бумажной фабрики и дамбой, по верху которой проложена дорога, обсаженная ветхими липами. Поиски безрезультатны, родители безутешны. Но оставшийся мальчик уверен в том, что брат жив, хотя и не может объяснить, на чем основывается его убеждение. И всю жизнь его не оставляет смутное и мучительное ощущение неполноты бытия вдали от брата. Наконец — через годы — он приезжает в городок своего детства и спускается в ивовые заросли. Легкое золото солнечного света льется сквозь невесомую зелень, плещется на глинистых дорожках, и по мере углубления в заросли тревога оставляет мужчину, который вдруг отчетливо понимает, что мелькнувший за поворотом мальчик — его брат и они вот-вот встретятся, соединятся, станут *целым,* то есть *исцелятся,* и жизнь приобретет не только завершенность, но и *цель.* Эта последняя встреча — встреча с собой — замыкает круг бытия, где смерть противостоит рождению, но не жизни...

Иногда в моих сновидениях возникает другая комната. Еще одна — та, которой у меня нет. Чаще всего этот сон случается, когда боль становится невыносимой, когда кажется, что уперся головой в непробиваемую стену и жить просто не стоит. Я встаю и вхожу в другую комнату. Старенький платяной шкаф с катушкой из-под ниток вместо ручки, узкая железная кровать. У окна с пепельно-серой тюлевой занавеской — письменный стол, над которым склонился мальчик лет одиннадцати-двенадцати. Машинальным движением локтя — этот жест одиночества мне слишком хорошо знаком — он прикрывает книгу, но ко мне не оборачивается, только ниже склоняется над столом. А я почему-то не могу сделать хотя бы шаг — вероятно, таковы законы этого сна. В комнате зеленоватый аквариумный полусвет. Мы не произносим ни слова. Я не знаю, сколько длится наша молчаливая встреча. Ничего не происходит. Возможно, мальчик за столом — я (а увидеть себя во сне — дурная примета). Наконец картина начинает меркнуть, расплывается, гаснет. Все. Жаль только, что не удалось рассмотреть название книги. Я просыпаюсь. И хотя жизнь вроде бы ничуть не изменилась, боль уже не кажется безысходной — это, конечно, не *исцеление,* но жизнь, пусть ненадолго, обретает *цель*...

Когда она умерла, мне было двадцать пять. Она была на год старше меня. Ее хоронили поздним январским вечером, в пургу при тридцатиградусном морозе. Пришлось сжечь на отведенном участке кладбища десяток автопокрышек, прежде чем почва стала поддаваться киркам, но все равно могилу копали часов пять. Началось настоящее снегопреставление. Прощание было торопливым: ежеминутно приходилось смахивать с ее лица толстый слой снега. Она была в светлом летнем платье с неглубоким вырезом, не скрывавшим начала шрама, оставшегося после вскрытия. «Разрез по Шору,— вдруг прошептал кто-то.— Очень удобно: одним махом добираются до сердца, легких, печени... Очень удобно».

Как ни странно, мучения мои начались лишь спустя полгода. Я вдруг вспомнил, что ни разу не сказал, что люблю ее. Вспомнил размолвки, ночи и Элтона Джона — «Singleman» — с магнитофона «Дайна», венгерское вино и дешевые

литовские сигареты без фильтра, наконец, самое мучительное — тех, кто был у нее до меня... Я пытался забыть ту боль, что причинил ей, но не смог, как не смог вспомнить тех трех слов, которые она произнесла в первую нашу ночь (это не было признанием в любви). Головокружительный вкус ее дыхания, интонацию — помню, но не слова.

Первое письмо я написал в июле — в годовщину нашей свадьбы. Второе — через неделю. Вскоре это превратилось в потребность, в необходимость, в нужду. Я писал почти каждый день по пять — семь страниц и отправлял на собственный адрес. Вскрывал и читал свои признания ей. Однажды я достал из почтового ящика конверт, надписанный ее почерком: «Я знала, что ты любишь меня, я верю, что мы никогда не расстанемся...» Она немного шепелявила, и я дразнил Дашу — Дафой. Об этом знали только мы. Этим прозвищем и было подписано послание. Я не писал такого письма, я понимал, что это безумие, тем не менее я ответил.

Следующей весной в уличной толпе я увидел ее. Узнал по походке, по характерному наклону головы и манере держать правую руку на отлете, однако не успел догнать.

Может быть, все дело в тогдашнем моем неудержимом пьянстве, но, когда однажды вечером я снова встретил ее на улице, я тотчас бросился следом и схватил ее за руку. Она не удивилась. Наша ночь длилась, наверное, тысячу ночей. Больше всего я боялся утра, хотя и понимал, что оно не может не наступить. Чтобы отсрочить неизбежное, я безудержно читал стихи — свои и чужие, бормотал в темноте, едва различая тонкий абрис ее лица.

Вдруг проснувшись, я увидел ее в дверях: она вскинула сумочку на плечо и шагнула за порог,— я с трудом, еще не понимая, сон это или явь, сполз с кровати, кое-как оделся и побежал вниз, на звук ее шагов. Улица тонула в густом утреннем тумане, наползавшем с Преголи,— и я увидел, увидел ее — уходившую, уходящую, исчезающую, чтобы — пока жива моя память, пока жива наша память, пока живы эти строки — оставалась надежда на встречу...

Надо ли объяснять, почему я сжег нашу переписку?

Как ни прибавляй ходу, от него не оторваться. Он загнал меня в безлюдную ночную улицу с немногими фонарями, бросающими тускло-желтые пятна на сплошные бетонные заборы, за которыми высятся решетчатые скелеты подъемных кранов, трубы и башни. Улица кажется бесконечной. Никакого укрытия. Я слышу тяжелое дыхание преследователя — и снова бросаюсь бежать. Похоже, долго мне не выдержать. Забор справа вдруг обрывается — я сворачиваю к многоэтажному дому с выбитыми окнами и дверями. Но мгновенная вспышка надежды — затеряться в лабиринте этажей, коридоров, комнат — тотчас сменяется отчаянием: дверь, в которую я метнулся, вела в тупик. Я прижимаюсь спиной к шершавому кирпичу, медленно опускаюсь на корточки, шарю по загаженному полу в поисках обломка кирпича или палки,— дыхание и шаги преследователя приближаются, вот он уже метрах в пяти, нет, метрах в трех от меня, сердце болит, мышцы сводит, я уже различаю его черный силуэт, он останавливается... «Боже! — с трудом выдавливаю я из пересохшего горла.— Ну что вам от меня нужно?» «Вот уж нет! — со злобой в голосе возражает он.— Чего *вы* от меня хотите? Ведь это *ваш* сон».

Быть может, самое любопытное в процессе чтения — неуловимый момент превращения читающего в читаемое, читателя — в книгу, которая в какой-то миг начинает нас читать. И даже странно, почему, дочитав до конца, мы не меняемся физически: ведь за эти часы или дни прожито столько новых жизней и заново — собственная. Иногда это ощущение вызывает у меня радость, иногда — ужас.

Читая Рильке, я становлюсь деревом на склоне холма, вчерашней улицей, верностью привычкам, самой ночью, всей жизнью — оставаясь собою, всеми людьми...

Мусульмане убеждены в том, что текст Корана до поры хранился под престолом Аллаха. Во время ночных бдений Магомета на горе Хира близ Мекки ему явился ангел Джибрил, заставивший неуча-простеца прочесть текст священной книги. И Магомет стал Тем-Кто-Прочитал — «печатью пророков», основателем ислама и создателем мусульманского государства. Таков был выбор читателя, который, по существу, стал книгой — Аль Китаб: он был избран Аллахом, и он избрал Аллаха.

В своей «Исповеди» святой Августин рассказывает, как однажды он сидел в задумчивости под смоковницей и вдруг услышал детский голос: «Tolle, lege!» — «Возьми, читай!» Он открыл Библию наугад и прочел: «...облекитесь в Господа Иисуса Христа...» С этого началось его обращение в христианство.

Рильке полагал, что наша жизнь — истолкование мира, который есть проявление подлинного бытия, то есть Бога (впрочем, его Бога трудно идентифицировать с определенной религией). Запечатленный на бумаге сон — литература — и есть подлинная жизнь, Бог иудеев и эллинов, мусульман и христиан.

У сновидений нет ни прошлого, ни будущего, их время — всегда.

В одной из Дуинских элегий — в Восьмой — поэт писал, что те, кому зримо истинное бытие, оставляют смерть позади и следуют за Богом в вечность. Так Данте почтительно следует за Вергилием и Бернаром Клервоским, путешествуя in aeternis temporalia, как выразился богослов раннего Средневековья Ириней Лионский,— во времени вечности.

Шелленгианец Краузе утверждал, что Бог есть единство взаимодействующих духа и тела — прообраз, модель грядущего единства человечества. Исследователи считают, что Рильке многим обязан Карлу Христиану Фридриху Краузе, прославившемуся своим возвышенно-наивным призывом к всемирному союзу народов.

Упоминаемый в Коране (89:6) «многоколонный Ирам» (Ирам зат альимад) — сооружение из драгоценных камней и металлов — комментаторы связывают с преданием о городе южноаравийского царя Шаддада, построенном в подражание джанне — раю. Эта кощунственная затея вызвала гнев Аллаха, и он разрушил чудо в пустыне. Но и спустя столетия этот город — призрак рая, мечта, сон — непостижимым образом иногда является людям, утешая, маня и обманывая.

Рай — это не «вчера» и не «завтра», он — «всегда», он одновременно «еще» и «уже» — и тем подобен аду (Томас Манн как-то написал, что нет в песнях ангельских ни одной ноты, какой не было бы в воплях дьявольских).

Мы еще не ушли, но уже уходим.

Увы, нам никогда не забыть, но никогда же и не вспомнить всего того, что нам хотелось бы забыть или вспомнить.

Мартин Бубер заметил, что еврейское слово «конец» (в словосочетании «конец света») означает еще и «цель». Мир, движущийся к неизбежному концу, обретает цель, придающую смысл человеческому существованию. Тора начинается со второй буквы еврейского алфавита — «бет». По мнению комментаторов, это не случайно: к истинному началу — «алеф» — человек обречен стремиться безо всякой надежды на достижение цели, однако только этим стремлением и оправдана жизнь человеческая, само существование человека, который есть процесс, движение, порыв. Ибо он — causa fiendi, causa movens, causa finalis. То есть, употребляя выражение Спинозы (по иному, правда, поводу),— causa sui.

«В моем начале — мой конец, в моем конце — мое начало» — таков был девиз Марии Стюарт.

Что остается?

Другая комната. Книга. Ивовые заросли, где мы непременно встретимся, брат мой, встретимся, моя любимая...

А еще — дерево на склоне холма, вчерашняя улица, верность привычкам, ночь...

Ночь

Темен мой путь, и печальны мои воскресенья...

А когда ночью вдруг подойдешь к окну в затараканенной кухне и посмотришь на зимнюю бесснежную голизну московского пригорода — тупо, как на неожиданную смерть свою,— что, кроме глупейшего отчаянья, прихлынет к душе, подступит и обымет, как воды последнего потопа?..

Темен мой путь...

Ну и что?

Да мало ли в огромной и бесчеловечной Москве отупевших от усталости людей, которые вечерами проклинают свое существование, затягиваясь едкой сигаретой у кухонного окна...

Темен мой путь, и печальны мои воскресенья...

Слово в календаре — «воскресенье» — давным-давно утратило связь с тем Словом, что обещало надежду.

Я не могу вернуться к письменному столу, и что-то происходит с горлом, когда я слышу, как любимая женщина стонет во сне, я проклинаю время, которое слишком быстро уходит, но продолжаю медлить у окна, словно в моем распоряжении — вечность. Ни огня, ни стужи, и это-то погружает меня в бездну печали, которая всегда кажется безысходной. Всегда — то есть до утра.

Ночь. Die tiefe Mittelnacht.

Was schpricht die tiefe Mittelnacht?*

Ничего.

Сердце переполняется любовью, отчаянием, горячей горечью, наконец оно становится просто — болью слева.

Ничего не произойдет этой ночью. И этой ночью.

Но однажды, когда Тот, Кто вяжет и развязывает, сочтет мою судьбу исполнившейся и в последний раз напомнит, что жизнь — это всего-навсего «хавэл», дуновение,— вдруг — и наверняка — вспомнится и эта ночь, и безумная жалость обымет сердце мое, ибо мне — несомненно — вновь захочется пережить эту ночь, когда я у кухонного окна, затягиваясь едкой сигаретой, мучился тем, что темен мой путь и печальны мои воскресенья, ибо воскрешенья — не будет, а тем, что другие примут за воскрешенье, будут владеть другие люди — не я, не я...

Третий

Последний имени векам
Не передал...
А. Пушкин. «Египетские ночи»

Профиль юности бессмертной...
М. Голодный, Д. Кедрин

Любовь? Вряд ли. То есть нет, конечно — да. Но — какая ж это любовь, скажите на милость? Страсть... ну, это еще может быть. Одержимость. Впрочем, все равно не знаю и не скажу определенно, что же это такое, эти «Египетские ночи» пушкинские, не проза, нет, в ней Пушкина не так уж и много, но стихи, та самая псевдоитальянская псевдоимпровизация: *«Чертог сиял. Гремели хором...»*

Совру, если возьмусь утверждать, будто принял это стихотворение, эту пьесу сразу и раз и навсегда. Ничуть не бывало: прочел-то впервые в школе, следовательно, ни понять, ни полюбить не мог и даже, кажется, остался совершенно

* Что скажет глубокая ночь? (Ницше)

равнодушен, так что и не запомнилось ни строчки. Ну — чертог, ну — сиял. Представлялся какой-то огромный зал вроде театрального, люди в бархатных креслах, в шитых золотом мундирах, в шелке и тюле, слепые гипсы по стенам, люстра на цепях... Возникло и пропало. Через несколько лет вновь возникло — не чертог, плевать бы на него,— я стал читать эту пьесу под воздействием Достоевского, сгустившего до чрезвычайности, до осязаемости, до ожога образ Клеопатры в образы своих безумных грушенек. И опять показалось, что речь идет вовсе не о любви, но о какой-то совершенно сумасшедшей, испепеляющей, чудовищной страсти — гибельной и небывало огромной, как бы объемлющей разом ад и рай:

Скажите, кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?

Какая ж это любовь? Это нечто за всеми мыслимыми пределами, над людьми, вне людей, тут нужно быть Богом с его непостижимой объективностью, воистину — Творцом, среди творений которого равноприемлемы жизнь и смерть. В мире превыше всякого ума. А мы? А я? Ценою жизни... Что ж это за женщина должна быть, о Боже (корона, возможно, и красит женщину — на троне, но не на ложе), что за обещанная ночь, что за ласки — и, наконец, что за мужчины, готовые на плаху после этой самой ночи? Не бывает. Это и было первое мое душевное движение: не бывает. Движение вовсе не литературное, не эстетическое, а просто — от жизни, от слепой силы, которая жила в семнадцатилетнем мальчишке. За любовь — смерть? Но любовь процесс, и длительный, это ведь только Хемингуэй каждый свой трах называл «любовью» (нет ничего пошлее выражения «заниматься любовью»). Значит, за несколькочасовые физупражнения — смерть? Да ни за что! Конечно, эгоизм юности, свято верующей в свое бессмертие. Смерть? Мне — умереть? Этого не может быть, потому что этого не может быть ни за что. Ведь дело даже не в том, что я не увижу больше какого-нибудь глупого солнца или еще более глупого неба, моих родных, близких — или чего там еще напридумывали люди? — нет! Меня не будет, а все остальное — будет? Нет, да нет же! Не будет натертой ботинком пятки? Не будет сохранившихся только в моей памяти ночей над Стивенсоном? Влажного холода первого поцелуя? Дрожи при звуках первой строки лермонтовского «Бородина»? Моей, понимаете? Моя смерть — это все-смерть, коллапс истории, коллапс Вселенной, которые существуют, пока существую я. Детский идеализм, конечно же,— ну и к черту! Ведь проще простого с усталоумудренным видом болтать про метаморфозы, про «все уходит», про «вечную жизнь в потомстве» — мне-то что до этого, если меня — не будет? Не хочу в потомстве, хочу сейчас, хочу — всегда. Наверное, такие-то чувствования и толкают людей к религии, музыке и поэзии, а не к лопуху на земляном холмике, и пусть лопух правда, что ж, тем хуже для правды. Незрелость, конечно. Понятно мне было умом — и тогда, что через тридцать лет, когда укатают этого самого сивку те самые горки, все будет иначе, но тридцать лет еще прожить надо. И что: отдать — за ночь? Какова царица! Настасья Филипповна, Грушенька, паучиха, ей-ей. Дрожь прохватывает.

Рекла — и ужас всех объемлет,
И страстью вздрогнули сердца...

Ужас и страсть. Желание и отвращение. Или это тот ужас, что охватывает верующих при явлении божества? Священный ужас. Ведь речь-то — о жертве на алтарь богов, о высоком служении. Жертвоприношение как попытка достигнуть непостижимо высокой, божественной гармонии, вмещающей слезы и радость, примиряющей палача и жертву, беспредельную и мерзкую жестокость и беспредельное благоволение. Что-то в духе развесело-торжественной Gaudeamus igitur с ее шоково-патетическим nos habebit gumus (нас поглотит прах).

Ну да что ж, трое смельчаков уже выступили из ошеломленной толпы.

Свершилось: куплены три ночи,
И ложе смерти их зовет.

Близость смерти и любви продемонстрирована предельно ясно и даже сухо, как в каком-нибудь газетном отчете. Достоевский говорил, что философия есть высший градус поэзии. Пушкин утверждает двумя строками: поэзия и философия суть одно целое.

И первый — Флавий, воин смелый,
В дружинах римских поседелый;
Снести не мог он от жены
Высокомерного презренья;
Он принял вызов наслажденья,
Как принимал во дни войны
Он вызов дерзкого сраженья.

Образ банальный (что подчеркивается и набором банальных эпитетов,— разве что «вызов наслажденья» стоит особняком), ясный, психологически завершенный. Скорее даже символ, неотличимый от других, таких же, не имеющих индивидуальной тайны, а ведь именно обладание тайной отличает человека от животных. Молодая жена (ровня тут никак не укладывается), презрение к вышедшему в тираж вояке, вряд ли утонченному, вряд ли знатному, вряд ли умному — ну, разве что не бедному. Надоело ему лаяться с капризной бабой, сносить ее шипение и шпыняния, ее придирки и менструальное нытье, надоели кряхтение, жалобы и пьяненькие воспоминания старых товарищей, надоело, наконец, тратить золото бытия на медь быта,— а, была не была, пан или пропал, то есть, конечно, сначала пан, а уж потом — пропал. Но ведь за ночь с Клеопатрой, с царицей: стать властелином этого тела (не важно — какого, важно — Клеопатриного), стать триумфатором, царем...

Вот и второй.

За ним Критон, младой мудрец,
Рожденный в рощах Эпикура,
Критон, поклонник и певец
Харит, Киприды и Амура...

Эпикуреец. Но не в гегелевском понимании, оказавшем такое влияние на восприятие Эпикура обыденным сознанием. Не жуир, бонвиван и т. п. Но философ, призывающий к мужеству, к бесстрашию перед лицом смерти и безжалостных богов,— тот, кто писал Идоменею: «В этот счастливый и вместе с тем последний день моей жизни я пишу вам следующее. Страдания при мочеиспускании и кровавый понос идут своим чередом, не оставляя своей чрезмерной силы. Но всему этому противоборствует душевная радость при воспоминании бывших у нас рассуждений». Хариты, Киприда и Амур рядышком — не по воле Пушкина, разумеется,— со страданиями при мочеиспускании и кровавым поносом. В 1835 году Пушкин уже мог бы допустить подобное соседство (хотя стихотворная часть «Ночей» писалась с 1824 года). Гегелевский эпикуреец не встал бы под пистолет на Черной речке.

Третий.

Любезный сердцу и очам,
Как вешний цвет едва развитый,
Последний имени векам
Не передал. Его ланиты
Пух первый нежно оттенял;
Восторг в очах его сиял;
Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом...

(Боже! «Кипела в сердце молодом»! «Ланиты»! Это, конечно же, не тридцатишестилетний Пушкин, это итальянец, жалкий импровизатор, без строф которого не обойтись сюжету малоподвижной прозы,— и довольно.) Кто он, тре-

тий? Пух первый — это ведь еще мальчик. И — готов к смерти, к гибельному служению мощной Киприде (великолепный эпитет, искупающий существование всех этих «гордых», «любезных» и проч.) и подземным царям — одновременно.

Повзрослев, он мог бы стать Печориным. Или Акакием Акакиевичем. Или Девушкиным. Но сейчас — кто он? Проще всего предположить: Пушкин, и это не будет чудовищной клеветой. Тридцатишестилетний поэт, вспоминающий себя двадцатишестилетнего. Он еще не старик Флавий, но уже не младой мудрец Критон — кто ж он? Он не знает, он пытается понять, обращаясь в свое прошлое, к стихам одиннадцатилетней давности. Тоска по романтизму? Да не был он «стандартным» романтиком никогда, хоть и называли его иные критики «Байроном для бедных» (а иные — их воображение вполне можно сравнить с выгребной ямой, полной гниющих чудовищ,— Мортириным). Он уже иной, иной, ему уже не дописать того стихотворения, ему уже просто неинтересно рассказывать еще одну романтическую историю о пламенном юнце, покупающем ценою жизни ночь Клеопатры. Но юноша не умер, как не умер и мальчик, и он приводит его на пир. К расчету.

Что привело его в Египет? В роковой блистающий чертог? Тысячеустая молва о прекрасной царице. Мечта. Он оставил дома родителей, друзей, хотя не исключено, что это они его оставили, изгнали, не поняв его инакости. Быть может, ему пришлось украсть или даже убить, чтобы добраться до этого дворца — до мечты. Ох уж эти русские мальчики, годами млеющие на плешивых диванах — и вдруг ни с того ни с сего вроде бы хватающиеся за топор... Он отринул прошлое, пришел сюда, сидит за столом (возлежит), он поел и выпил вина, ему хорошо, он видит Клеопатру — блистающую и недоступную, он слышит славословия ее красоте, воспринимая их как гимн Красоте, и мучительно ему сознавать, что никогда он не отважится приблизиться к этим мужчинам и женщинам, а уж тем более к царице, хотя ему хочется — так хочется! — именно этого: хоть как-нибудь, каким угодно образом и способом привлечь ее внимание. Да, он готов к подвигу: вот сейчас ворвутся разбойники, перебьют всех, бросятся к Ней, и только он, с пылающим взором и сердцем, останется с Нею и спасет Ее. Нет, вот сейчас он встанет и прочтет стихи, которые потрясут всех, исторгнут слезы у Нее, а он, небрежно поклонившись, уйдет, и Она пошлет за ним, и его будут искать всюду... нет, он не отважится... Он уйдет в другие края, завладеет сокровищами жестоких колдунов, покорит царства великанов, вернется в Египет — грозен, безжалостен и влюблен, швырнет к Ее ногам сокровища, сушеные сердца трехсот царей и их земли — и уйдет, а Она окликнет его голосом робкой девочки: «Постой...»

Он очнулся.

Почему все вдруг замолчали?

Внемлите ж мне: могу равенство
Меж вами я восстановить.

Конечно, равенство — с этим, что вокруг, с миром земным и подземным, равенство перед смертью, перед будущим.

Кто к торгу страстному приступит?
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?

(Если и не удалось Пушкину подняться до шекспировых высот в драматургии, то эти четыре строки — вровень с высшими взлетами уроженца Стратфорда, тут уже не итальянец-импровизатор.) Ночь! Как много! Ночь. Тулон. Смерть? Вечная ночь. Вот он случай, выхватывающий человека из толпы и возносящий над законом, над привычным порядком вещей. Есть упоение... Есть! есть!

Из толпы выходит человек с седыми висками. Бесстрастное лицо. Грузноват. Звероват.

А вот и второй. Улыбаясь, отдает чашу с вином соседу, говорит что-то вполголоса, приветствует царицу красивым жестом.

А третий? И вдруг он — он! — шагнул вперед. Он ли? Есть сила пострашнее человека, пострашнее любви. Нет, это не он шагнул, но тот, кто готов взглянуть в лицо смерти — в лицо Красоте. Грядущее — грозно. Но жребий брошен. Первым — Флавий. Следом — Критон. Он — Третий. Впереди две ночи и два дня, прежде чем придет его срок, его час. Две ночи и два дня волнений, отчаяния, самого жуткого ужаса (умереть? — боже! бо-о-о-же!), самой безумной, безумнейшей, наибезумнейшей надежды; две ночи и два дня пьяной отваги и трезвой трусости, и любопытствующих взглядов, и тревожно-скользких улыбок желтолицых жрецов, и едкой ревности, и бессильного сострадания...

Наутро народу покажут голову Флавия, а он будет неотрывно смотреть на широколезвийный меч у ног бритоголового палача: вот этим топором... то есть мечом... Вот и он — и он! — выйдя из ее спальни, замрет на пороге, увидев перед собою этих двоих в пурпурных балахонах, с кожаными масками на лицах, в складках бычьих шей поблескивают капельки пота, сто шагов прямо, семьдесят налево, взгляд из-за пыльной портьеры, еще сорок шагов, зачем он считает, и еще двадцать, через дворик ведут быка, щербатый мальчуган мочится на стену, арка, рассохшаяся дверь, тесная комнатенка, затянутая паутиной, глиняный пол, выщербленная колода, зевающий бритоголовый человек с широколезвийным топором — все же с топором, солнечный луч, бритоголовый ребром ладони смахивает с колоды соломинки, куриные перышки, снова зевает... Нет! нет! никогда! Бежать, скрыться, спрятаться в тростниковых зарослях, питаться лягушками, уйти в подземные пыльные необитаемые лабиринты, в услужение к немым жрецам, сносить унижения плоти, зажать дух в тисках раскаленного «нельзя» — но жить! жить! жить! И целый день впереди, целый век, и никто не стережет его, он волен уйти в любой миг, хоть сейчас, конечно, вот прямо сейчас, да хоть и криво сейчас, за той портьерой — шумная улица, сладкие морды торговцев, подвыпившие легионеры, замасленные шлюхи со стальными ключицами, волы, шарлатаны, крестьяне, выбеленное жарой небо, тусклый блеск реки... Уйти? Нет. Он, конечно, уйдет, но потом, после, ведь еще есть время — ночь и день.

Вечером случайно он увидел царицу: усталая женщина с жирноватой кожей, неприязненное выражение лица, раздражена, провинившуюся рабыню уволакивают, царица поймала взгляд юноши — вымученно улыбнулась... Ночью ему прислали женщину, но он отказался. Его опыт... Пришедшая с родителями в гости девочка — презрительно надутые губки — неожиданно прижалась к нему, они спрятались от родителей и гостей, девочка взяла его рукой, он взорвался, слезы потекли, она убежала. В канун совершеннолетия отец подарил ему рабыню-гречанку, рослую, сильную, с холодным плоским животом и маленькой твердой грудью. Она обучала его деловито и бесстрастно. Вот и весь опыт. Да что это он? Прочь! Не об опыте речь — о любви и смерти.

Утром он не пошел смотреть на отрубленную голову Критона. Остался в своей комнате. Услыхав глухой ропот толпы, застонал...

...под смертною секирой
Глава счастливца отпадет.

Флавий, Критон... Он опоздал, бежать поздно. Его черед. Неужели царица так безжалостна? А грусть, а умиление в ее взоре, остановившемся на нем? Ничего не значат? Нет, нет, не может быть! Когда они будут лежать рядом, уже пережив вспышку страсти, он расскажет ей — все, все расскажет: про мечты свои, про жизнь, про то, как нужна ему эта жизнь... Она не может не понять. Зачем? О чем он? До наступления ночи осталось совсем мало. Боже! Ведь если ему через несколько часов предстоит начать путешествие в смерть, значит, каждый из этих часов поистине равен годам, отпущенным на добро и зло, на мечты и свершенья, а он — лежит! Валяется на тюфяке, глядя в окно на ласточек, как будто в запасе у него вечность. Он рассмеялся: так ведь и есть, вечность. Ему уже не успеть спасти красавицу от разбойников, родину — от захватчиков, ему не успеть создать величайшую пирамиду или на худой конец величайшую книгу, не

успеть сокрушить царства и слить народы в братских объятиях... Он так и не узнает, кто он: поэт, государственный деятель, помещик или рогоносец при красавице жене. Он просто он. Одинокий. Единственный. Третий. Это все, что останется.

Но только утренней порфирой
Аврора вечная блеснет,
Клянусь — под смертною секирой
Глава счастливцев отпадет.

Царица ждет его. Сопровождаемый красивыми рабынями, он шествует в бассейн. Под звуки арф девушки массируют и умащают его тело. Одевают. Готовят к встрече. Его ждет она. Сладостная, сладкая любовью... Нет! он еще вправе отказаться! уйти! вернуться... Но куда? Прошлое уже случилось, сожжено, там — огонь, но и впереди — огонь. Нет пути.

Лишь выбор между пламенами —
от пламени спасает пламя.

Позади — «Руслан», уже позади — «Онегин» и «Капитанская дочка», настоящее мучительно, его словно и нету. А впереди? Бог весть. Красота, правда, смерть — все одно и то же... Он должен — иначе уже нельзя — познать эту надчеловеческую, бесчеловечную гармонию истории (люди живут по законам человеческим, народы — по бесчеловечным законам). Царица ждет. Портьеры, музыка, взгляды. Кажется, он торопится, надо попридержать шаг. Он исполнен мужества и мудрости. Дела — участь остальных, его удел — деяния. Снова поворот. Низко кланяется бритоголовый, ссадинка за ухом, вот и последняя дверь, тянет холодом. Откуда этот звук? Врата ада? рая? — створки расходятся, никого, он один, задыхающийся, почти ослепший, на пороге. Гул. Не сердце ли? не новые ли стихи? Не до поэмы — жизнь идет. Он на пороге, в полутьме он видит Ее, и радость, неведомая живым людям, болезненно распирает его грудь...

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!

Бессмертье. Между жизнью и смертью.

И что бы ни случилось с нами,
Мы входим в пламя или в пламя.

Пламя и пламя. Он должен сделать этот шаг. Он платит. Он делает шаг.

Боб Грин, loneman

В сентябре 1592 года в доме небогатого лондонского сапожника Айсема умер Роберт Грин. Последние дни его были ужасны. Оставленный друзьями, но, как написал злобствующий современник, исправно посещаемый полчищами вшей, Грин напоследок со слезами на глазах вымолил у хозяйки мальвазии на один пенни. Эта же достойная дама, выполняя последнюю волю Грина, увенчала его чело лавровым венком. При сем присутствовали его любовница, «несчастная оборванная шлюха», и их незаконнорожденный сын. Сцена, исполненная истерического драматизма, вообще говоря, чрезвычайно характерна для биографии Грина, который прославился как один из реформаторов английского театра, плодовитый прозаик и блестящий памфлетист, основоположник скандальной журналистики. Что ж, хорошие книги пишут не хорошие люди, а хорошие писатели.

Однако в истории литературы этот человек остался вовсе даже не благодаря своему маленькому шедевру «Монах Бэкон и монах Банги». Он «автор», пожалуй, самого громкого скандала в истории английской культуры. Человек, публично обвинивший великого Шекспира в плагиате,— не самая завидная ха-

рактеристика для того, кто считал себя солью земли, а остался в памяти литературы несколькими строками. Да и то во многом благодаря тому, на кого ополчился, то есть Шекспиру.

Роберт Грин родился в семье состоятельного шорника из Нориджа в 1558 году, получил, как и Шекспир, образование в местной грамматической школе, где под надзором мэра и олдерменов обучались «шесть дюжин и еще восемь учеников». В 1580 году он получает степень бакалавра искусств в Кембридже и отправляется в путешествие за границу (Италия и Испания). Вскоре в том же университете он защищает магистерскую диссертацию, о чем не устает напоминать друзьям и врагам до самой смерти.

Боб Грин принадлежал к плеяде «университетских умов» (Лодж, Нэш, Пиль, Марло и др.), предшественников Шекспира. Эти провинциалы решительно рвали со своим прошлым, с «почвой», оседали в Лондоне, где снабжали книгоиздателей и владельцев театров романами, памфлетами и пьесами. Жизнь их была непристойной, блестящей, бурной и, как правило, короткой. Жизнь Роберта Грина — не исключение. Он пьянствовал и дебоширил в тавернах (хозяйка таверны «Красная решетка» была его любовницей), дружил с ворами и их подружками, знаменитый лондонский бандит по прозвищу Болл-Нож, завершивший свой жизненный путь на виселице в Тайберне, был лучшим его другом (а его сестра — подругой и матерью его сына). Иногда на Грина вдруг накатывало просветление. Однажды он случайно забрел в церковь святого Андрея в Норидже, где проповедовал известный «нориджский апостол» Джон Мор, который вызвал в его воображении картины Страшного Суда. Грин раскаялся и начал новую жизнь, женившись на добродетельной Доротее, подарившей ему сына. Однако вскоре, промотав состояние жены, Грин бросает ее на произвол судьбы в Линкольншире и возвращается в Лондон — к перу и пиру.

При всем том этот распутник, драчун и алкоголик (последняя болезнь его была вызвана чрезмерным увлечением рейнским вином и маринованной селедкой) умудрился написать пьесы «Альфонс, король Арагонский», «Джеймс IV», «Зерцало для Лондона и Англии», «Неистовый Орландо», романы «Менафон», «Пандосто» (послуживший материалом для шекспировской «Зимней сказки»); ему же приписывают и изданную посмертно «Приятную комедию о Джордже Грине, Векфилдском полевом стороже»...

Последние несколько лет жизни стали для Грина особенно тяжелыми: пожары уничтожали театры, появились новые драматические труппы, энергично вытеснявшие «стариков», а главное — уже многие понимали, кто есть кто в театральном мире: звезда Грина и его друзей закатывалась — восходила звезда Шекспира. И хотя чиновник, плативший за спектакли при королевском дворе, еще и десять лет спустя в ведомости написал фамилию автора «Отелло» и «Венецианского купца» — Shaxbird, знатокам было ясно: начинается совершенно новая эпоха.

Для Роберта Грина в той эпохе места не было.

Не прошло и года со дня смерти Грина, как на паперти лондонского собора святого Павла появилось в продаже его сочинение «На грош ума, купленного за миллион раскаяний, описывающее безрассудство юности, ложь изменчивых лжецов, бедствия, которыми чревата неосмотрительность, а также зло, исходящее от вероломных куртизанок. Написанное перед смертью и опубликованное по его предсмертной просьбе». Эта повесть-памфлет содержит первое несомненное упоминание о Шекспире в Лондоне, хотя прямо имя великого драматурга в тексте не названо.

Обращаясь к друзьям-драматургам, Грин яростно обрушивается на актеров («нахалы», «куклы», «паяцы, разукрашенные в наши цвета»), которые, забыв о благодарности, оставили и самого Грина, и его товарищей без гроша, предпочитая им некоего провинциала, ловко переделывающего их старые пьесы в свои. «Не верьте им,— восклицает Грин,— есть выскочка-ворона среди них, украшенная нашим опереньем, кто «с сердцем тигра в шкуре лицедея» считает, что способен помпезно изрекать свой белый стих, как лучшие из вас, и он — чистейший

«мастер на все руки» — в своем воображеньи полагает себя единственным потрясателем сцены в стране».

Современники привыкли к «темному» стилю дошекспировских драматургов, которые насыщали свои пьесы аллюзиями из греческих и латинских авторов, нагромождая вычурные метафоры и образы подчас до полной неудобоваримости. Театралы тотчас соотнесли выражение «с сердцем тигра в шкуре лицедея» с репликой Йорка из шекспировского «Генриха VI: «О, сердце тигра в этой женской шкуре!» — поэтому ни для кого не было загадкой, в кого целил Грин, который вдобавок обыграл фамилию Шекспира (Shakespeare — потрясающий копьем), употребив созвучное ей выражение «потрясатель сцены» — shakesceen. Но эти шуточки ничто в сравнении с содержащимся во фрагменте обвинением, ключевым понятием которого является «выскочка-ворона».

Магистр искусств, обуреваемый ненавистью к разбогатевшим актерам-плебеям, которые, как ему казалось, довели его до нищеты, а кроме того, переживавший неприятное чувство из-за брошенного ему в лицо обвинения в жульничестве и двурушничестве (Грин сбыл одну и ту же пьесу двум театральным труппам), не случайно употребил слово «ворона» в своем предсмертном произведении.

Со времен Эзопа и Марциала, Макробия и Горация ворону было принято считать великой подражательницей, лишенной, однако, оригинального дара выдумки, творчества. Поэтому обвинение Грина современники истолковывали однозначно: мало того, что малообразованный Шекспир нагло выдает себя за того, кем он на самом деле не является, то есть за универсального гения («мастер на все руки»), он еще, как ворона античных басен, ворует «отборные цветы чужого остроумия», то есть, по существу, занимается плагиатом. Более грубого и злобного выпада не знала даже та эпоха, когда литераторы и театры нередко вступали в хамские перепалки, когда издатели присваивали себе чужие произведения, а пьесы и вовсе публиковались анонимно (в театр подсылался человек-«магнитофон», со слуха записывавший — и перевиравший — популярное произведение).

Вот уже четыреста лет шекспироведы ломают головы над каждым словом памфлета Грина, уточняя оттенки смыслов, особенности исторического контекста, исследуя судьбу «На грош ума» и реакцию на памфлет. Однако сегодня очевидно, что произведение это обладает исключительно искусствоведческим значением, характеризуя нравы и отношения той бурной театральной эпохи. И уже давным-давно никому и в голову не приходит всерьез сравнивать несомненное дарование Грина с гением Шекспира: недемократичная история и еще менее демократичная культура расставили все по местам. Все проблемы снимает один факт: словарь «вороны-выскочки» составляет 15 тысяч только основных слов (без словообразований), тогда как словарь признанного кудесника языка Гюго — лишь 9 тысяч.

Однако на судьбу и образ Роберта Грина можно взглянуть и по-иному. Провинциал, оторвавшийся от родной почвы и получивший блестящее образование, он ведь не нашел своего места и в Лондоне. Словно какой-то бес гнал его по жизни, не давая ни минуты покоя. Страх одиночества побудил его к раскаянию в Норидже и женитьбе на Доротее, но не тот же ли страх заставил его забыть и раскаяние, и Доротею, чтобы умчаться в Лондон и броситься в прежнюю безумную жизнь, больше напоминающую самосожжение? Он словно боялся однажды проснуться и увидеть в зеркале себя — настоящего и поэтому глушил себя вином, случайными связями, дебошами и драками.

Проблема одиночества творцов Ренессанса очевидна, хотя, кажется, и не исследована. Измученный собою, Грин — безотчетно, разумеется,— немало сделал для того, чтобы остаться хотя бы в истории литературы. Биография его нам ведома — иногда до тошнотворных подробностей. В этом смысле он полная противоположность Шекспиру. Тысячи исследований так и не дали полной картины жизни автора «Гамлета». Он ускользает от нашего пристального взгляда, поражая при этом банальностью и приземленностью судьбы: женитьба, много-

детное семейство, удачное вхождение в лондонский театральный бизнес, спокойный уход на покой — в Стратфорд, где он владел домами и давал деньги в рост... Этакий осторожный буржуа. Остальное — домыслы. Он словно дал себе слово не растрачивать себя во «внешней жизни», целиком и полностью погрузившись в творчество. Стать никем и ничем, что, по мнению теологов, равнозначно тому, чтобы стать Богом, Творцом грандиозного мира. И в этом мире нашлось место несчастному Грину. Не заключено ли в этом непостижимое по жестокости милосердие истории?

Магелланова магия

Бледное злато и тяжелый черный бархат, дюймовым обрезком которого можно убить зазевавшуюся мышь,— злато и бархат, дрожа и колеблясь, расходятся в стороны, и на сцену вступают мужчины со знаменами и барабанами, обтянутыми кожей крещеных ослов, трубачи с запрокинутыми, как у пьющих из горлышка, лицами, погромыхивающие черепашьими латами стражи с серебряными алебардами и громоздкими мушкетами, раздающиеся, чтобы дать дорогу великим полководцам в надушенных женских париках, верхом на черноатласных кобылах с сахарными зубами, вертким шелковоногим любовникам, умеющим своими игрушечными шпагами смертельно ужалить вражеское сердце,— дать дорогу прокаженным королям, ясноглазым юродивым и дамам, которым верхняя одежда служит нижним бельем,— все они располагаются на сцене почтительным кругом, в центре которого, положив шестипалую руку на эфес тяжелой шпаги и вздернув упрямый подбородок, обросший толстым маслянистым волосом,— капитан Фернан Магеллан, которому стальной позвоночник, выкованный лучшими толедскими мастерами, не позволяет принимать никакой иной позы, кроме надменно-величественной. Впрочем, ввиду его заслуг гордыня дозволена ему королевским указом, прощена постановлением Валенсийского собора и освящена смертью. Ему также предписано и после смерти отбрасывать тень — страшную тень.

До сих пор неизвестна точная дата рождения Фернана Магальянша: принято считать, что появился он на свет около 1480 года в португальской провинции Траз-уж-Монтиш. В 1505—1512 годах он совершил две дальние морские экспедиции, по возвращении из последней сочинил проект плавания западным путем к Молуккским островам («Если долго идти на запад, обязательно придешь на восток»), который был отвергнут королем португальским и в 1517 году принят королем испанским.

Около двух лет длилась подготовка к плаванию. И все это время Магеллан жил одиноко и замкнуто, не вступая в близость ни с кем, кроме чистенькой платной девушки из таверны «Красный бык». Утверждают, что перед отплытием они обвенчались, достоверно же известно, что душной сентябрьской ночью тридцатидевятилетний Магеллан сказал возлюбленной, роскошно раскинувшей свои храмы и пажити на златотканом покрывале: «Ты родишь мне дочь — чистую и звонкую, круглую и спелую, как яйцо или яблоко, чтобы по возвращении я мог на ней жениться в память о тебе. Ибо ты меня не дождешься, даже если останешься жива: глупцы полагают, будто я собираюсь покорить пространство, тогда как в действительности путь мой проляжет в вечности».

Глубокой ночью перед выходом в море капитан Магеллан тайком поднялся на борт флагманского корабля, держа в левой руке заговоренный гвоздь, закаленный в сперме висельника, и вколотил его в стойку штурвала двенадцатью ударами, после чего, зажмурившись и сотворив заклинание, вслепую нанес последний и главный — тринадцатый — удар.

В полдень 20 сентября 1519 года из испанской гавани Санлукар-де-Баррамеда вышли пять судов под командованием Фернана Магеллана. Когда умолкло эхо пушечного салюта, на белых парусах эскадры — это видели все, кто толпился на берегу,— вспыхнули алые кресты, что смутило людей: одни посчитали

этот знак хорошим предзнаменованием, другие же не могли скрыть недобрых предчувствий. Известная ведьма — рыночная торговка,— прежде чем перекреститься, опустила правую руку в чашу с лимонным соком, чтобы уничтожить запах рыбы и не смущать им Господа...

Переваливаясь с боку на бок, хрупкие корабли с трудом вскарабкивались на океанские холмы, чтобы со скрипом, хрустом и скрежетом, словно от боли вопя всем составом короба своего, сорваться вниз, в дымную бездну — и снова вознестись к бурному небу, трепеща грубыми парусами и пугая неосторожных атлантических русалок, которые еще не знали стыда и смущали матросов своими ледяными солеными грудями, крепкими, как панцири гигантских черепах...

Судовые журналы донесли до нас сведения об островах, открытых Магелланом задолго до Рабле и Дефо, Свифта и Голдинга, а также о странах, где все женщины — люди. На одном из островов некий англичанин и мизантроп Гулливер посоветовал разумным лошадям — гуингмам — оскопить грязных йеху, дабы прекратить существование мерзких человекоподобных скотов. Но, когда гуингмы, вознесшиеся разумом до эмпиреев Освенцима, вознамерились последовать этому совету, капитан Магеллан встал на сторону йеху, ибо, как записал он в судовом журнале, «если и выбирать между скотами теми и этими, я бы предпочел этих, пусть даже они исказили и унизили образ Божий,— искра Его в них осталась, и она важнее всех доводов разума».

В январе 1520 года экспедиция достигла устья Ла-Платы. Не отыскав прохода к западу, в феврале флотилия двинулась на юг и прошла две тысячи километров, открыв по пути большие заливы Сан-Матиас и Сан-Хорхе. Плавание измотало моряков, уставших от гнилой солонины, чар святого Эльма, то и дело глумливо зажигавшего свои кошмарные огни на верхушках корабельных мачт, и неукротимой суровости Магеллана. Когда раздраженные матросы затеяли драку на ножах, капитан разрешил биться до конца, но при условии — победитель будет повешен: «Что же это за победа, если ради нее не жертвуют жизнью?»

В экипажах усиливалось брожение, усугублявшееся вещими сновидениями и грязными слухами. Утверждали, будто по ночам, когда капитан спал, рост его увеличивался до пятнадцати футов,— в глазах команды это было неопровержимым свидетельством того, что Магеллан является чародеем. Бурей негодования встретили моряки известие о том, что в своей каюте Магеллан прячет женщину. Чтобы предотвратить мятеж, капитан открывает свою тайну: в его каюте и впрямь живет женщина — выпеченная из нежнейшего китайского фарфора, умеющая двигаться и ласкать прекрасная Хлоя, возлюбленная, оживающая после того, как душа ее наполняется горячей водой с добавлением душистой мальвазии. Он вынужден отдать женщину-игрушку матросам, а когда наконец она возвращается в его каюту, Магеллан смиренно, со слезами и на коленях, умоляет о прощении.

Утром он обнаружил в углу каюты груду фарфоровых осколков и угрюмо пробормотал: «Мое сердце — тухлое яйцо, из которого уже не вылупится ничего, кроме смерти...»

Но и эта жертва не спасла от беды. В марте 1520 года на стоянке в бухте Сан-Хулиан экипажи трех кораблей (на которых враз почернели паруса) поднимают мятеж, требуя возвращения в Испанию. После уединенной молитвы Магеллан призывает верного ему, но совершенно не владеющего латынью Гонсало Гомеса де Эспиносу и произносит фразу: «Occidendos esse» — «Должны быть убиты». До сих пор остается загадкой, почему Магеллан, вообще-то не отличавшийся щепетильностью, не отважился доверить приказ испанскому языку и как Эспиноса понял, что от него требуется. Наверное, разгадка заключается в том, что у любви и смерти свой язык, который превыше речи. Прибыв для переговоров на судно инсургентов и улучив момент, Эспиноса решает дело одним ударом кинжала, перерезав горло главарю мятежников.

Для успокоения матросов Магеллан отправляет на берег экспедицию, призванную добыть свежую провизию и женщин. Неся потери в стычках с крово-

жадными индейцами, испанцы углубляются в умопомрачительные леса, изобилующие призраками, дичью и сладкоголосыми птицами с девичьими бедрами цвета корицы, птицами златогрудыми и любвеобильными...

По возвращении экспедиции на корабли Магеллан устраивает пиршество с музыкой и вином. Две прекраснейшие девы-птицы ласкают мрачного капитана, который, однако, глух к их пению: «Лишь возлюбленная — кость в мужском члене»,— он тоскует о Хлое. Рано утром златогрудые девы, опасаясь, видимо, что испанцы могут потребовать назад свой драгоценный жидкий жемчуг, покидают эскадру: взмыв в высоту, недостижимую даже для мушкетной пули, они выстраиваются клином и растворяются в синеве южного неба.

В августе 1520 года Магеллан на четырех кораблях продолжает путь на юг — «Между востоком и вечностью» — и наконец открывает тот самый пролив, названный его именем, который выводит испанцев в бескрайний океан, названный спутниками Магальянша — Тихим.

После этого флотилия прошла без остановок семнадцать тысяч километров, открыв по пути несколько островов из группы Марианских, в том числе Гуам, и Филиппинских. Магеллан вступил в союз с царьком филиппинского острова Себу и предпринял ради него поход против соседнего острова Мактан, где и погиб в стычке с местными жителями. Утверждают, что он искал смерти и встретил ее с улыбкой, какая прежде появлялась на его суровом лице только при виде фарфоровой возлюбленной — Хлои.

В Испанию вернулось лишь одно судно из его флотилии — «Виктория» — под командованием Элькано. Экспедиция Магеллана, начавшаяся в сентябре 1519 года, завершилась 8 сентября 1522 года.

Спустя столетие после плавания Магеллана известный еретик Гарсиласо Луис де ла Вега-и-Бастос написал: «Открытие Магеллана изменило наши представления о мире и Боге. Если раньше мы были убеждены в конечности пространства и времени, в том, что рано или поздно мы — наконец-то! — со стоном облегчения упремся головой в теплый живот Господа и навсегда успокоимся, то после Магеллана мы оказались наедине с беспредельностью вечности, с Богом, подобным сфере, центр которой всюду, а окружность — нигде, в безжалостном лабиринте истории, из которого нет выхода. Круг, замкнутый им на шаре,— символ бесконечности наших бесплодных терзаний...»

Человек своего времени — эпохи, когда все были убеждены в том, что и caeli enarrant gloriam Dei (небеса глаголют о славе Божией),— Гарсиласо Луис де ла Вега-и-Бастос наделяет геометрические фигуры сакральным, магическим значением.

Стремлению понять мир через число, через знак столько же лет, сколько и человеческой культуре. Мифологическим сознанием число воспринималось как образ мира, вечного и бесконечного Космоса. Последователи Ксенофана Колофонского были убеждены: если мир однороден, сотворен из единой субстанции, то довольно исследовать одну его частицу, чтобы понять все. Досократики — а за ними Григорий Теолог и мистики — вырастили на этой благодатной почве образ человека как меры всех вещей, микрокосма, содержащего в себе макрокосм. Пифагор пришел к мысли о том, что количественные отношения и являются сущностью вещей, и в основу своего знаменитого учения о космической гармонии сфер положил открытый им количественно определенный интервал, на котором зиждется музыкальная гармония. Спустя много столетий после Пифагора ничего о нем не знавший китаец Чжай Шень свел его учение к устрашающе простой формуле: «Числа правят миром» (тамильский поэт Аппар сказал о Шиве: «Он — число и цифра для числа»).

Отдельная тема — каббала, вообще иудаистическая мистическая традиция, отразившаяся в книгах «Зогар» и «Сефир Йецира». Каббалисты полагают, что, если Библия сотворена Богом, в ней не может быть ничего случайного: ни порядок слов, ни даже порядок пробелов между ними не могут быть произвольными. Исходя из убеждения о том, что владеющий Именем может овладеть Сущнос-

тью, и воспринимая Тору как некую космическую парадигму, они, например, придавали каждой букве еврейского алфавита троякий смысл, раскрывающийся в мире людей, в мире планет и звезд и в ритме времен года. Изучая и комбинируя буквы, числа, знаки, они пытались разгадать подлинное имя Бога — Шем-Гамфораш — и тем самым приблизить приход Мессии. Вселенная каббалистов похожа на закольцованную цепь, в которой движение нижних звеньев отзывается движением верхних. Все связано со всем и все взаимозависимо. Если астрологи говорят, что звезды (числа, знаки) правят миром, то каббалисты добавляют: но в такой же мере и люди правят звездами.

О тех, кто предается магии чисел, нумерологии и астрологии, Тацит однажды ядовито заметил, что «этот сорт людей будут у нас всегда гнать и всегда удерживать» (римские законы — кодекс Феодосия, закон Валентиниана Первого — грозили астрологам смертью, как и тем, кто с ними советовался, но на практике они не применялись). Отстаивая величайшую христианскую ценность — свободу человеческой воли, святой Августин с гневом и презрением обрушивался на «математиков», которые желали бы «подчинить наши действия небесным телам и предать нас звездам». С такой же страстностью против попыток онтологизации зла выступал и Максим Грек (русские, впрочем, были убеждены в том, что мир — грандиозное хаотическое скопление случайностей, повлиять на которые человек бессилен,— и потому-то и не создали своей философии).

В то же время Галилео Галилей полагал, что Книга Природы написана геометрическими фигурами. Считая человеческое тело главной загадкой бытия, Леонардо да Винчи искал магических подсказок, вычерчивая и измеряя анатомический состав *человечности.* Анатомия как тайноведение нашла свое воплощение в знаменитом трактате Агриппы Неттесгеймского «Об оккультной философии» (1510). Упорно занимавшийся проблемами сечения конуса, трисекции угла, удвоения куба, алгебраической теорией чисел, Альбрехт Дюрер выразил свое представление о мире и красоте в «Четырех книгах о пропорциях человеческого тела» (1528). В 1753 году Уильям Хогарт в предисловии к своему «Анализу красоты» не без язвительности написал, что математические увлечения заставляли Дюрера отклоняться от правды и «поправлять» более прекрасную в действительности природу, навязывая ей мертвые схемы. Однако сам Хогарт выразил свое представление о красоте S-образной фигурой, вписанной в треугольник...

География, топография, понятия «левый» и «правый», «верх» и «низ» всегда обладали сакральным значением. Во время средневековых мистериальных спектаклей ад всегда представлялся слева (и у Данте путь налево ведет в преисподнюю; грешники на Страшном Суде будут стоять слева от престола Судии); левое, как правило,— лукавое, лживое, женское; дьявол искушает человека из-за левого плеча («плюнь через левое плечо»); рыцарю предписывалось держать меч непременно в правой руке («правое дело»); древние иудеи считали, что зло приходит с юга, тогда как «столица страха» древних китайцев — Юду — располагалась далеко к северу от Великой стены... Чтобы далеко не ходить, вспомним-ка все значения географических понятий «Запад» и «Восток» в духовной и политической культуре России.

На этом фоне становится понятным щенячий восторг людей, вдруг обнаруживших, что Магеллан совершил не просто очередное плавание, но кругосветное путешествие, замкнул круг на шаре. Ведь в мифопоэтическом мышлении круг выражает идею единства, бесконечности и высшего совершенства; будучи универсальной проекцией шара, круг является символом божественного абсолюта и царственного могущества. Люди, утверждавшие царственное могущество свободного человека, которого они ставили «в центр мира» (Пико делла Мирандола) и называли copula mundi, связующим мир звеном, не могли не откликнуться на это открытие. Старый порядок вещей был разрушен, и в эту кризисную эпоху приверженцы docta religio обращались чаще к «правильной» магии, нежели к науке: осознавая кризис традиционных ценностей, они искали правильный порядок действий — способы воздействия на мир дольний, неразрывно

связанный с миром горним. По их представлениям, магия была деянием творческим, даже героическим,— недаром Джордано Бруно называл мага «мудрецом, умеющим действовать». В этой роли и выступил капитан Фернан Магеллан, человек Нового времени, отважно преступивший границы мира сложившихся форм и идей,— это был акт свободной воли свободного человека. Замкнув круг на шаре, он вдохнул новую жизнь в понятия единства, бесконечности и высшего совершенства. Но мы не вправе забывать о том коварном ударе кинжалом в заливе Сан-Хулиан: именно этим ударом — не сам собою — и замкнулся магический круг. Великое деяние почти всегда драма или даже трагедия. Поэтому на сцене рядом с Магелланом навсегда останется тень Гонсало Гомеса де Эспиносы...

Тот-Кто-Мешает

Если он и попадал на русские иконы, изографы изображали его только в профиль, как чёрта, чтобы неосторожный зритель ненароком не встретился с ним взглядом. Впрочем, так же вслед за Джотто (фреска «Поцелуй Иуды») поступали и европейские художники, поскольку этика и эстетика являлись нераздельным целым.

Центральный диск последнего — девятого — круга Дантова Ада называется Джудеккой. Название образовано от имени апостола Иуды Искариота, предавшего Христа. Здесь, во льдах Коцита, сам Люцифер казнит предателей величества божеского и человеческого — Брута и Кассия, убийц Цезаря, и Иуду, терзая их в своих трех кровавых пастях.

Переднему не зубы так страшны,
Как когти были, все одну и ту же
Сдирающие кожу со спины.
«Тот, наверху, страдающий всех хуже,—
Промолвил вождь,— Иуда Искарьот;
Внутрь головой и пятками наруже...»

Вот и все, что счел нужным сообщить спутнику Вергилий о величайшем преступнике в христианской истории и в истории христианства. Люцифер непрестанно сдирает когтями кожу с его спины. Данте не комментирует увиденное и услышанное, хотя находится в самом конце пути через Ад,— гораздо больше внимания уделено технике лазания по косматому стану Люцифера и маршруту выхода из преисподней. Поэту нечего сказать об Иуде такого, чего не знал бы читатель, и он ограничивается сухой констатацией факта: предатель получает по заслугам. Что и предполагалось и в чем никто не сомневался. Читатель воспринимает эти сведения после знакомства со всеми обитателями геенны, поэтому муки Иуды для него — это итог и сумма наказаний, апофеоз безысходности. Здесь, на самом дне Ада, царит безмолвие, нарушаемое лишь шумом крыльев дьявола. Мучительное безмолвие — антитеза творящему Слову. Знатоки утверждают, что тягучий — для славянского уха — одиннадцатисложник итальянского оригинала усиливает этот эффект.

Данте наверняка были хорошо известны апокрифические, легендарные сочинения о жизни Иуды, во множестве ходившие среди его современников. Апокрифы удовлетворяли интерес верующих к деталям биографий Иисуса и Крестителя, Марии и апостолов, наконец Иуды Искариота. Отрешенные сочинения способствовали утверждению в сознании людей некоторых устойчивых клише, что было важно и полезно для находившейся в процессе становления христианской культуры. Потому-то Церковь и относилась к апокрифической литературе более или менее терпимо, а какие-то произведения рекомендовала для «домашнего пользования». Именно в средние века сложились стереотипы, закрепившиеся в словосочетаниях «иудин поцелуй», «иудино дерево», «иудин грех». И именно в те времена евреев стали называть «иудиным племенем», но уже не во славу Иуды — четвертого сына Иакова от Лии (а этот Иуда и является эпонимом иудеев), а во имя Иуды Искариота, Предателя и Палача.

Во втором — четвертом веках по Р. Х. актуальнейшей проблемой для лидеров христианских общин стал поиск взаимопонимания, а возможно, и союза с римской властью, в связи с чем были предприняты попытки оправдания Понтия Пилата, представителя этой власти в Иудее. Важно это было и для самих верующих, жаждавших покончить со своей «второсортностью»: римлянин не мог не признать мессию, которого признали все, кроме «слепцов» иудеев. Тогда-то и возникли апокрифические донесение прокуратора Пилата императору Тиберию, «Письмо Пилата императору Клавдию» и евангелие Никодима, которое правильнее было бы назвать евангелием фанатичного антисемитизма. Автор этого евангелия не только нарисовал образ благожелательно расположенного к Христу прокуратора, но и заставил римские военные знамена, которые держали легионеры, склониться пред Иисусом, когда того вели на допрос. Все эти сочинения не были признаны Церковью богодухновенными, однако они сформировали метод и прочертили путь, на который впоследствии нет-нет да и ступала нога неофита. Не так уж и давно русские читатели встретились на этом пути с романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», в котором образ Пилата скроен по рецептам третьего века по Р. Х. с поправкой на психологизм фельетонной эпохи. Не исключено, что классик литературы для подростков познакомился с «методом» Никодима по книге профессора Сергея Жебелева «Евангелия канонические и апокрифические», вышедшей в Петрограде в 1919 году.

Что простительно римлянину, непростительно иудею.

Апокрифы называют Иуду сыном некоего Рувима-Симона и Циборе из Иерусалима. В ночь зачатия женщина видит вещий сон: ее сын будет вместилищем всех пороков и причиной гибели иудейского народа. Перепуганные родители укладывают младенца в осмоленную корзину и пускают в море. Волны прибивают корзину к острову Скариот (география здесь того же сорта, что и биография), бездетная царица которого берет мальчика на воспитание. Однако вскоре у нее рождается настоящий сын, и Иуда начинает всячески обижать лжебрата. Выведенная из себя его выходками, царица открывает Иуде, что он всего лишь приемыш. Стыд, ненависть, ярость толкают Иуду на убийство царевича, после чего он бежит в Иерусалим и поступает на службу к Понтию Пилату. Рядом с дворцом римского прокуратора находится сад Рувима-Симона, где зреют плоды, вызывающие вожделение у Пилата. Будучи не в силах устоять перед искушением, прокуратор посылает дружка Иуду воровать эти плоды. Рувим-Симон ловит парня на месте преступления. Между ними вспыхивает перебранка, переходящая в драку. Иуда убивает отца. Понтий Пилат дарит Иуде всю собственность убитого и женит на вдове. Впоследствии, случайно узнав из причитаний Циборе правду о своем происхождении, Иуда покидает ее дом и подается к Иисусу, дабы получить от него прощение грехов. Такова легендарная предыстория евангельских событий, которая стилистически родственна эллинистическому роману, а в сознании русского читателя сближает Софокла с Пушкиным, античную трагедию рока с житием святой Женевьевы...

«Далее» повествование ведут Марк, Матфей, Лука и Иоанн.

В канонических евангелиях нет указаний на причины предательства Иуды, если не считать таковыми слова Иоанна «вошел в него сатана» (13,27). Тот же Иоанн (единственный из евангелистов), впрочем, явно отдает предпочтение другой версии, полагая главным мотивом преступления Иудино корыстолюбие.

Имя Иуды переводится как «хвала Господу». Он единственный иудей среди учеников Иисуса, уроженцев Галилеи. Ему поручено ведать расходами апостолов, и как всякий казначей и бухгалтер, он немножко брюзга и пессимист, жмот и зануда. Когда некая Мария из Вифании помазала ноги Христа драгоценным нардовым миром, Иуда не скрывает своего возмущения мотовкой. Именно этот эпизод традиция связывает с возникновением у Иуды воли к предательству. Именно после этого он вдруг отправляется к первосвященникам и предлагает им свои услуги. На тайной вечере Иисус говорит апостолам, что «один из вас предаст меня», и указывает на предателя, подав Иуде кусок хлеба. «Что делаешь, делай скорее»,— призывает Христос, и Иуда послушно покидает вечерю.

Многие в Иерусалиме слышали проповеди Иисуса и видели его, поэтому узнать его не составляло труда. Однако наступил вечер, и, чтобы указать страже на Учителя в толпе учеников, Иуда целует его. Это, наверное, самая яркая и потрясающая воображение деталь в евангелиях (кроме евангелия от Иоанна, где о поцелуе не говорится ни слова). После гибели Иисуса Иуда раскаивается и возвращает тридцать сребреников: «Согрешил я, предав кровь невинную» (Матфей, 27,4). Евангелисты напоминают о ветхозаветном пророчестве Захарии: «И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет — не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребреников... И взял Я тридцать сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника» (Захария, 11, 12—13). Поскольку «проклятые» деньги нельзя было вернуть в храмовую кассу, их выплатили за земельный участок некоего горшечника, на котором и похоронили покончившего с собой Иуду. Христос, принявший на себя все грехи, все проклятие рода человеческого, в том числе и грех Иуды, погиб на «древе креста». Предавший его — на древе позора (в русском фольклоре эту роль играет дрожащая от пережитого ужаса осина).

Столетиями образ священного предателя оставался для христиан самодостаточным, и лишь в девятнадцатом веке появляются первые опыты интерпретации величайшего в истории христианства Преступления, попытки проникнуть в психологию Преступника. Де Куинси полагал, что Иуда вынудил Христа объявить о своей божественности, чтобы вызвать восстание против Рима. Эта версия близка Леониду Андрееву, который в небольшой повести «Иуда Искариот и другие» главный мотив предательства усматривает в мучительной любви Иуды к Христу, в желании апостола спровоцировать учеников и народ на решительные действия. Профессор Михаил Муретов в серии статей под заголовком «Иуда Предатель» (1905—1906 гг.) рассматривает предательство как результат разочарования иудея, надеявшегося найти в Иисусе грядущего восстановителя Израильского царства, а нашедшего в Нем мечтателя о духовно обновленном царствии Божьем. Исследователи начала века, смущенные контрастом между сравнительной малостью события и тем духовным значением, которое придает ему традиция, выдвинули версию: Иуда выдал первосвященникам некие преступные высказывания или аспекты учения Христа. Версия эта, однако, не имеет опоры в евангелиях.

Наиболее неожиданные и парадоксальные предположения содержатся в новелле Борхеса «Три версии предательства Иуды». Борхес — точнее, герой новеллы — выдвигает следующие гипотезы. Первая: в ответ на жертву Бога некий человек — им оказался Иуда — совершает равноценную жертву (предательство), становясь как бы негативным двойником Христа. Вторая: предательство Иуды —результат сверхаскетического умерщвления и осквернения плоти и духа, результат сверхсмирения. Наконец, третья версия заключается в предположении, что Бог стал человеком полностью, вплоть до его низости,— стал Иудой. Таким образом, тайное имя Бога — Шем-Гамфораш — Иуда Искариот.

Писатель точен в выборе героя новеллы: творчество Нильса Рунеберга мыслимо только в протестантской традиции, воспринимаемой ортодоксальными католиками и православными как сектантство. Однако гораздо более интересным является сам факт обращения культуры нового времени к образу Предателя и попытки его осмысления у границ или даже за пределами религиозной традиции, что лишний раз свидетельствует о смерти, точнее — о неактуальности понятий «христианская цивилизация», «христианская культура». Иуда стал таким же персонажем культуры, как Христос или Наполеон. Даже патриарх Московский и всея Руси Алексий II, отвечая на упреки в сотрудничестве Церкви с богоборческой властью и тайной полицией, заявил, что «это был наш крест», словно забыв, что на Руси этот «крест» всегда назывался осиной, древом Иуды. Меня не интересует моральный или религиозный аспект позиции патриарха,— его заявление служит всего-навсего еще одной иллюстрацией к тезису о том, что мы живем в постхристианскую — переходную — эпоху, характеризующуюся, между прочим, возрастающим иррационализмом и антиперсонализмом. Впро-

чем, оба термина — из старого, уже обессмысленного языка, красота которого — лишь напоминание о его былой силе.

Судя по всему, Борхеса живо интересовала гностическая традиция. Думаю, он не мог не знать о гностической секте каинитов, которые толковали предательство Иуды как выполнение задачи высшего служения, необходимого для искупления мира и предписанного самим Христом. Вторая версия Рунеберга — Борхеса скорее всего восходит к ереси гностика Карпократа (мельком упомянутого в новелле). Карпократ полагал, что душа Иисуса освободилась от рабства материи, указав путь к свободе для всех — отрешение от мира, презрение к создавшим мир начальным, низшим духам. Вот что пишет об этом Владимир Соловьев: «По их учению, лучший способ презирать материальный мир — это совершать все возможные плотские грехи, сохраняя свободу духа или бесстрастие, не привязываясь ни к какому отдельному бытию или вещам и внешнюю законность заменяя внутреннею силою веры и любви... необходимо изведать на собственном опыте все возможности греха, чтобы отделаться ото всех и получить свободу». Странным образом эта мысль созвучна парадоксальному утверждению Лоренцо Валлы: «Разврат и публичные дома много более заслуживают перед родом человеческим, чем набожное целомудрие и воздержанность». Понятно, что гуманист Ренессанса ведет речь лишь об одном — «плотском» — из путей, на которых человек обретал свободу.

Иисус Христос «вывел дух из рабства на свободу» («Рай», песнь XXXI). Иуда Искариот сделал свободный выбор, обернувшийся ужасающим крушением личности: рождение свободы ознаменовано грозным указанием на ее пределы. Взирая на Крест, мы не вправе забывать об осине. Однажды Сергей Лёзов дал Христу ошеломляющий глубиной и точностью «псевдоним» — Тот-Кто-Мешает: Иисус и впрямь мешает нам забывать о том, что мы не вправе поступаться своим истинным Я ради чего бы то ни было,— мешает одним только фактом своего существования, выражающимся в Слове. Это ужасно. Невыносимо. От меня требуется, чтобы я ежемгновенно помнил о смерти и поступал бы так, как если бы через миг мне предстояло умереть. Самое же страшное заключается в том, что требование это исходит не от Чужого, а просто от Другого, в роли которого выступает обычно душа человеческая. Чужого можно обмануть, Другого — никогда. Иуда Искариот не вынес этого. Поэтому он тоже, как мне кажется, может претендовать на имя Тот-Кто-Мешает. Не на славу, нет — лишь на имя, при упоминании которого картонное пламя истории обжигает всерьез, до волдырей и боли...

Об одном слове

Всегдашний заседатель Красной столовой Николай Алексеевич Кривошеев, молча съедавший здесь порцию котлеты с картошкой под Буянову гармошку, всю жизнь занимался разбором развалин, оставшихся после войны. Работы хватало: и английская авиация, и русские танкисты постарались. Приходилось разбирать и заброшенные колодцы, составленные из бетонных колец. Несколько таких колец Кривошеев перетащил в свой сад, в углу которого выкопал глубокую шахту. Дно выложил кирпичом. Часто поздними вечерами, засветив керосиновую лампу, он спускался в колодец, устраивался на маленькой скамеечке и закуривал. Мальчишки осторожно заглядывали в шахту. На дне ее, тяжело бросив руки на колени, неподвижно сидел старик. Он не замечал нас. Иногда до нашего слуха доносилось его глухое бормотание. Несколько раз он принимался кричать. Почему? На каком языке? Ведь крик — тоже язык. Может быть, язык одиночества.

Один, единица — образ целостности и единства мира, но не всегда — человека. Философской проблемой одиночество стало после Гегеля, который полагал, что единица лишь средство для реализации замыслов Абсолютного Духа. Впрочем, эта идея была опрокинута еще Иисусом Христом, пережившим ужас

одиночества в Гефсиманском саду. Быть может, в этом ужасе он и почерпнул мужество.

Писатель садится за письменный стол и склоняется над листом бумаги. Первая буква, первое слово, первая фраза... Никто ему не помощник и никто ему не судья. Он один. Он одинок. Одиночество входит в химию ремесла. А оно, в свою очередь, и есть жизнь. Это и неизбежно: чем глубже писатель-одиночка погружается в свое Я, тем ближе Другие, то есть то вечное и неизменное, что присуще человечеству.

Быть может, Рильке выразил эту тему острее и даже полнее других в крошечном стихотворении, написанном по-русски. Грамматические оплошности, на мой взгляд, придают этим строчкам — во всяком случае, для русского читателя — какие-то дополнительные смыслы.

Я так один. Никто не понимает
молчанье: голос моих длинных дней,
и ветра нет, который открывает
большие небеса моих очей...

Для поэта одиночество сродни, увы, плодотворному сиротству. Трудолюбивому одиночеству пастуха.

Одинок и читатель, склонившийся над книгой и переживающий встречу с иным миром, вступающий в диалог с другим Я. Сочинение книги и чтение ее в конечном итоге выливаются в конфликт двух Я, который решается скорее благодаря Слову («и слово было Бог»), нежели физической жизни...

Об этом однажды вечером заговорил библиотекарь Мороз Морозыч, большой любитель поговорить на отвлеченные темы, инвалид, с трудом передвигавшийся на костылях. В домике его не было даже кошки. Книги, кастрюля и сковородка.

— И как же ты отдерешь слово от жизни? — спросил доктор Шеберстов, гревшийся у железной печки в углу, возле конторки.— Одно и то же, все остальное болтовня и спекуляция.

— Есть лошадь, а есть слово «лошадь»...— начал было Мороз Морозыч.

Но его перебила Буяниха, восседавшая с папиросой в зубах на железном стуле за конторкой.

— Хватит вам возиться с этой лошадью! — сердито прикрикнула она.— Не то я ее за узду — и на живодерню!

— Неужто справишься? — ядовито спросил Шеберстов.

— Но ведь я же замужем!

●

Михаил ПРИШВИН

Дневник 1939 года

ИЮЛЬ — ДЕКАБРЬ

Завершая публикацию дневника М. М. Пришвина за 1939 год, предлагаем вниманию читателей вторую половину года: июль — декабрь.

Дневник писателя отражает реалии жизни тех лет. Под знаком разгорающейся второй мировой войны проходит жизнь страны и самого Пришвина. Первого сентября Гитлер повел свои войска на Польшу, Англия и Франция объявили всеобщую мобилизацию, сложные политические маневры связывают Советский Союз и Германию.

«...Почувствовал, в какой беде наша страна и как закрыт для нас глухо горизонт лучшего».

«...Опять ночью застаешь себя на мысли о смерти, хочется самому своей волей уйти из этого мира».

«В магазинах нет ничего, даже сахару, десятки тысяч людей простаивают дни и ночи в очередях»,— записывает Пришвин в дневнике.

Тем не менее писатель предпринимает путешествие в «доме на колесах» под Сергиев, живет среди природы, общается с местными жителями. Замечательный рассказ «Василий Алексеевич» рождается буквально из беседы с крестьянином Василием Алексеевичем, который говорит о невозможности заменить одну личность другой: личность незаменима (этот рассказ при жизни писателя был отвергнут во всех редакциях, жене писателя В. Д. Пришвиной удалось опубликовать его впервые лишь в 1963 году).

Пришвин работает над циклом детских рассказов «В краю дедушки Мазая», повестью «Неодетая весна», заканчивает авторизованный перевод повести канадского писателя Вэша Куоннезина «Серая Сова».

И в 1939 году, как и в предыдущие годы, главная его творческая задача — работа над романом «Осударева дорога».

Образ Осударевой дороги, возникший у Пришвина во время его первого путешествия на Север в 1906 году, становится для него символом русской истории.

Через двадцать семь лет, в 1933 году, Пришвин вновь отправится в знакомые ему места: по еще не стершемуся следу «государевой дороги» — кратчайшего пути из Белого моря в Балтийское. Когда-то здесь, по дебрям Выговского края, во время шведской войны по воле Петра I русские солдаты протащили волоком суда до озера Онего. А новая власть теперь строила Беломоро-Балтийский канал. Именно на строительстве канала, где совершалось жесточайшее насилие над личностью, Пришвин ищет доказательства своего вывода — личность уничтожить невозможно. «Мы все на канале»,— записывает он в дневнике.

Итогом дневника 1939 года, подводящего писателя к поистине чудесной встрече со второй женой своей — Валерией Дмитриевной Пришвиной, стала запись на отдельном листочке:

«Из биографии моей, когда я стал на писательство: это найденное есть безобманное, непродажное — это есть я сам; тут мое самоуважение, мое достоинство, моя честь — это я сам и мой дом; неприкосновенное, и никто не может вмешаться: будут брать днем — ночь моя, будут в деревне — я в городе, в Москве — я в Ленинграде, я везде, ищите. Никому нет дела до этого мира, и я его никому не навязываю: это моя сказка».

1 июля. Еще я думал этой ночью, что сила числа, как у нас это поняли, непобедима, потому что она основана ведь на любви к жизни: соединяйтесь все, кто хочет есть, пить, учиться, одеваться и достигать счастья.

А то, чем я с малолетства живу, что ношу в себе, вынашиваю всю жизнь — это что я должен быть самим собой и дать такое, чего еще в мире не было: ко всему, что было, прибавить нечто свое...

Мое Надо в том, что я должен быть самим собой, значит, делать не то, что велят, а что мне хочется...

Бенкин, латыш, автомастер, вернулся и в тот же гараж, в тот же дом, в ту же квартиру к своей семье. А упрятавший его Захарчук, уполномоченный НКВД, расстрелян: мастер выдержал и победил, а то прошло, и сколько этого такого прошло.

2 июля. Снимал диких уток на безымянной речке с белыми и желтыми кувшинками, возле ржи, в виду леса.

«Весьчеловек» заключенный в его Надо. Тут все потеряли безнадежно свое природное Хочется и частью за свое, частью за чужое отвечали, делая общее Надо.

Взяться бы, схватиться за свой кончик жизни, своим детским Хочется радостно делать, что Надо для всех, но где тут. Мой путь, дорогой друг, тоже лежал через общее Надо, но я, мне кажется, сумел правильно стать: мне казалось, будто я встретил следы своих детских босых ножек и пошел, и пошел. Но зачем об этом говорить?

— Как зачем,— спросишь ты,— если ты открыл свой собственный путь к общему Надо, то зачем же молчишь? Надо открыть его всем.

— Вот в том-то и горе, мой дорогой, мне тоже раньше казалось, что стоит открыть мой собственный верный путь, и все пойдут по нему. Это большая ошибка и пустая работа: мой личный путь для других будет чужим путем: путь к такому Надо, чтобы оно стало как Хочется, может быть только своим.

3 июля. Солнечные, но не жаркие дни — в июле редкость!

Не так живи как Хочется, а так живи, как Бог велит. «Надо» — это есть Бог.

«Несть бо власти, аще не от Бога» — это значит, что как бы ни был ненавистен властелин, но раз он властелин, то в его власти содержится тоже и Надо, которое он выполняет помимо своего желания.

Как бы там ни было плохо, а Маня, деревенская девочка, окончила курс и едет в деревню свою к отцу образованной барышней.

...Говорят, что если взять самый высокий на земле обелиск и положить на него копеечную марку, то эта марка в отношении всего обелиска будет жизнь человека на Земле в сравнении с жизнью всей Земли. Говорят, что со временем, конечно, марка человечины перерастет все Предвечные Данные и выйдет за пределы его. Но Я? Мне-то что? Скажите, какое мне дело до процесса разбухания копеечного человечка за пределы Вселенной? Я сам по себе, и быть самим собой — все мое назначение.

«Князь»[1] в юности был так предан царю, как Богу, и верность свою считал священной. И было недопустимо для него, чтобы когда-нибудь царь сказал ему: «И ты, Брут!»

Марконет[2] отказался от присяги Временному правительству и сказал: «Можно раз присягать». Но Брут, присягнув Цезарю, поднял на него руку. Есть ли что-либо выше верности, личной верности? Предположение: общественное благо. Но, раз ты разрываешь присягу, ты разрушаешь личность свою, и ради общего блага ты сам лично должен погибнуть: это есть смерть твоя. Так, совершив то, что Надо, Брут сам погибает. И так Прометей, друг человека, но Христос есть сам как человек, погибая за человечество, остался в единстве и верности к Богу, и он делается сам Бог. Умирая, как человек, он остается Богом и поручает нам всем стоять за Бога в себе: богочеловек.

Так и вся смерть: умирая, человек расстается с человеком и делается Богочеловеком (сверхчеловеком = творческий процесс).

4 июля. Чувство собственности.

Схватываясь за собственность, человек стремится утвердить материально свою от-личимость (индивидуальность): «Это Я,— говорит он,— это Мое!» Так начинает-

ся война за себя, за то, что ты единственный раз появился на Земле и успел утвердить себя.

Личность реализуется в собственности.

Вопрос: если я узнал Христа в самом сердце своем и в том деле, которое называется «творчеством», то нужно ли идти в Церковь? Ведь пастыри церкви — правда ли, что им дано право вязать живые души? Не сами ли они для себя и выдумали это право, чтобы властвовать?

5 июля. Когда гениальный человек является и ведет за собой массы людей, то это, может быть, свидетельствует не так о высоте человека «гениального», как о пустоте масс, которые он ведет. Я помню учительницу в Рябинкове в 17 году, когда она учила детей «С Интернацио-на-а-лом» петь... и как дети деревенские, ничегошеньки не понимая, пели «Интернационал», а потом это все и пошло, и пошло, и мало-помалу стало ясно, до чего же пуст человек масс.

К таланту я отношусь, как пахарь к земле: земледелец напашет, насеет, а дальше хлеб растет сам; так точно, устроив талант свой, как землю, разбросав там мысли, нужно отойти и дожидаться, как ржи: две недели рожь колосится, две — цветет, две — наливает и две — созревает.

Да, талант, как земля, растит задуманное нами даром, а весь вопрос сводится лишь к тому, возможно ли в обработке таланта, как в земледелии, от сохи перейти к трактору. Вот это современный вопрос: кустарная страна Россия стала индустриальной во всех отраслях жизненного творчества, и только искусством, совершенно как в стародавнее время, занимаются одни кустари.

В этом вопросе заключается вся болезнь современной литературы, и оттого она так несмела, так нерешительна, так плохо пишут. Именно потому так плохо пишут, что все не уверены в праве своем существовать как кустарю.

6 июля. Это о Боге, живущем в глубине души человека, говорят, что будто бы Он для создания лучшего берет добровольно на себя бремя и страдание. Но то, что есть «человек» без этого, то это «жить хочется», это стремление к счастью. И вот если такому «человеку» дать волю, то каждый из них, стремясь к счастью, будет бороться с другим таким же за свое счастье. И тут ничего бы от людей не осталось, все бы поели друг друга, как пауки в стакане. Тогда в поправку этому «счастью» является государственная палка и берет счастливого «человека», как быка за рога.

Не из-за сострадания или желания творчества лучшего размножается род человеческий, а размножается в поисках счастья, он надеется, что сыну его будет лучше жить.

Мне, как всякому, много приходит в голову такого, что приходится отбрасывать от себя как ненужное: кажется, никто не поймет меня, если я об этом скажу. Но случается, другой человек встретится и расскажет о себе точно то самое, что ты собирался отбросить из-за того, что это никто никогда не поймет. Вот тогда, если у двух одно и то же сошлось, пусть даже приснилось, является уверенность в реальности мысли или чувства такого сильного, что хочется скорей-скорей об этом везде говорить и писать.

Так вот, если кто-либо успеет встретить предрассветный час и последующие сумерки новорожденного дня, то этот человек тем самым получит ключ к живой воде жизни. И если бы это все поняли и стали учить детей благоговейно в предрассветный час готовиться к наступающему дню, то человеческий мир весь бы переделался скоро и люди стали бы рождаться и жить здоровые душою и телом.

Я сам это чувство грядущего дня получил от матери, которая очень рано вставала, пила чай в одиночестве и очень радовалась, когда я просыпался и прибегал к ее чаю. Потом эта страстная любовь к предрассветному часу определила всю мою жизнь. Много раз необходимость работать в городском обществе переделывала меня на некоторое время, и я тоже ложился и вставал, как все в городе. Но ведь от этого получалась неладная жизнь и плохая работа. А может быть, из-за того, чтобы жить, как учила меня мать, я и писателем сделался! Скоро уже будет 40 лет, как это случилось, с тех пор — в деревне и в городе, все равно — я встаю в предрассветный час, а в полдень обедаю и отдыхаю.

И вот когда я узнал, что Серая Сова[3] живет точно так же, я так обрадовался, что прежде чем рассказывать о его жизни, не удержался и рассказал о себе.

«В этот сумеречный час»,— пишет Серая Сова.

7 июля. 6 утра. Оркестр: марш «Жить стало лучше». 6 час. 4 мин. Известия: о боевой задаче т. Шлепакова. 24 июня: флот в Мурманске.

Живу в свое оправдание, потому что отчаялся в жизни для общего дела. Я живу так лишь, чтобы не совестно было перед самим собой в свое оправдание.

Моя мания устроиться на каком-то участке земли — это значило потребность устроить свой талант: земля и талант — это одно и то же, только земля — для всех, а талант — это земля личная.

Земля и талант — это Данное. Земля перестала быть личной: ее обрабатывают в пользу государства, так и всякий талант, как землю («спец») стараются захватить и превратить творца в «спеца».

И вот разница таланта с землей, что землю захватывают, и в этом неправда, с которой борются. Но талант — личный по существу своему, и оторвать его от личности в пользу общества — это значит разрушить его и сделать с личностью то же самое, что с птицей, если обломать ей крылья: это значит обречь птицу живую на съедение лисиц или кошек — так и оставить личность без ее таланта.

Не какой-нибудь частный план, а весь План, о всей жизни, о Всемчеловеке, не верен в основе своей. И это осознано в процессе необходимости удержать власть. Теперь задача в том, чтобы отступить и тем удерживать власть, отступить от своего собственного Плана, а куда — неизвестно: туда, куда можно отступить, сохраняя власть.

8 июля. Горький обманывал сам себя и обладал даром прельстителя.

Свидетельство внутренней жизни человека у писателей похоже на взрыв вулканов: вулканы свидетельствуют о внутренней жизни Земли, а такие творцы, как Шекспир, о внутренней жизни человечества.

Схватила меня тоска о том, что время у меня убегает: верно, где-то дырка в душе.

Жарко было, озеро лежало лиловое, покой сплывался. Вяло еще прокуковала последняя кукушка, пробудился лесной голубь.

Бабочка большая белая распласталась на большом цветке, а другая с нее стирала пыльцу до того, что крылышки у нижней стали, как слюда, прозрачные.

На клеверах работают пчелы, шмели, и везде такое множество насекомых.

Лева[4] опять без заработка. Ищет фотографические работы. В Мамонтовке видел колхоз овощников, приехал праздновать. Колхоз богато выделил две с половиной тысячи на праздник. Леву пригласили снимать. Начали праздник: культурник вынул записную книжку и прочитал, кто лишен праздничного пайка: «Ты, Фадеев, ты... и т. д.». После этого начали раздавать вино и порции студня. Началась матершинная ругань, и кто получил — с подругой удаляется в кусты. И так мало-помалу все, изругавшись, разошлись. А Леве не только снимать не удалось, а даже не досталось и студня.

Напоминаю: «ratio», доведенный до конца, показывает хозяину своему «nihil», и тот предается мистике (постигает вещь в себе). Это именно и совершилось с Разумником[5].

10 июля. Прохладные ночи и жаркие дни. Цветы на лугах в полной силе, и покос закипел.

Илья Николаевич[6] и Дуничка[7] имели какую-то моральную власть не в одной нашей семье. Но эти избалованные потомки верующих рационалистов имеют только претензии.

11 июля. День за днем подкашивает сосед траву, по утрам он долго сидит возле цветущей травы и ковыряет соломинкой в ухе, а иногда и выпьет. Я думаю, глядя на него, что лень — это счастье трудящихся и что если к этому счастью да выпить!

К. рассказывал, что половина студентов (Горного института), окончивших с ним курс, держат себя по-советски, а половина — каждый думает отдельно про себя, выполняя внешне все требования Советской страны. Психология тех, кто ведет себя «по-советски», понятна: они устраивают таким путем личную жизнь, стараясь стоять на ногах твердо.

Это «средние» люди в государстве, и так быть должно. И то правильно, что половина все-таки про себя свое думает, и то правильно, что, думая, они выполняют советские требования. Но правильно ли, что все идеи социализма и коммунизма брошены в помощь обороне страны, что, брошенные в огонь, они гадят и смердят и в то же время плавят металлы для войны?

В душе я давно сказал себе «правильно», и только мне трудно оставаться одному без «хороших» людей.

Перестаю быть «добрым».

...В каком-то свете оценки культуры творчества эти люди просто разбойники (цивилизаторы — революционеры).

12 июля. Петров день.

Липа цветет. Зной свалил. Открылись нектарники, и пчелы загудели на дереве.

Каждый стал проституткой, потому что ждет получить что-нибудь и дает всем и все за получку. И, получив, тратит все, как расстрига, не думая о будущем, а только о том, что хоть день, да мой. И время стало проходить у людей без-ответственно: никто не хочет не только отвечать, но и возвращаться к мысли о том, что прошло.

Вот опять это коренное чувство русского варвара, вроде Льва Толстого, что стоит только задуматься хорошенько, найти в себе нечто, потом решиться, и тогда силой можно будет переменить свою жизнь и направить ее к желанной цели.

Как бы ни вели себя большевики безобразно, жестоко и коварно вплоть до полного истребления оппозиции, вызвавшей письмо Роллана к Сталину,— все равно критики, идейно уничтожающей большевизм, ни с какой стороны не было. Какая это критика, если, заглянув в жизнь критикующих, видишь только внешнюю красивую форму, закрывающую от постороннего глаза такую же самую жизнь? И скажи я, то готовый вспыхнуть негодованием и на кого-то наброситься — на кого? — то готовый смириться до растения в его священном деле удобрения земли, я же сам, по правде говоря, ни в чем, ни в ком и нигде не находил себе убеждения в праве своем решительной критики. И та кривая от моих героических протестов до древесного смирения есть не что иное, как выражение бессилия души человека, вопиющего в пустыне. Но чувствую: теперь во мне шевелится настоящая опора, с которой можно выступить бесстрашно и уверенно. И вот бы... Вот бы сразу стало, что я не один, а со мною великая, непобедимая сила.

Тут, однако, опять стоишь на распутье: если только Христос как явление моего сердца, совет разума, то ведь это опять же Я, вопиющий в пустыне; а если это не Я, а Он, то вне себя я могу видеть Его лишь в церкви. И вот тут-то страшно уничтожающее смирение, гораздо большее, чем (одно слово неразборчиво) смирение до растения.

Это я давно подозревал, что бессознательно в своей работе и часто в жизни иду этим путем и сознаю только одно, что я должен оставаться бессознательным и не называть имя Бога, которому служу. Для меня пусть этот звук, Бог, Христос, и пусть все, связанное с этим понятием, рассуждением и доказательством, и та решимость (толстовская) на подвиг сразу (завтра) — все пусто, все суетно.

Но жизнь во Христе, про себя, в совершенной тайне, в ежедневном узнавании всего прекрасного, всего лучшего человеческого, лучами в природу исходящего, быть может, через тех, кто молится-трудится, в этом я могу, что, мне кажется, я делаю. И так этот Бог совсем про себя, в совершенной тайне и выражении Его только в деле жизни и до того, чтобы и в делах-то многие люди узнавали Его не именем, а чувством: сами не зная того, переделывались бы.

Так что Бог не в произношении Его, а в сокровенной природе Его во мне самом. И Церковь не в храме каменном, а в том усилии жить одному и везде так, будто не один, а всегда и всюду есть близкие.

Итак, «завтра» (толстовское) пусто. Есть сегодня и вчера — это есть, а завтра будет само от себя. «Завтра» — это суета, и ничего не надо: оно есть.

13 июля. По моей просьбе мне сделали на одном заводе такую лодку весом в 12 кило, так что в особом мешке носишь ее за спиной. А когда придешь к воде, то в пять минут ее надуваешь и, чуть шевеля байдарочным веслом, полулежа на мягком, плывешь, и мысли твои тоже, конечно, с тобой плывут, цепляясь то за белые лилии, то за темные спины лещей под водой, то за выводки дикой утки.

Найденная точка чувства открывает и точку зрения, причем такую, что можно видеть во все стороны в настоящем, и в прошлом, и в будущем.

Находка эта, оказалось, была тут же рядом, у себя под руками, только была прикрыта какой-то этической броней, возникшей в русской интеллигентной среде под водительством Льва Толстого. Нам казалось, что если сильно захотеть, ухватиться за что-нибудь, то можно стащить с себя шкуру всего нажитого, выпрыгнуть из шкуры молодым, сильным, уверенным и взяться строить хорошую жизнь. Казалось, что акт этот в своих руках и если захочешь, то завтра же и можешь начать новую жизнь. Эта крышка жизни «на завтра» лишь отчасти была мной приоткрыта, когда я начал писать. Писательство иногда намекало на существование «точки чувства». Теперь же крышка приоткрывается больше, потому что падают все крышки жизни, и она встает во всей реальности своей так, что необходима для дальнейшего существования опора для борьбы со всеми иллюзиями.

15 июля. Продолжается жара, сушь.

А вот то, о чем я на днях писал, как о «завтра», и о том, что уже есть и надо только найти в себе «точку чувства» — это самое нашло в истории человечества выражение в двух книгах. «Завтра» — это Библия, где народ ожидает Мессию, и Евангелие, где Он есть, то и другое есть выражение переживаний личности. Вера в будущее — Библия, вера в настоящее, в жизнь — Евангелие.

Во сне видел Семашку[8], которому я высказывался о требованиях масс. «А у них же нет ничего»,— ответил Семашко. И тут оказалось из его слов, вся наша глухая вера в народ уже использована как сила господства и сами верующие уничтожены. И что этого, как мы думали, вовсе нет ничего, а есть только сила размножения, и на этом возникает власть, которая и управляет размножением. «Больше ничего нет,— сказал Семашко,— остальное все неполадки, в том числе и Христос. Был Христос — была беда, а церковь исправила».

От Христа ничего не осталось, но церковь смягчила, украсила и сделала привлекательно-прекрасной грубую силу размножения.

Возможно ли, что Партия (как и Церковь) сделает то же с учением Маркса?

Иванов-Разумник еще после первой своей отсидки заставил меня задуматься о себе. Помню, он на мои слова в «Журавлиной родине» о том, что крысы не могут знать о поставленной мине и вследствие этого перед взрывом покинуть корабль, возразил: «Крысы могут знать». Воображаю теперь, куда он ушел от своего рационализма после второй отсидки!

Так и похоронил Разумник свой разум в могиле мистики.

Это от того, что он верил в Разум и только им **пользовался**: при второй мучительной отсидке в течение двух лет, страданиях великих **за ничто**, при освобождении без предъявления обвинения вера в закон, в разум жизни должна оставить всякого.

Итак, есть две веры: одна — в Будущее, которое мы должны **сделать** (родить Мессию), другая вера — в Данное (мир спасен), в Настоящее, согласно которому надлежит устраивать свою жизнь (Христос и церковь: Христос — Данное, уничтожающее природную жизнь, Церковь — Данное, принимающее жизнь).

16 июля. Прохладные или жаркие дни? Погода пошла на пересушку, если скоро не будет перемены, к началу охоты загорятся леса, и все станет, как прошлый год.

Раньше человек, делая частное свое дело, совестился этим и небогатый отмаливал грехи в церкви, богач жертвовал на строительство нового храма. Теперь совесть

у людей чиста: все делают общее дело, храм не нужен. Частный интерес, устраненный из общего дела, стал просто мелкой (одно слово неразборчиво).

...А я и на птичку смотрю, клюющую зернышко, с тем, что не все в этом у ней, чтобы клюнуть, что она в Храме природы живет.

19 июля. Вчера ездили в поле и попали в дым горящего болота, так что жара и сушь, как всегда у нас, переходят в пожары.

Медный Всадник: Евгений — религия, Петр — Разум (и так можно все понимать в поисках происхождения Бога и Разума).

В Евангелии Разум на своем месте: он подчинен Отцу и есть в Отце и в Человеке. В Революции и последующей Цивилизации Разум господствует.

Евгений и неизреченное слово, которого именно-то и боятся все властелины. В том-то и есть сила Евгения, что его проклятие не переходит в слово, и Евгения действительно нельзя изловить, соблазнить, использовать. Не словом, а бурей разряжается его мысль, и у Властелина мальчики кровавые в глазах. Евгений — это «народ безмолвствует», а для Бориса кажется ему самому суетой. Евгений — это Смерть, хранящая культуру, укрывающая великие памятники духа под землею, чтобы они вставали потом и судили победителей.

Так что и очень хорошо, что речь Евгения была не напечатана: вероятно, у Пушкина это было плохо, это сильно в молчании, страшно как вопрос Делу Петра, вопрос молчания[9].

И так ясно становится, что все эти немые вопросы разрешаются фактом Распятия.

Слепое время. Следователи наши, продержав человека два года в тюрьме и не найдя в нем вины, выпускают с извинением: «Вы, конечно, понимаете, что **время** такое, и очень обижаться не будете. Но если вы о своем заключении будете распространяться среди знакомых, то попадете опять и тогда уже и не выберетесь» (то есть в первой части человек, ссылаясь на **«время»**, умывал руки, а во второй — спохватывается и напоминает, что это **слепое** время еще не прошло).

20 июля. Каждый мастерит свою жизнь и отчасти не прямо, как надо для себя, а и чтобы кто-то поглядел, похвалил или позавидовал. Но приходит этому срок, и все мастерство жизни для других, для показу отпадает, свидетелей вообще никаких не остается, и перед лицом Смерти ты разглядываешь сам себя во всех подробностях, каков ты сам есть, а не каким мастерил себя для других.

Послезавтра поеду смотреть некрещеное поколение (лагерь пионеров). Мне снилось сегодня, будто уже все так живут и христианское самосознание стало никому не понятным предрассудком, суеверием.

23 июля. Ездили в Заболотье на старое пепелище. По жаре продвигали лодку от Федорцова к Заболотью. Жалкая была картина. За восемь лет будто восемьдесят прошло. Судьба «пали», где росла ягода: распахали песок по ивы, не вырос на нем хлеб, и ягоды погибли, а грибы от порубок перешли на другие места, а искать, где они, некогда.

27 июля. Линейка пионерская: у Аксюши[10] это в церкви, и у нас, у детей, было тоже в церкви: старый боженька и был нашей «линейкой».

30 июля. Самое главное в поисках счастья — успеть на лету схватить свою долю: пропустишь мгновенье — и останешься на всю жизнь добрым человеком в тоске. Но тоже не менее важно вовремя спохватиться, если ошибся и не за свою долю схватился,— не отступиться, и тогда на чужом деле всю жизнь будешь злой скрипеть, как немазаное колесо.

1 августа. Ночью перед рассветом звезда проникла ко мне, как будто густая темная липа была для нее прозрачная.

Сделать записи в пчеловодную книгу. Ждать пчеловода для пересадки двух новых маток. Закончить книгу «Бобровый народ»[11].

Разум, пробуждаясь, начинает с непослушания естественному порядку, но, овладев положением, требует послушания точно такого же, как в естественном порядке.

Разум должен господствовать в человеческих, только человеческих отношениях, за пределами человека разум есть пустая претензия на Божий престол.

2 августа. С утра до ночи сидел над «Серой Совой» и прикончил.

3 августа. С утра до ночи набивал патроны и готовился к выезду 5-го вечером на охоту. Духота невозможная.

Ночью разразилась гроза.

4 августа. Читаю историю Юлия Цезаря, Французской революции 1789 года и вообще получил вкус к чтению истории. В той и другой, хотя разные авторы представляют героев так, что они только **действуют** и в этом у них все, но, например, их Цезарь не знал, что выйдет у него из похода в Галию, и никто из французов не думал, начиная революцию, что они казнят короля (все были монархистами).

Так что существует **правда действия** (делай, только делай и ничего не говори и не разбрасывайся умом; и есть **правда сознания**, которая приходит после, и это вполне соответствует понятию «война и мир»).

5 августа. Собираемся на охоту, и в то же время мелькает, что поедем на охоту, а возможно, как раз тут-то и начнется та «охота» (война ведь бывает после уборки хлебов).

Паня[12] всю себя уложила в прическу, в платье, в платочек. Она явилась в таком виде, что я сказал Павловне:

— Это, пожалуй, ей было не меньше, чем написать мне роман.

— Какое тут роман,— ответила Павловна,— это полное собрание сочинений.

6 — 8 августа. С Левой и Петей[13] на охоте. Утки еще не на крыле. Иван-чай из красного превращается в белый. Брусники урожай, но еще не созрела, кое-где красные ягоды. Несмотря на жару, урожай опоздал (из-за весны).

Только голубая стрекоза может так сесть на водяную тростинку, что та и не шевельнется. А тяжелый шмель шевелит каждым цветком.

Вечером, когда внизу темным неопределенным пятном скрывался лес в туманах, я вспомнил, как то же самое видел тому назад лет тридцать и что тогда я в этом почувствовал душу всего человека: это было мне тогда не лес и туман, а весь человек и его душа.

9 августа. Отправлена «Серая Сова» в Гиз, в «Молодую гвардию», в «Роман-газету».

13 августа. Вчера приехал из Москвы, с выставки. Написал «Непоказанные богатства», а сегодня займусь статьей «Большая биология»[14].

14 августа. Живем без дождей. Сегодня переписываю очерки Выставки и вечером поеду с ними в Москву.

17 августа. Болею от московской жары.

18 августа. Каждый ребенок стремится жить, как ему **хочется**, и отсюда единый фронт против педагогов, которые указывают детям их **Надо**. Дело педагога — привить это надо как можно с меньшей борьбой против Хочется. В наше время Надо прививается военной игрой.

Педагог, как и политик, пользуется непременно обманом (за-манивают детей).

19 августа. Вчера после обеда грозовой ливень, а барометр его не показал. Леса все курятся...

Об-ман: все обман, политика, педагогика, искусство; разный бывает обман, а все, что не **обман**, то **правда**.

24 августа. А еще есть чувство, как и родственная **связь**, это чувство постоянства: как будто в сознательном повторении (ритмическом) чего-то можно найти свое счастье. Так бывает, встанешь ты рано, выйдешь на росу, станет хорошо, и ты скажешь себе: буду каждый день так выходить, и будет всегда хорошо. (Молитва.)

Если я чувствую согласие своего духа с народным, то я, конечно, только радуюсь и не завидую гению. Как дитя своего народа я знаю, в народном организме в момент великого напряжения всегда находится щелка, через которую радужным пузырем выдувается гений.

31 августа. Барометр указал на дождь — и сегодня утром чуть-чуть брызнуло, но после еще ярче и жарче вышло солнце, а барометр пошел опять на погоду.

Наметил два рассказа для детей: 1) Сват, 2) Загадочный случай[15].

Хомут крепостного права и хомут колхозного права — какая разница?

1 сентября. Пасмурно и временами моросит дождь.

2 сентября. Рано еду в Москву. Вижу, в вагоне кто-то передает газету другому и ждет, а когда тот прочитал, спрашивает:

«Здорово?» «Здорово!» — отвечает другой. Следующий любопытный просит газету и читает, ему тоже: «Здорово?» «Здорово!» — ответил и этот. И дошло до меня так, что, когда я читал, возле меня уже стояли человек десять и ждали. Я прочитал статью «Ликвидация остатков маньчжуро-японской армии». «Здорово?» — спросили меня. «Здорово!» — ответил я. И газета пошла дальше.

А когда ехал в метро, на руках у пассажиров была уже газета сегодняшняя, от 2 сентября. И тоже видно было: какое-то совершилось большое событие. Дисциплинированные в «прикусывании язычка», опасаясь внутреннего врага, наши граждане не могли теперь удержаться. Кто-то сказал: «Большие дела!» И ему ответили: «Так им и надо». «Кому?» — спросил я. «Тем,— ответили мне,— кто с нами шутки шутит. Проиграли». «Кто проиграл?» Мне сунули газету, я прочитал, что вчера, 1 сентября, в 5 час. 45 утра Гитлер повел германские войска на Польшу, что Англия и Франция объявили всеобщую мобилизацию. И когда потрясенный, пораженный, поднял голову, меня встретили горящие глаза, понимающие мое душевное состояние. И мне сказали:

— Они проиграли, они не догадывались: время работало на нас.

3 сентября. Так вот через 25 лет (мне тогда было — 41 год) все переменилось в нашей стране, но я узнаю в себе возвращение того же самого чувства, того же волнения перед войной, как и тогда, в 1914 году. И тогда было сухо и стрекотали кузнечики, и теперь тоже курятся леса и стрекочут во множестве кузнечики. Только тогда Германия была врагом, а теперь другом, тогда Англия восходила, как благородное и великодушное светило, теперь Англия — государственная гнилушка.

4 сентября. Моя борьба.

Характерная черта моих писаний, что они своевольные,— вот почему писать сейчас в газете мне просто неприлично, выпираю из советской печати как белая ворона.

Вторая причина моего молчания, что русская речь в газетах и журналах вовсе лишилась юмора, без которого трудно у нас.

Все дивятся у нас, как Гитлер выражается: «Я приказал, я велел и пр.». Это «Я» на фоне нашего коммунизма возбуждает тревогу за героя, дунет ветер — и нет героя. Весь расчет его, по-видимому, на молниеносную войну.

6 сентября. Рано переехали в Загорск, ясно и холодно.

Ночью, засыпая, около двенадцати услыхал под полом где-то в чьей-то квартире бормотало радио так, что отдельные слова понимал, а вместе не складывалось, слова же были все страшные: самолеты, бомбы, разрушения... И утром уехал, не прочитав газет, и все думалось, думалось. А в вагоне и везде на людях после первого изумления опять стало, как было: все опять в рот набрали воды. Я думаю о том, что с тех пор, как Гитлер сказал о Молотове в рейхстаге, то почему-то за него стало как будто немного и страшно... И особенное опасение вызвал его ответ Рузвельту с повторением своего «Я»: я приказал, я распорядился и т. п. Опасение же было в том, не оказался бы вдруг герой авантюристом.

Сколько раз мне мелькало, как счастье, взять на себя подвиг телеграфиста, утонувшего в «Лузитании»: он, погибая, до последнего вздоха подавал сигналы о спасении гибнущих людей. И мне казалось, что в писаниях своих я займу когда-нибудь положение этого телеграфиста. Но где они, те люди, которых я стал бы вызывать на помощь: те, кого я знал, все сошли, и, чем они жили, больше не имеет смысла, те же, кто будет, впереди...

8 сентября. Рябины много в этом году. В сухую осень листья позднее желтеют, чем в сырую. Такие морозы, а деревья ничуть не пожелтели, зато листья водяных растений пожелтели.

Утром: дупели, два вальдшнепа, журавли.

Лучшее в русской традиции — скромность при тайном сознании силы, вроде того, что еду-еду — не свищу, а наеду — не спущу. Эта скромность закрылась истерическим криком о наших достижениях и появлением дикторов...

Единственную я знаю реку, где живет карась,— это Нерль в истоках у Семина озера.

Осенние гости: красная рябина и стог сена.

Разум — это своевольное движение.

9 сентября. Еще на сырых лугах брали шмели взяток на последних раковых шейках. Еще можно было увидеть пчелу на вереске.

11 сентября. Мысль в душе была, и я это в реке увидел ночью. Мысль моя была со вчерашнего вечера, когда прослушал вести с фронта и, вернувшись в «Мазай»[16], нашел там превосходное блюдо: коростели, запеченные в булочку. До того вкусно было, что показалось неловко так наслаждаться, когда полмира в огне. Но тут же я и спохватился: «Довольно этого, я заслужил!» После того вспомнились обиды литературные в том смысле, что это литературная среда такая, и пусть там они разъезжают в попытках найти вне себя такое, чего нет в себе самом. Пусть я и под тягостью всей среды буду прославлять бегущую через мою душу прекрасную жизнь.

Синий колокольчик сохранился в полной летней красе — последний остаток роскошного пира. На колокольчике сидел синий шмель, и я сорвал колокольчик, а шмель не проснулся. Я стряхнул его, и он упал. Потом я сел возле записывать о том, как мысль свою ночью я увидел в реке. И, пока я писал, луч солнца оживил шмеля, и он стал делать попытки подняться.

Мне сегодня представилось, что так легко можно написать свою долгоносимую в душе вещь, если трудные главы не выписывать, а оставлять в наброске. Важно добраться до «интересного», когда будет писаться само собой и оно определит, оформит материал предыдущего[17].

Как доберусь домой, так и начну и кончу.

В пять вечера отъезд из Нерль-Выдры.

Как это случилось, что все люди ненавидят войну и все в ней участвуют?

12 сентября. Петя вернулся с ночевки на Семине, привез два карася и три чирка. Я бродил в глухарином лесу. Вечером выехали на Нерль.

14 сентября. Утро на реке Мечке. Солнце, мороз, дятел стучит.

15 сентября. Прошлый год сгорел замечательный лес на Кубре.

Стоянка на Кубре: муравьи и дятлы.

Общее, всенародное отношение к миру с Германией недоверчивое, все думают о хитрости, одни — с нашей стороны, другие — с немецкой. И мы сами после первой (глупой) радости тоже очнулись, все равно и нам не миновать войны: победит Гитлер — с ним, его победят — с тем, кто победил.

Если каждый в отдельности не хочет убивать, а общество его к этому принуждает, то есть не для себя он убивает, а для будущего, и так распадается: жизнь для сейчас и жизнь для будущего — это неверно: или он неправ, или общество. По-настоящему будущее должно входить в сейчас (будьте как дети). Джим сейчас не хочет есть, а потому свой кусочек зарывает на будущее. А тоже и Павловна: как часто она не считается с тем, что мне сейчас надо, а прячет для моего же будущего (спрятала перчатки и сама не могла найти, и я зиму проходил без перчаток). Вот это и есть то **будущее,** о котором заботится общество, а человек хочет **сейчас** — и в этом вся борьба между личностью и обществом.

16 сентября. Мороз. Дятел долбит старый пень, вокруг полегли убитые морозом папоротники. Токуют тетерева.

Еще надеются те, кто верил благодушно в прогресс, что все еще как-нибудь обойдется: что, например, Англия и Франция только для виду «наступают», а кончится все после покорения Гитлером Польши, перемирием и соглашением. Но зарницы конца света сверкают во всех странах, и растет, и растет у нас, обывателей, уверенность в том, что нет больше ничего бесспорного и стать больше уже не на что...

Эти лилии — их блюдца, и нити, идущие от них в глубину, так грациозны, будто они и с их блюдцами и рыбками родились от удара тонких музыкальных пальцев по клавишам фортепиано. С одной на другую переходишь, и вот везде по реке до леса начинается музыка, и кажется, все это давно не из воды, а из музыки вышло.

Но для кого это все нужно, для кого я все это открываю, тружусь, кого я могу убедить, если ни Шекспир, ни Данте, ни Пушкин не могли убедить и с ними теперь не считаются?

Или, быть может, это мы (одно слово неразборчиво), и есть истинный мир, отданный теперь на распятие.

18 сентября. Мороз. Новость: наступление.

В пять вернулись в Загорск.

19 сентября. В 8.40 едем в Москву.

Есть разное «будущее»: одно будущее — это на что надеется женщина, лаская своего ребенка, и другое будущее, которым оправдывается тиран перед народом, когда сулит ему жизнь не сейчас, а потом. Одно будущее выходит, развиваясь из настоящего, другое — из жертвы собой.

20 сентября. Покупка часов: весь день бегал и ни одних часов во всей Москве не нашел (раскупили стахановцы — любят часы). Купил на улице гигантские.

Машин заметно меньше в Москве, и кажется (может быть, только от этого), что людей тоже меньше, а люди стали серьезней и лучше.

У всех огромная внутренняя работа, у всех и у каждого. Но еще почти никто не смеет говорить незнакомому вслух о своих догадках, сомнениях, все прошли суровую школу.

21 сентября. Речь Гитлера в Данциге о **бессмысленной** войне 1914 года, о поджигателе войны (Англии), об ограниченности целей Германии («Германия не имеет военных целей») и что если Англия начнет и теперь войну (а разве она не начала?), то сколько бы лет эта война ни продолжалась, Германия не капитулирует. Он разрушил сказку о том, будто Гитлер хочет завоевать всю Европу до Урала.

Гитлер говорил, что Польша **была**... и за 18 дней кончилась, и все потому, что в ней не было демократии. Что это, какая демократия?

22 сентября. Дождь. Речь Чемберлена. Почти сложилось решение писать «Мазай», как это проводилось на Нерль-Выдре. 1) Весна (на Волге), 2) Лето (пчелы), 3) Осень (пауки и пр.)[18].

Из разговора с Кожевниковым[19] (у него сыну 17 лет): оценка призыва 18-летних с точки зрения отца 17-летнего мальчика и с точки зрения гражданина государства, возвращенного к спартанским традициям.

Только через несколько часов после речи Чемберлена стало ясно, какой яд заложен в его словах о том, что «речь Гитлера не совсем точна». А то, что он говорит «война минимум три года»,— это он торгуется с Гитлером и запрашивает... Один пугает, что разнесет, другой, что пересидит.

Эсеры в политике спекулировали человечностью, большевик к человечности в политике не обращается.

Гитлер и большевики одинаково решают вопрос о человечности — в этом они близки.

23 сентября. Закончен дневник от 7—18 сентября.

Накануне решения писать «Мазай».

24 сентября. Два часа ночи.

Англия сливается с судьбой интеллигенции. В Германии чистка интеллигенции, свой Ежов. И, вероятно, тут было и у нас, и у них согласие.

Какой это нищий, если палкой или кинжалом добывает себе «милостыню»? Так точно какой это человеколюбец, если гуманность делает политикой? Политика.

Мало помню в жизни своей столь унизительного, как было, когда я пытался писать в газету с поля сражения: так стыдно было наблюдать, когда вокруг все действовали и умирали, стыдно было добровольно быть, когда вокруг все были в неволе и еще много всего унизительного (страх, напр.).

25 сентября. К сказкам, поэзии все относятся, как к чему-то несущественному, обслуживающему отдых человека. Но почему же в конце-то концов от всей жизни остаются одни только сказки, включая в это так называемую историю.

26 сентября. Вчера с вечера летел первый зазимок, и утром на перилах, на лестницах, в лесу на пнях лег белый пушок и почти до обеда не таял. К вечеру же сегодня опять пошел частый снег.

Вчера начал писать «Интересное путешествие»[20].

27 сентября. Ездил в Александровку пробовать Свата. Наблюдал перелет с севера синиц: главная масса состояла из длиннохвостых гаечек с белыми головами. Одна из них села возле меня, сронив с березки несколько золотых листиков, она была так грациозна, снежно-белая головка так прекрасна, и вокруг деревья, потерявшие «плоть» свою, были такие духовные, как видения светло-зеленые и золотые. Вместе с длиннохвостыми гаечками двигались и гаечки простые и корольки.

Я думал, глядя на них, что **чувство свободы,** углубляясь до конца, должно неизбежно доходить до мысли о **бессмертии** личном...

Есть на каждого человека, на каждую вещь и на все живое в мире и мертвое такая **серединная** точка зрения, отчего и человек, и вещь предстоят, как нечто бывалое, в чем нет ничего нового, и всякая надежда увидеть нечто новое исключается, и тогда говоришь «суета сует» и вспоминаешь Недотыкомку Сологуба и его Передонова[21].

Я думаю еще о грехе наших философов (В. Соловьев), грехе разделения природы и человека как бы в две разные субстанции: нет этого, субстанция одна.

Этот грех разделения отдал живое чувство природы на потеху «поэзии», как чему-то шуточному, несущественному (как поп-пчеловод говорил о «Жизни пчел» Метерлинка: хорошо, но... это поэзия).

28 сентября. Опять бросило крупным снегом и растаяло.

Хорошо писал «Этажи леса»[22]. Вечером поехали в Москву. По пути женщина-скульптор и разговор в пятнадцать минут от Пушкина до Тарасовки на тему — что с внешней стороны во всем свете война, человек бьет человека, а внутри небывалая жажда любви.

29 сентября. Москва. Договор о дружбе с Германией.

30 сентября. Риббентроп, уезжая, сказал слова о новой истории Европы. Решение ждать влияния событий на писательскую жизнь и писать.

Нравственное затруднение всегда является на пути **лично,** и для борьбы с этим политики абстрагируются, то есть отвлекаются от **личного,** создавая **общее** (Евгений и Петр)[23].

Можно ли назвать героем того, кто истратил все свои силы в борьбе со злом своей натуры и пусть даже победил? Нет, героем станет лишь тот, кто даст «сверх себя»: большевик и фашист — разные названия сверхчеловека.

Англия, не испытав социальной мобилизованности, не может понять, как и чем побеждают Германия и Россия, подверженные этической блокаде. Им бы надо было подумать о силе, возникающей при расщеплении атомов. А тут при социальной мобилизации как раз и является эта сила из расщепленных индивидуальностей.

— Позвольте! А может быть, и вся власть государственная базируется на расщеплении индивидуальности (атома)?

Политическая атмосфера определилась: опираясь на слова Гитлера, мы стали ждать мира.

Мы! Те самые мы, которые с 1914 года, то есть 25 лет, четверть века, находимся в состоянии войны.

Плохо живется — голодно, пусто, и когда плохо — больше делается в народе плохих людей, и когда больше плохих, сильнее становится деспотическая сторона государственной власти. Так вот и случилось, что во всех обедневших после войны 14—17 года странах установилась диктатура: в Италии, Германии, России.

Я не свободный, как говорят о себе поэты,— я невольный поэт и, сколько ни пробовал, не мог выбиться из этой природной неволи.

1 октября. Решил выйти из Тургеневской комиссии.

Плановое хозяйство возникло в беде, когда нужно было собрать и удержать в руках государство. Когда будет мир и всего будет довольно, то, конечно же, не надо будет ни карточек, ни плана.

2 октября. В шесть вечера выехали под Новое на «Мазае» с Аксюшей. Прекраснейший день. Еще много в лесах расцвеченных, теперь ажурных деревьев. Расцвеченные зарей облака... Ночью гуси летели.

Нашли впадину в яре над Кубрей и в него вкатили «Мазая».

3 октября. Весь день снег и к ночи большая метель. Убили трех вальдшнепов.

4 октября. Первая пороша. Петя идет на зайцев. По народным приметам зима ложится через месяц после первого зазимка. Нынче первый зазимок был на Воздвиженье (14 сент. ст. ст.).

Варвары способны жить дольше и делаться людьми культурными, но вы, плуты, достигнувшие вершин цивилизации,— что можете вы дать сверх своего собственного благополучия?

Больших людей судят по делам, маленьких — по совести, и «честные» люди — это маленькие, а большие для своих дел могут быть бесчестными, плутами, разбойниками и чем угодно, большим нужно только дело и девиз их: цель оправдывает средства, и победителя не судят.

5 октября. Жизнь всех людей переменилась, потому что каждый теперь про себя передумывает свое понимание жизни.

Открывается политика, похожая на борьбу двух зверей, Германии и Англии. Гитлер завлекал к себе зверя А., чтобы поймать в западню. Он пугал А. тем, что СССР отнимет у него Индию, Египет... И когда зверь А. вступил в западню, внезапно прогремела пружина: то был военный союз с СССР. Коварство необычайное, но дипломатические, военные и охотничьи хитрости — явление обычное между зверьми. Вот чего и боится наш русский человек, когда слышит о «дружбе» с фашистами.

И еще русский человек боится «ярма» и даже знает, что оно при всех условиях обязательно для него.

Никогда у нас не было сознания собственного достоинства и «заграница» всегда считалась сделанной как бы из другого материала: мы как бы хлопчатобумажные или дерюжные, а там люди шелковые. Теперь начинает это меняться...

Варвары жить хотят, и в этом оправдание их жестокости.

6 октября. Марш вместо молитвы утренней.

Договор с Латвией.

Продвижение «Этажей леса».

Чудо: пороша, как напала, так и лежит.

Еще не верится, но мелькает надежда, что дождусь времени, когда люди станут на свои места и каждый будет уверен в завтрашнем дне.

7 октября. Чувствую отвращение ко всякому собиранию, ничего не хочется хранить. Это получается в результате многолетней неуверенности в завтрашнем дне. И вот теперь как будто мелькает возможность... И видно, это в Европе у всех.

Декларация Гитлера от 6 октября в рейхстаге чуть-чуть разочаровывает: так мало немцы хотят! Похоже не на мир, а на новую сторону войны.

Ночью на 8-е. Перелет. Гуси летят ночью.

8 октября. Сегодня дошел черед и до Литвы: приехали заключать пакт. Верно ли, что люди не хотят воевать и что это делается «лишь в интересах международных банкиров» (речь Гитлера)?

Творчество свойственно не только писателям, едущим в творческую командировку, но решительно всем: творчество есть путь свободы.

Отличная пороша даже и в Москве.

В воздухе висит: война или мир? Ждут отставки Чемберлена. Слухи о возможности дружбы с японцами (запрещены антияпонские фильмы).

Явилась мысль о «Рассказах дедушки»[24].

Роскошные вещи, собранные мной в московской квартире, имеют один недостаток: они не мои. Моих вещей как-то вообще нет, но в лесу деревья, цветы на лугах, облака на небе — это все мое.

10 октября. Шесть утра, радио: Ллойд-Джордж о необходимости созвать конференцию держав.

11 октября. Опять вернулось ясное время, мороз –6°.

Чаша весов покачнулась в сторону мира.

Сегодня Вильну отдали Литве.

Дошел слух о письмах антифашистских писателей, в том числе и Ромена Роллана, выступающего в нем против союза коммунистов с фашистами.

12 октября. Пруды замерзли, и лед засыпан еще зелеными листьями.

14 октября. Загорск. Мороз –5°. Солнце.

Ход революции сопровождается таким нарастающим комом лжи — как лавина с высоких гор. И оттого я сомневаюсь, что возможно написать о революции подлинно художественное что-нибудь. Я даже замечал иногда, что, читая что-нибудь с интересом, вдруг поймешь, что автор ведет к революции; тогда становится вперед известно, чем кончится, и всякий интерес пропадает.

Как будто жизнь дает такой образец лжи, что попытка автора дать свою «фабулу» (обман) не удается. Жизнь как бы лишает автора права на обман.

Создалась бы интересная литература, если бы автор взял на себя говорить только правду: в то время как жизнь есть ложь, в книге была бы правда — это было бы, наверно, очень интересно. Только такую правду говорить нигде не дадут.

Вот почему никакой поэт не может любить эпоху революции.

15 октября. Слышал по радио романс, или, может быть, во сне привиделось такое чувство, будто бы кто-то пел о своей ранней любви, когда он сливался со всей природой и видел красоту ее в теплое и тихо цветущее время и одинаково мог наслаждаться осенним завыванием ветров и зимними снежными бурями. «Теперь же,— заключает певец,— я природой могу наслаждаться только в хорошую погоду».

И так огромное большинство людей на свете приходит к такому концу, к погоде вместо природы и к даче вместо Земли. Вот откуда произошел «Жень-шень»[25]: из нерастраченного чувства любви, свидетельством чего и является сильное чувство природы. Весна была как бы вызвана человеком и заключена им навсегда для себя (осталась весна вместо любви).

Дикторы замучили информацией с Зап. Украины и Белоруссии. Диктор — это явление механизации, все равно как шофер, едущий по приказанию.

Гитлер, вероятно, про себя думает, что этот потолок Маркса — Энгельса в России хорош для усмирения русского анархиста-нигилиста, и он же держит в руках... Словом, это учение, как хороший кнут для всех иноплеменников (и евреев сюда же): для смешанной крови, а для Германии чистой крови — другая идеология.

16 октября. Ночью был наконец-то дождь. Вчера в овраге убил вальдшнепа.

Кажется, очень ленюсь, но когда почитаешь записки свои, то ясно видишь, что я ленюсь лишь писать для печати.

Вчера по радио слушал выступление «академика» по случаю 125-летия рождения Лермонтова. Он не мог и здесь не сподхалимничать.

18 октября. Отдыхал, пытался писать и вечером поехал в Москву. По дороге любовался людьми русскими и думал, что такое множество умных людей рано или поздно все переварит и выпрямит всякую кривизну, в этом нет никакого сомнения: все будет **как надо**.

19 октября. Повернуло опять на мороз.

Мысли-чувства в детстве-юности, из которых потом развивается душевная жизнь,— это было первое: в Тюмени (мне 19 лет) синичка на окне, и мое необычайное волнение при виде ее, волнение от чувства связи их мира и нашего, и что синичка эта есть во мне самом. Из этого развилось мое чувство родственного внимания и вся моя литература[26].

Тот распад, о котором я сейчас поднял речь, на холодную уверенность в победе социализма и на вопрос о себе претворился в Надо и Хочется.

И взять хотя бы даже наш Союз писателей, разве не есть он воплощение этого Надо, взять самого Фадеева, как в нем борются это Надо (секретарь) и его Хочется (писатель).

В этом свете встает сейчас старая тема о войне: что будто бы «все хотят мира, следовательно, не надо войны». Все **хотят** — это верно, но **следовательно** — неверно. «Все хотят мира, и все должны воевать» — вот истинная трагедия.

21 октября. Москва. Тургеневская комиссия. Сбежал от комиссии.

Эстетически узаконенная слабость (Тургенев).

23 октября. Мороз. Солнце. Остатки снега. Охотились в Двориках. Ранили зайца и больше ничего.

25 октября. Падение барометра. Переживаю неприятности от второго письма Фадеева по поводу пчелки-свободы. Довольно было раза два случайно сказать «свобода», чтобы все редакции взбеленились. Тут даже авербаховские времена вспомнились как свободолюбивые. Помню, тогда до того дошел, что умирать собрался. Теперь не хочу умирать, потому что прошел Авербах, и это прошлое ручается в том, что и наше время пройдет.

Побаиваюсь, не стать бы для всех них пугалом.

Намечаю сегодня перейти к весне света, потом к воде, все собрать, связать и разом все написать.

Скоро такая начнется реакция, что во всех литературах останутся одни подхалимы. Но помирать собирайся — рожь сей: будем пока что писать для детей[27].

Дорогой А. А.[28]

Ваша политграмота о свободе справедлива, но она коснулась моей души приблизительно, как коснулась речь Онегина души Татьяны Лариной. Увы! Я свободой считаю то самое, что называют любовью: способность создавать из хаоса личности, уметь находить в себе родственное внимание к окружающему миру. Моя «свобода» — не фальшивая свобода либералов вроде Герцена, а то самое творчество, которое рано или поздно создаст для всех нас желанный мир на Земле.

26 октября. После суток дождя сегодня все еще дождь.

Ужасно, что к каждому священному Надо, как в пустыне к огню, зажженному странниками, собирается всякая нечисть и пользуется этим Надо, чтобы гасить всякое священное Хочется. Напротив, всякое похабное Хочется, присоединяясь к великой Свободе, выступило против священного Надо.

Если ты себя считаешь сыном своего русского народа, то ты должен вечно помнить, в каком зле искупался твой родной народ, сколько невинных жертв оставил он в диких лесах, на полях своих и везде. Наш долг перед потомством помнить о них и до того допомнить, чтобы наше сознание получило наконец-то понимание этих (одно слово неразборчиво) удовлетворение.

Риббентроп сказал, что политическая дружба Германии и России «чрезвычайно популярна среди обоих народов». И это верно.

Большой успех «Серой Совы».

В словах Христа «Будьте, как дети» важно «будьте», то есть что детство — это не есть просто детство физическое, а сотворенное и что мы в нем не дети, а «как дети».

1 ноября. В семь утра речь Молотова. Новых мыслей тут не было.

2 ноября. Перед праздниками **выкинули** (так говорят) разные товары, напр., икру, которой мы уже с год не видели.

3 ноября. Трухануло снежком.

Два основных своих стремления могу я в себе проследить, начиная от первых проблесков моего сознания (лет с восьми): это первое — быть не таким, как все, и второе — остаться со всеми. Но поглядим на каждое организованное существо, возьмем даже дерево, и мы увидим, что оба эти мои стремления являются условием существования в природе всякого организма (корни, листья, этажи).

Быть не таким, как все, впоследствии оказалось, значило быть самим собою, а остаться со всеми — это превратилось в обязанность быть культурным человеком.

Первую половину своей жизни, до 30 лет, я посвятил себя внешнему усвоению элементов культуры, или, как я теперь называю, чужого ума. Вторую половину, с того момента, как я взялся за перо, я вступил в борьбу с чужим умом с целью превратить его в личное достояние при условии быть самим собой.

4 ноября. Три часа утра. Вчера по радио слушал «Онегина» и... думал о том, что сколько же могут люди сделать за мгновенье своей жизни — вот как Чайковский; и о том, что как эти люди, видя на каждом шагу смерть, зная, что сами вот-вот

умрут, живут кое-как, мирясь со всем, соглашаясь на всякую подлость, лишь бы не лишиться куска хлеба и кое-как дотянуть до конца.

10 ноября. Дождь. Ехать на охоту или в Москву?

Человек, который замечает свои поступки и про себя их обсуждает,— это не всякий человек. А человек, который живет и все за собою записывает,— это редкость, это писатель. Так жить, чтобы оставаться нормальным и быть с виду как все и в то же время все за собой замечать и записывать, до крайности трудно, гораздо труднее, чем высоко над землей ходить по канату. Вот почему труд настоящего писателя рано или поздно, иногда и после смерти, находит высокое признание, и это последнее вызывает на соревнование множество людей — претендентов на это высшее положение. К сожалению, новое очень трудно писать, и потому спекулянты, легкие писатели, всякого рода забавники прежде всего получают признание.

Я иногда думаю предложить эту догадку, что вся природа со всеми своими обитателями знает гораздо больше, чем мы думаем, но они не только не могут записать за собою, но даже лишены возможности вымолвить слово.

Лада, милая собачка, что ты скажешь? Ну собирайся, друг, шепни одно только человеческое слово — и мы с тобой победим весь мир зла! Так я не раз говорю своей Ладе, когда она положит мне голову на плечо и страстным хрипом пытается высказать свою признательность и любовь.

Слушал речь Фадеева на курсах писателей РСФСР, и от пустоты слов, повторяемых неумным и плохо образованным человеком и очень плохим оратором, стало пусто в себе до того, что прямо после речи сбежал и мне хотелось умереть.

11 ноября. Спасаюсь работой.

Основная тема Фадеева — это что правительство наше идет далеко впереди писателей, и выходит, значит, что писателю надо лишь популяризировать нечто готовое...

Какой это вздор! Возьмем хотя бы идею мира нашего правительства. Это верно, правительство устраивает условия мирной жизни, но собственно мир должны сделать мы. Так, если взять для сравнения, скажем, идею увеличения населения: спасибо правительству, что оно строит родильные дома, но детей рождать будет не правительство, а женщины. Вот это-то и ждут теперь от нас и всячески поощряют, чтобы мы рождали, а не помогали строить родильные дома.

13 ноября. Барометр опять падает, и опять болит спина. И до того болит спина, что кажется, будто и в душе есть тоже спина и там тоже болит от тяжести повторения в газетах, собраниях и по радио слов о прелестях нашей счастливой страны.

Пока я пил чай, Бой стоял возле в ожидании, что будет, когда я кончу стакан: пойду ли с ним погулять или же дам ему остатки своего завтрака? И как только я, допив стакан, взял перо и развернул записную книжку, он зевнул, обернулся, пошел в переднюю и там рухнул на свое собачье спальное место. Я же понял его так, что с точки зрения животного нет ничего бессмысленнее занятия литературой.

И должен откровенно сказать, что часто и я сам гляжу на себя с точки зрения животного и нахожу то же самое: нет ничего бессмысленнее для живого существа занятия литературой.

Потребность писать есть потребность уйти от своего одиночества, разделить с людьми свое горе и радость. Было время, когда я в одиночестве своем дошел до того, что стало невыносимо и страшно оставаться с самим собой. И когда я в таком состоянии вздумал писать, оставаться с самим собой мне стало нестрашно. Я тогда же понял, что занятие искусством слова исходит из потребности поделиться с кем-нибудь своим душевным миром. Но я видел, с какими чувствами люди идут на похороны и с какими на свадьбу. Вот почему с первых же строк своих горе свое стал я оставлять при себе и делиться с читателем только своей радостью. И так поиски материалов для писания обратились в моей практике в поиски такой радости жизни, которая бы, как именины или свадьба, созывала ко мне хороших друзей. Не так-то легко это — вечно справлять весну и свадьбу, месяцами, десятками лет я учился переносить личное горе и делиться радостью жизни с другими. (Успех мой в литературе был как раз такой, какой обеспечивал мне минимум для занятия ею.)

Вы видите, беда, личная трагедия привели меня к такому неестественному для

живого существа занятию, как отсиживание в одиночестве многосуточных часов за столом. И вот теперь мне предлагают научить этому молодежь.

14 ноября. Заключаю, пересмотрев прошлое, что неизменным у меня остается лишь смутное, невыразимое словами чувство родины. Вот этот пред-рассудок и определяет мои отношения к странам, лежащим извне, и к большевикам.

Подозрительно становится, что Гитлер стал слишком много говорить, хвалиться, становится очень похож на ...[29], и даже по этому похожему начинаешь подумывать о том, что слова нечто закрывают.

Да, и у них, и у нас есть одно и то же уязвимое место — это именно Личность человека, заменяемая стадностью.

16 ноября. Тяжело переживаю вести недобрые, что будто бы наши «писатели» с другими подобными им «артистами» выступали в Польше, как мародеры, приобретали «дешево» золотые часы, бостон, коверкот и на приобретенных машинах привозили добро свое в Москву. Вследствие всего такого будто бы цены быстро повысились во множество раз и начались всюду очереди, как у нас. В связи с этим Лебедев-Кумач получил новую кличку, как «Лебедев-бостон». Мародерство, конечно, бывает во всякой войне — не это тяжело, а то, что эти люди стоят во главе интеллигенции и попросту отбивают кусок жизни у порядочных людей.

Действовать как-нибудь с пользой в этой среде невозможно. Надо ждать и работать, представляю себя телеграфистом гибнущего судна.

20 ноября. Лекцию свою читал два часа и так устал, что до вечера в горле хрипело. Все сошло хорошо, и мне удалось даже ввернуть «диктатуру дикторов».

Вечером из беседы со всезнающим человеком почувствовал, в какой беде наша страна и как закрыт для нас глухо горизонт лучшего.

Первоначальная радость, что мы горе переживаем с Германией и вместе с ней выберемся, теперь сменилась унижением: в лучшем даже случае она будет есть карасей со сметаной, а мы с постным маслом, а скорее всего вовсе без масла. Говорят, что будто бы Англия с Германией помирятся...Как это ужасно — жить, ничего не зная! Снилось мне, будто от врагов я залез в какую-то белую скользкую узкую кишку и быстро по ней продвинулся, но потом оказалось, кишка эта впереди была затянута и в ней не было воздуха, а назад и повернуться нельзя, и там враг, я тогда начал задыхаться и проснулся. И стал думать о том, что Христос, какой бы он ни был, церковный или духовный, как идея, есть лучшее, что выжало из себя человечество на своем бедственном пути. И что в конце, если я возьмусь, то с Христом...

22 ноября. Глубокая пороша, –1°. Весь день с восьми утра и до пяти вечера гонял одну и ту же лисицу возле Черного моста и не убил.

«На зуборезном и долбежном станках» (радио).

28 ноября. Москва. Писал утром. Вечером в Загорск. Метель, в Москве мокро.

29 ноября. Ночью +5°. Снег осел. Поля как в апреле: сорочье царство. Охотились в Териброве. Потеряли собак (а как лисицу-то гнал Трубач!). Вернулись в Загорск с тем, чтобы утром искать собак.

— Василий Алексеевич[30]! — сказал я.— С тех пор как мы жили в вашем колхозе, лучше ли стало?

— Хуже, много хуже, Михаил Михайлович,— ответил Вас. Ал.— Первое хуже, что людей стало много меньше: работать некому. Второе хуже, что недостатки и, главное, что одеться не во что, пальтишко купить ребенку — ехать в Москву, а в Москве надо жить неделю, чтобы случай поймать, когда выдают. Во что же тогда обойдется пальтишко?

Еще же и главное упирал Вас. Ал. на войну, что это бессмысленно убивать людей и жить для того только, чтобы убивать. И нет ничего в жизни против этого: семейственность разрушена, ребятишки живут хуже, куда хуже зверят. И много всего насказал. Я ж ему сказал, что все горе у нас, стариков, в памяти, что мы не можем забыть филипповский калач.

— В три копейки! — подхватил Вас. Ал.— А другой, большой, в пять копеек.

И пошло, и пошло о старом времени, когда за пять коп. в харчевне можно было хорошо пообедать, когда люди на улице не толпились и всем хватало.

До того я наслушался Вас. Ал., что потом в машине стал жаловаться Пете, что ведь мы, тощие и голодные, должны три года, как говорят англичане, воевать. Ну, нам, старикам, умирать, а как вам?

Мой вопрос, обращенный к Пете, ужасно не понравился Яловецкому, и после многих слов о безнадежном будущем для молодых людей сказал из глубины машины:

— Никто, как Бог!

Лес завален снегом, зима. Но дрозды все еще трещат на рябине и будут трещать и не улетят в теплые края, пока есть рябина в лесу.

30 ноября. Опять оттепель. Ездили искать собак. Нашли.

Каждое живое существо, ночуя в лесу, чует погоду, потому что бывает все целиком связано с нею, с ветром, теплом, дождем, снегом. Мы сами, когда ночуем на открытом воздухе, живем по-иному, чем в комнате. С трудом разглядели на снегу растопыренные пальчики от лап белок.

Если бы погода каждый день была бы одинаковая, то у зайцев, как у лисиц, барсуков, было бы постоянное жилище. Но зайцу надо скрывать свои следы, и потому он вынужден следить за погодой и в полной зависимости от нее в каждый заутренний час переменять места своей вчерашней лежки.

Сегодня в восемь утра наши войска перешли финскую границу. По радио ругали правительство Финляндии, называя то шутами гороховыми, то свиными рылами.

1 декабря. Тоже оттепель с ночными заморозками. На полях пестрота. Сорочье царство.

Наши громят Финляндию.

Павловна говорит упорно, что теперь богатые крестьяне так не живут, как жили самые бедные.

— Вот,— говорит,— к примеру, наша семья, я нуждалась из-за отца: болел отец, мать одна не справлялась. А когда подросли мы, переменяли весь холст на надел, и хлеба стало довольно.

— Только что хлеба.

— Нет, мы еще песенки пели.

— А теперь радио.

— Что радио! Мы **сами** пели!

Так оказывалось из ее слов, что потеряна «самость», а без этого жизни и быть не может у людей.

3 декабря. Вчера заключение договора с новой Финляндией, все события как замечательный исторический пример об-мана: чем живет ежедневно «простой» человек? Добыванием средств существования, и на этом игра: крестьянину кусок земли от помещика, рабочему 8-часовой день. После того окажется, что не в кусочке земли дело и не в часах работа, что в этом «мане» нет ничего: об-ман. Но через обман голос отдан, и дальше пойдет все само собой и так, что и вообразить даже не мог себе.

Вспоминаю, 90-летнюю старуху сняли с печки, неграмотную, больную, и отвезли в избирательный участок и там велели ей опустить готовый конверт. С какой-то точки зрения (внутренний человек) бессмысленно, а с какой-то полно смысла, то есть что своя воля, свое сознание уничтожено: ведь все старухи опускали голоса, и так стало, что нет **этой** старухи, а есть **все:** это переделалось во все.

5 декабря. Оттепель. Следов столько, что трудно было зайца поднять, а гонять еще труднее. Охота была скучная. В голове крутятся сообщения по радио о вызове СССР в Лигу Наций, о споре «все куплю» и «все возьму».

8 декабря. Опять ночью застаешь себя на мысли о смерти, хочется самому своей волей уйти из этого мира. Против этой увлекающей мысли я ставлю решение, в критический момент повесить себе на шею крест — тоже смерть, но не скотская, а человеческая. И крестик уже заготовлен, Аксюша купила за рубль (раньше стоил копейку).

16 декабря. Какой-нибудь месяц пройдет, оглянешься на себя и подумаешь: каким же месяц тому назад я был дураком! Вот как теперь быстро жизнь идет и как быстро люди умнеют.

Если война затянется, то она сделается всем нам, как война за будущее, которое мы уже не увидим.

И так вот в тоске рождается такое холодное чувство к этой войне, к этой мировой революции: сам-то будешь умирать ведь не за это же, не твое это, не участвуешь ты в этом и тому, чему надо быть, оно само придет в будущем.

18 декабря. Москва. Ночь.

Будущее всегда принудительно, всегда человек «не сам». Только в настоящем действует «сам», и если бывает Сам в будущем, то лишь в том случае, если он Будущее сделает своим настоящим и станет жить, как Дон Кихот. (Санчо Панса тогда выделится из него, как его Настоящее.) Точно так же бывает комично, если кто-нибудь из настоящего перекинется в прошлое и будет его утверждать, как настоящее (семилинейная лампа).

Евгений («Медный всадник») — это «сам-человек», и Пролетарий должен быть Сам-человек. В нынешней войне никто не Сам и больше всех не Сам тот, кто организовался в СССР (в Единство против (одно слово неразборчиво) за Настоящее, за «я» — человек).

Нет большего противоречия, нет более сильного парадокса, как утверждение, что СССР воюет за мир.

В войне антиморальна не драка, а принципиальное обоснование драки, сознательность, приводящая к удушливому газу, то есть путь добрых намерений в ад.

19 декабря. В жизни бремя свое не минуешь, но одно бремя — это живешь хорошо и вдруг ни за что ни про что попал в капкан и считай, что вся жизнь была бессмыслицей. Другое бремя — это когда вперед человек о нем знал и ждал его, как неминучее, как естественный налог на живого человека в пользу будущего Всего человека.

Вот это в моем сознании всегда было, я всегда говорил себе как бы, что «принимаю», но все-таки жить хорошо...

Смерть — это налог на живого человека в пользу будущей жизни.

21 декабря. Сталинский день. Государственный автомат славил.

22 декабря. Природа создает простейшие средства, и кто близок к природе создает тоже просто, как Лев Толстой. Чем скупей описание, чем меньше слов, тем сильнее ландшафт. Лучше всего бы даже молчать...

Тургеневский пейзаж как явление либерализма.

28 декабря. Пишу о «доме на колесах», пишу, убиваюсь, умереть готов, лишь бы написать «Неодетую весну», а самый «дом» комиссариат заготовок пытается отобрать и как нахально... Будь бы, главное, борьба, настоящие враги, а то просто глупость, идиотизм полнейший... И вот тоска, тоска грызет в 67 лет пуще, чем в юности.

29 декабря. Вчера были Удинцев, Попов и Клавдия Борисовна[31]. Было приятно, весело, тоску как рукой сняло. Значит, тоска от безлюдия, а не от чего-нибудь в животе.

30 декабря. В магазинах нет ничего, даже сахару, десятки тысяч людей простаивают дни и ночи в очередях: каждому хочется достать что-нибудь к празднику, и хоть нет ничего, но надеются, что «выкинут». И все объясняется тем, что в январе будут цены очень повышены и товары сейчас по «дешевым» ценам не пускают.

Всякая власть во все времена держалась обещанием (на векселях). Сейчас у нас облигации на счастливую жизнь здесь, на Земле, и для всех трудящихся. Подумать только: ведь здесь, на Земле, и для всех,— и то все не терпится. А ведь раньше когда-то довольствовались даже векселем на загробную счастливую жизнь, и то не для всех, а лишь для «овец» (под «козлами» разумели, наверно, не верующих векселям). И если чающие будут и вокруг все повышать и повышать свои требования, то до чего же то дойдет в конце-то концов.

Не знаю даже фамилии этой женщины, но она так наполнила, обвернула меня кругом своим влиянием... Знает ли она сама об этом? Мне кажется, тут началось с первого взгляда что-то: друг на друга взглянули — и пошло «по воздуху»[32].

31 декабря. Все мое писательство в совокупности есть любовная песнь с единым смыслом всей поющей весенней природы: «Приди!»

В этом неумирающая сила поэзии всей и моей поэзии, как яркий пример Всего.

Нельзя более обозлить народ, как у нас обозлили под этот Новый год: десятки тысяч жен рабочих стояли в очереди, дожидались продуктов, которые, в свою очередь, дожидались повышенных цен. И все-таки от непрерывных передач по радио о счастливейшей в мире стране никого не взорвало, никто не разбил ни одного стекла, не взломал ни одного ларя. И каждый по своему достатку терпеливо (одно слово неразборчиво) устраивал себе праздник в своей норке.

О, как же опошлено это французское: «Ищите женщину!» А между тем этим сказано, что в глубине всего искусства только женщина, и если нет ее, то нет и самого искусства, нет поэзии и только «проза».

Есть **очаг** искусства, который нельзя назвать своим именем без риска дать повод пошлякам глумиться над поэзией, музыкой и всяким искусством. Все музы опошлены, но священный очаг продолжает гореть и в наше время, как горел он с незапамятных времен истории человека на Земле.

(Переписано с отдельного листочка):

Из биографии моей, когда я стал на писательство: это найденное есть безобманное, непродажное — это есть я сам; тут мое самоуважение, мое достоинство, моя честь — это я сам и мой дом; неприкосновенное, и никто не может вмешаться: будут брать днем — ночь моя, будут в деревне — я в городе, в Москве — я в Ленинграде, я везде, ищите.

Никому нет дела до этого мира, и я его никому не навязываю: это моя сказка.

КОММЕНТАРИИ

[1] Князь Трубецкой В. С. (1890—1937) — товарищ по охоте, дружил с Пришвиным в годы жизни в Сергиевом Посаде (Загорске), погиб в сталинских лагерях.

[2] Лицо не установлено.

[3] Канадский писатель Вэша Куоннезин (Серая Сова) — под этим псевдонимом выступал в печати Джордж Стенсфелд Белани (1888—1938).

[4] Пришвин — Алпатов Л. М. (1906—1957) — старший сын писателя.

[5] Имеется в виду известный до революции литературовед и социолог, многолетний друг Пришвина Иванов-Разумник Р. В. (1878—1946).

[6] Игнатов И. Н. (1858—1921) — двоюродный брат писателя, публицист.

[7] Игнатова Е. Н. (1852—1936) — двоюродная сестра писателя, народоволка, всю жизнь проучительствовала в земской школе, оказала большое влияние на формирование личности молодого Пришвина.

[8] Семашко Н. А. (1874—1949) — товарищ Пришвина по елецкой гимназии, деятель большевистской партии.

[9] По свидетельству сына поэта П. А. Вяземского, «Медный всадник» включал большой монолог безумного Евгения перед памятником Петру I. По заключению исследователей, мнение это ошибочно, так как в рукописях поэмы следов подобного монолога нет (см.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 6-ти томах, т. 2, М.—Л., «Academia», 1936, с. 602).

[10] Аксюша — родственница жены Пришвина Ефросинии Павловны, сопровождала писателя в качестве помощницы в его путешествиях, героиня повести «Неодетая весна».

[11] Имеется в виду повесть «Серая Сова».

[12] Возможно, помощница по хозяйству жены Пришвина Ефросинии Павловны.

[13] Пришвин П. М. (1909—1987) — младший сын писателя.

[14] В библиографии опубликованных произведений Пришвина данные статьи не значатся.

[15] Рассказы были включены писателем в цикл «В краю дедушки Мазая».

[16] Так Пришвин называл свой грузовик — «дом на колесах», который получил от газеты «Известия» и на котором уехал наблюдать весенний разлив рек в некрасовские места возле деревни Вежи. Героем повести «Неодетая весна» Пришвин продолжил линию рода Мазаев, связав таким образом свое путешествие (и рассказ о нем) с сюжетом поэмы Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы».

[17] Речь идет о романе «Осударева дорога».

[18] Имеется в виду цикл детских рассказов «В краю дедушки Мазая».

[19] Кожевников А. В.— писатель, один из сергиево-посадских друзей Пришвина.

[20] Речь идет о будущей повести «Неодетая весна».

[21] Персонажи книги Федора Сологуба «Мелкий бес».

[22] «Этажи леса» вошли в состав очерков «В краю дедушки Мазая».

[23] Речь идет о героях поэмы Пушкина «Медный всадник».

[24] Первоначальное название цикла рассказов «В краю дедушки Мазая».

[25] Одно из самых поэтических произведений Пришвина, «Жень-шень», сделало его известным в 30-е годы за рубежом уже как советского писателя.

[26] Запись связана с воспоминанием о жизни в Тюмени у дяди, крупного сибирского промышленника Игнатова И. И., где молодой Пришвин в 1892 году окончил реальное училище.

[27] Имеется в виду цикл рассказов для детей «В краю дедушки Мазая».

[28] Черновик письма А. А. Фадееву.

[29] Пришвин намекает на Сталина.

[30] Герой рассказа под тем же названием: «Василий Алексеевич».

[31] Удинцев Б. Д., Попов. В. Ф., Сурикова К. Б.— члены Комиссии по литературному наследию Мамина-Сибиряка, визит был связан с предложением Пришвину принять участие в подготовке к юбилею писателя.

[32] Речь идет о сотруднице Литературного музея Суриковой К. Б.

Вступление, подготовка текста, комментарии и публикация Л. А. РЯЗАНОВОЙ

●

«Бывают странные сближения...»

Светлана ВАСИЛЬЕВА

Три неба

Посвящается маме — Галине Александровне Васильевой

> Во время сна сильная скорбь охватила сердце мое, и сказал я: «Вот очи мои испускают слезы (во сне я не мог понять, что означает скорбь). Что же со мной будет?»
>
> *Книга Еноха*

О ЧАДАХ И ПТИЦАХ

Бумаги, как всегда, хватало. Ее было даже в избытке. Близость писчебумажного магазина, находившегося тут же, в тихом берлинском центре, и немолчный шум окружающих деревьев наводили на мысль о бесконечности природного сырья. За окном открывалось экологически чистое чудо — Европа.

Было раннее-раннее утро на чужой земле, под чужим небом, и сумрачный германский гений, должно быть, еще не пробудился, он бледно проступал четким планом домов, колоннад, арок, массивами парков и кладбищ под охраной грабов и лип, взявших этот город победителей и побежденных в последний и вечный плен.

А среди деревьев, непосредственно ко мне примыкавших, отчетливо обозначилось одно — стволистое, тысячелистное — каждый лист, как ладонь, полная ярких белых соцветий, вот-вот готовых пролиться и, с веселой безысходностью хлопнувшись о серый асфальт, стать сухим, шуршащим под ногами поп-корном.

Неизвестная птица прокричала с такой прощальной скорбью, что мне показалось: вот сейчас, в это утро, и закончится ВСЕ. И больше никогда ничего НЕ БУДЕТ.

Я бросилась в комнату, схватила первый попавшийся под руку в косую линейку листок (школьное сочинение одного первоклассника) и стала быстро писать буквально между строк.

Сказанное поэтом иногда сбывается: «А так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике...»

Я И МЫ

Сочинение первоклассника

ЖИЛИ-БЫЛИ ДВА СЛОВА. ОНИ ОЧЕНЬ НЕ ДРУЖИЛИ. ЗВАЛИ ИХ Я И МЫ. ОДИН РАЗ Я ПОШЛО ПРОГУЛЯТЬСЯ, ЗАБЛУДИЛОСЬ И УПАЛО В ЯМУ. А МЫ ГУЛЯЛО В ЛЕСУ НЕПОДАЛЕКУ. Я ОТ СТРАХА ЗАКРИЧАЛО: «Я-А-А-А! МЫ УСЛЫШАЛО И ПОЖАЛЕЛО Я И ВЫТАЩИЛО ЕГО ИЗ ЯМЫ. С ТЕХ ПОР Я И МЫ ВСЕГДА ВМЕСТЕ.

Не могу утверждать, что мои тогдашние настроения и намерения как-то соответствовали этому детскому тексту, вернее, тесту на синтаксическую сообразительность, выполненному к тому же не теперь, а несколько месяцев тому назад да еще

большими печатными буквами (теперь-то мой сын пишет старательными прописными каракулями),— листок и вправду подвернулся мне случайно. И все же, все же... чем черт не шутит, не тот, конечно же, эзотерический черт, а твой собственноличный чертик-графоман, дитя творческого пыла и дури, чур меня, чур!..

Как хотите, так это и называйте: скрытой болезнью вампиризма, что ли, свойственной литературе, высасывающей аромат из живого цветка, хозяйничающей и в мире живых, и в тонких, призрачных материях... или правом каждого отдельно пишущего гражданина брать все то, что плохо лежит... не знаю... теряюсь... Только иные истории, чтобы написаться окончательно, так и льнут, так и лепятся к вещам уже имеющимся, сотворенным, живут с ними от одной общей пуповины, тянут чужие соки — прежде чем встать на самостоятельные-то ножки и пойти, и пойти... Младенец-литература, дух твой д е т е с к, несмотря на различные взрослые прибамбасы, течения, направления, несмотря даже на твою объявленную смерть!

Приблизительно так размышляла я, начиная свои записки. Взять и быстро черкнуть на детском листке зарождающуюся фразу — а там ВИДНО БУДЕТ. Дело это тайное и от тебя почти не зависящее, как путешествие Еноха, которому для того, чтобы увидеть целое, дано было пройти сначала одно небо, потом другое, вплоть до седьмого, последнего. (Седьмое небо счастья!) И, кстати, этот самый Енох был одним из немногих, взятых ТУДА не после смерти, а во всей своей, так сказать, телесности, живехоньким. А ведь не отличался особой праведностью, так — был наполовину хорош, наполовину дурен.

Но ведь описал же! Все мироустройство описал — чудеса и знамения, херувимов и григореев, феникса с халкедрой, а заодно внес в свой ПУТЕВОДИТЕЛЬ души еще не родившихся и то, какое место занимать каждой душе в этом лучших из миров. Я — Енох, холодеет кровь, ладно. Глядеть бы да не наглядеться... Хотя практически мал, ох, как мал повсеместный процент чудес и знамений, до феникса с халкедрой недотягивает.

Жанр путеводителя, однако, открыт, как мир для туриста из бывшей Эс-эс-эсэрии. Ее нерожденные души уже никогда не родятся. Твой взгляд может блуждать свободно, без видимой цели перемещаясь с одной точки на другую. Да здравствует всеобщее перемещение — тел и душ! Недолет... Перелет... «И поднял меня Гавриил, как поднимает ветер лист...»

Правда, один наш еще доперестроечный классик довольно точно выразился в том смысле, что он не может, как какой-нибудь Хемингуэй, изображать своего героя трахающимся где-нибудь у себя дома, а на следующее утро уже находящимся в Венеции. Ты пойди опиши, вскидывался классик, каким образом он оказался в этой самой Венеции, как трясся в поезде (самолете, пароходе), как проводница хотела стукнуть его палкой по голове, когда он попросил у нее стакан чая, как за окошком перемигивалась с ним каждая попутная травинка-былинка, а тогда уже давай дуй про Венецию.

Совершенно согласна с мнением уважаемого старшего товарища и сама недолюбливаю литературное выпендривание отечественных «хемингуэев». Стыдно, право, стыдно и неловко, господа, метать географические перлы типа Берлин, Иерусалим, Буэнос-Айрес (а именно по этим пунктам, увы, и движется наше повествование) в здешней-то глубинке, где нищие разных полов и возрастов уютно кормятся из до краев полных помоек. Прошу прощения — у всех, у всех, душа моя скорбит, хотя и не могу до конца определить причину моей скорби, как во сне. Знаю только, что скорблю.

К тому же факты моего личного пребывания за границей имеют под собой вполне реальные обоснования, в основном семейного порядка, хотя ни я, ни мои родители, ни члены моей семьи, включая невзрослого сына, никогда не были ни стукачами, ни членами политбюро, ни депутатами Думы, а также банкирами, рэкетирами и суперзвездами. Я ездила ТУДА, как все, и всегда возвращалась ОБРАТНО, под родные небеса, из любви к этим самым небесам и чисто филологической уверенности: «мир» по-гречески означает «ожерелье». Он весь — вокруг твоего горла.

По отдельным точкам пространства, где мы промелькнули, должно быть, можно вычертить единый контур нашего нефизического тела, как раньше составляли чертеж птичьего перелета, гадая, что бы он такое мог для человеческой судьбы означать? Таким образом, детское послание, написанное печатными буквами во время одного путешествия в Израиль и подвернувшееся под руку во время другого в Берлине, было, если разобраться, не так уж и случайно.

В земли же Палестины мы попали не по совковому коммунальному «туру», а по самому что ни на есть личному приглашению, то есть как «белые» и якобы свободные люди, пользующиеся законным правом свободного передвижения. А на самом

деле — по той же случайности. Ибо в воздухе висело детское слово «каникулы», и сын мой желал ехать в Грецию, но только чтобы обязательно древнюю; мужу хотелось в страну под названием «компьютер»; мне же — туда, где мир, покой и никто ни в кого не стреляет.

Счастливая карта выпала дальней дорогой в Иерусалим.

Где нас почему-то ждали. Наши давние друзья — лучшие представители Америки, русские по своим корням, люди самых что ни на есть голубых кровей. В общем КОРРы, народ проверенный по российской жизни времен глухого застоя.

В самом слове КОРР, замечу, было что-то почти мистическое. Птичье. Что и найдет в дальнейшем свое подтверждение. Карр! Опережая рассказ, скажу, что это самое «карр» окажется вовсе не воплем пернатого, а совершенно реальной фамилией владельца имения, принадлежавшего в России нашим друзьям, то есть, конечно, имения бывшего и принадлежавшего не им, а их предкам, ну да, впрочем, отчасти уже и им (о чем будет наша третья по счету история).

В ауру древней земли, многократно отраженную рефлексами отечественной словесности в виде града небесного, взыскуемого, наши физические тела вторглись ранней весной, в преддверии католической Пасхи.

Над плосковерхими домами, по арабскому обычаю венчающимися каменными террасами (каждая такая терраса — будущий новый этаж по мере возрастания сыновей и отпочкования очередной семьи), над сонными улицами вместе с ярким негреющим солнцем всходило долженствование шабата. В этот день добрые иудеи должны молиться, сидеть за праздничными столами, пить некрепкое сладкое вино, не работая, не напрягаясь, не нажимая на различные, пусть даже и очень удобные для жизни кнопки лифтов, стиральных машин и электровыключателей. Инородное тело в виде, например, не в меру резвого автомобиля (даже и с иностранным номером) в особо благочестивом квартале в такие дни спокойно могут забросать камнями.

Несмотря на близкое солнце, небо с высокой крыши как-то не прочитывалось.

Был город — накануне праздника.

В воздухе стоял треск детских трещоток. Это в доме напротив, у здешнего раввина, чистили от пыли толстые книги. Быстро-быстро проводили указательным пальцем по острию страниц, перебирая их как струны, растягивая гармошкой.

За домом цвел сад, за городом — пустыня.

Пустыня была не видна с крыши дома, но угадывалась как точно такой же перебор, растяжка пространства.

А вот дерево, растущее внизу, в саду, я видела отлично. Только названия угадать не могла. Крупные его плоды были из чистого сусального золота (лимон; плодоносит здесь по два-три раза в год). Я сглотнула кисло-сладкую оскомину детства, взрослое дитя у Христа на елке.

Праздник набирал нужные обороты.

После дружеских объятий и тостов, в самом деле почти новогодних, следовало дать отдых хозяевам, и наше семейство прибегло к услугам турагентства, предлагавшего самые захватывающие маршруты. Тем более что как раз в это время произошло очередное обострение арабо-израильского конфликта и на рынке, где мы накануне покупали свежую рыбу, прогремел взрыв. Кого-то убило. Друг КОРР каждое утро уезжал на войну — так это называлось, когда в целях безопасности положив на переднее стекло автомобиля черно-белый платок, арабскую куфию, он рано утром отправлялся то на границу с Ливаном, то в сторону Сирии.

Маршруты наши снова расходились, как и в перестроечной России.

В автобусе нам сразу же попытались всучить за сто шекелей «отличный видовой фильм». Беги и загружай окрестными видами свой телевизор, ехать же никуда не нужно! На пленке имелось ВСЕ, вплоть до Цфата, города, известного тем, что однажды в субботу сюда явились праотцы народа Израилева и каждый прочитал вслух главу из Торы. Потом видение исчезло...

— Генеалогическое древко! — Экскурсовод Мирра бойко отстреливала глазами пробегающие за окнами автобуса пейзажи. Метафора, впрочем, глубоко не точная, ибо пейзажи не пробегали. Они стояли недвижно, как Лотова жена, застыв в вечной оглядке назад, в собственное прошлое.

«Когда люди умирают, изменяются их портреты»,— написала Анна Ахматова, с которой спорить не смею. Портреты, может, и изменяются, а вот пейзажи — нет. Они всегда такие, как при жизни, хотя сама-то жизнь давно прошла, кончилась. Здешние камни были живыми, живее того, что шумело и двигалось...

— Генеалогическое древко! — Мирра вернула меня к реальности.— Бедуины знают до двадцати поколений своих родственников, нам же достаточно пяти. Всего пять!

Она так и сказала: «древко»,— искрясь заряженным утренней порцией «ахавы» лицом. Чудо израильской косметологии. Мы ехали, размахивая этим самым древком с развевающимися знаменами памяти.

И между прочим мельком побывали в палатке бедуинов, где нас за небольшую плату напоили натуральным кофе из железных банок и сыграли что-то незнакомое на неизвестных музыкальных инструментах. А потом кто пошел досматривать телевизор, кто, усевшись в роскошные иномарки, поехал бороться с местными властями за права здешних верблюдов — им не позволяли щипать травку с городских газонов.

Верблюды стояли тут же, и сын мой сфотографировался на одном из них в легком, возносящем покачивании.

Это был второй верблюд. Первый ожидал нас на горе Илион, в искомой точке, предназначенной, вероятно, для второго пришествия. Именно отсюда озирал пространство первый русский паломник Даниил Заточник — по всей долине бывшего кедронского потока, по склонам гор раскинулось тысячелетнее кладбище разных времен и народов, каждому хотелось быть поближе к тому месту, откуда пропоет труба Архангела. «Никто не может не прослезиться...»

Тут и прохаживался наш первый верблюд Шуша в сопровождении красивого старика-араба. И мы тоже прослезились при виде безысходного леса могил и уходящих в небо каменных горных ступенек. Добрый Шуша, покатав Василия, облизал ему одну половинку лица, а араб — вторую, так что на следующее утро оба глаза моего сына слезились уже по причине конъюнктивита, но мы все равно не можем вспоминать нашу встречу без слез.

Дома из блекло-белого иерусалимского камня караваном верблюдов тянулись за нами, оставаясь далеко позади.

— Известняк.— Мирра успевала вставить словечко, постфактум удовлетворяя наше геологическое любопытство.— А горные гряды сложены во всю высоту из камня куркар...

В последний раз открывшийся амфитеатр города позволил на прощание упиться зрительским восторгом. Пейзажи стали суше, беднее. Но земля, вспухая, то и дело выталкивала из себя то пустыню, то камни, то гору. Глаза насыщались зрением каким-то непонятным образом: видеть вроде бы было нечего.

— В тридцати шести километрах южнее Иерусалима находится пещера, где предположительно захоронены Адам и Ева.— Мирра кивнула куда-то в сторону Иудейских гор.— Но мы туда не поедем... Неподалеку, в Хевроне, расположен русский православный монастырь святого Маврикия. Там, в саду, растет дуб, где сидел Авраам в тот самый день, когда к нему явились три ангела. По преданию полное увядание древа Авраамова связано с концом мира, но на наш век хватит, шутят туристы, глядя, как обхваченный железными обручами ствол дерева все продолжает и продолжает давать некрупные, темноватые листочки... Этой весной дуб засох...

Мирра немного помолчала. Мы немного задумались.

Облицовочный камень хамра, украшавший дома местных жителей, оставлял в воздухе кроваво-красное свечение. Наш автобус въезжал в Натанию — центр здешнего цитрусоводства. Земля совсем близко лепилась, вплотную подходя к другой пустыне — водной, сине-зеленой тверди Средиземноморья. Здесь были остатки древнейшего ханаанского поселения. Вечное место, данное Аврааму и семени его во всю долготу и ширину. «...Всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки и сделаю потомство твое как песок земной...»

Дальше путь лежал на Хадеру, хранившую в самом своем названии звук арабского первоисточника. Европейцы появились здесь только в XIX веке, обнаружив при этом захоронения периода Второго храма и сооружения византийских времен.

— Обычное дело,— заключила Мирра и попросила тормознуть на автобусной остановке, где араб недавно убил маленькую девочку, но тут же был схвачен и приговорен к самой страшной казни: 25 лет лишения свободы с последующим разрушением дома до самого фундамента.

«...и сделаю потомство твое, как песок земной, если кто может сосчитать песок земной...»

Мы продвигались через апельсиновые и мимозовые рощи. По обе стороны вдоль шоссе тянулись ровные гряды гигантских кактусов. Впереди серебрились эвкалиптовые кущи.

— И никаких полезных ископаемых! А вся эта растительность высажена искусственным путем, наподобие как в Америке!..

Мирра не то сокрушалась, не то радовалась. Кактусы росли, словно капуста, в их сени можно было запросто найти голого младенца. Это был настоящий, аккурат-

но высаженный рай, в золотых и апельсиновых отсветах. Рай, парадиз и есть в переводе с иврита «цитрусовый сад» (сообщила Мирра). Здешний Парадес находился в шести километрах от Хадеры.

— ..Эвкалипты были высажены, чтобы осушить болотистую почву, так нет — деревья высосали что получше, глубинные воды, болота же остались...

— ...В здешнем заповеднике рабочие из Таиланда, нанятые для ухода за различными культурами, съели всех черепах и вообще все, что ползает или летает. Говорят, так им легче переносить разлуку с родиной...

На горизонте зарябило, засверкало. Трубы хадерской электростанции были обсыпаны блестками из соображений безопасности. Но не нашей, а птичьей. (Мирра ткнула пальцем в сверкающий зенит.) Все птицы мира слетаются сюда, в эти места, пролетают, галдя, во время весенних кочевий. Небесная чаша буквально переполнена, испытывая терпение человеческого глаза и слуха. Ведь каждая птица поет, поет, как может, одна и со всеми хором, а потом улетает в свой эфир — и нет их летящих, поющих, поднимающих на крыльях зарю, мчащих солнечную колесницу (феникс с халкедрой!), но ни одна, ни одна не должна разбиться о высокие трубы Хадеры. Птица — тварь небесная и земная... С ангельскими крыльями и человеческим лицом... Всякой птице есть место на небе, а дальше ей не залететь, небо — ее ограничитель...

Мирра уже почти пела:

— У нас (у вас) в России говорят: все хорошо, что хорошо кончается. Мы же говорим: все хорошо, что хорошо! И пусть ничего не кончается! Эвкалипты дают тень, апельсиновые рощи — апельсины, птицы летят и не бьются о трубы, рабочие-таиландцы не тоскуют о родине!..

Мгновенно самонастроившись, она набрала побольше воздуха и исторгла его двойную порцию из себя — «Песней песен». Мы как раз пересекали Шаронскую долину.

— Я нарцисс Саронский, лилия долин!.. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей...

Из недр автобуса коллективная память вдруг мощно исторгла:

— Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь!!!

Нарцисс Саронский — это царь Соломон, подсказали сзади, обитатель Шаронской долины, нарциссы и лилии действительно росли там в великом множестве.

— Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста; набрал мирры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные!..

Солнце любви палило прямо в окна автобуса, день взмыл на самый пик своего цветущего изобилия. Приближалось время коллективной трапезы. Дорога неслась нам навстречу, перетекая через наши неподвижно впечатанные в дорожные кресла тела, уносилась и уносила то, что на долю секунды загоралось в нас, поступая от соседа к соседу переливанием солнечных капель. В сверкающих квадратах стекол отражались три наши фигуры — профиль врезался в профиль, плечо в плечо, в три пары зрачков входило и стояло непролитым четкое изображение горы с крестообразным деревцем на самой вершине. Холм Мегидо. Армагеддон, место последней битвы Добра со Злом. Окрестный пейзаж отразив, в зеркале дня отразившись, я тоже приборматывала на волне наплывающего ритма: «Встану я, пойду по городу, по улицам и площадям и буду искать того, которого любит душа моя; искала я его и не нашла. Встретили меня стражи, обходящие город, не видали ли вы того, которого любит душа моя?..»

Дорога расчленялась, одной ветвью прорастая в Самарию, другой — в Галилею. Впереди фосфоресцировали пятна миражей — асфальт казался политым сверкающей водой, как из невидимого небесного шланга, но, когда мы въезжали в эти огненные заводи, все пропадало, иссохнув. «Искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла...»

— Галилея на сегодняшний день — сплошной район развития. Здесь постоянно что-то строится — новые города, мошавы, кибуцы. Здешний ландшафт на диво хорош, растительность богата различными культурами, климат превосходен. Крупнейший город Галилеи — Хайфа, но туда мы тоже не поедем...

Я вслушивалась в пояснения Мирры, но глаз мой сам, помимо слов, фиксировался на каких-то отдельных точках, которые подставляло мне пространство от Камона до Мирона, от низменностей и горных параллелей Нижней Галилеи до плоскогорий и вершин Галилеи Верхней. Гора Тавор, или Фавор, где было Преображение Господне... Гора Свержения, откуда Его пытались сбросить... Далее взгляд перено-

сился как и куда хотел. Сахарно-белая приманка Хермона, за которым Голанские высоты... Прошитые корнями ядовитой мандрагоры ковры Гильбоа с могилой царя Саула... Гора Кармель, где в годы засухи Илья-пророк следил за появлением дождевого облака, откуда он возносился на небо... Небо... облако... горы... небо...

Мы тоже возносились — внутренним своим оком к невидимой материи. Мирра завспоминала, что в Самарии некогда жил Ахав, сын Амврия, царствовавший двадцать два года и поболее других делавший дела неугодные пред очами Господа; и взял он себе в жены Иезавель, дочь царя Сидонского, и стали они вместе служить Ваалу, поклоняясь ему денно и нощно; разгневался на них Илья-пророк и сказал, что в сии годы не будет людям ни росы, ни дождя; в то время начал Ахав тяжбу с Навуфеем из-за виноградника, и присвоил он себе наследство чужих отцов; и раздалось тогда пророчество: «На том месте, где псы лизали кровь хозяина виноградника Навуфея, псы будут лизать и кровь Ахава, и кто умрет у него в городе, того съедят псы, а кто умрет в поле, того расклюют птицы небесные»; настигло это пророчество хозяйку дома, царицу Иезавель, с нарумяненным лицом и украшенной главою сидела она, глядя в окно на дела рук своих, и было то окно высоко над землей; взяли евнухи и выбросили ее из окна на землю, а пробегающие мимо кони растоптали ее тело; хотели похоронить Иезавель, но нашли лишь череп да кисти рук и ног, так что никто даже не мог сказать: это она, Иезавель; жадные псы сожрали череп и кости, птицы расклевали то, что осталось, тело ее было, как навоз на поле, и никто-никто уже не мог сказать: это она, Иезавель...

Мирра скорбно покачивалась в высоком кресле.

— Никто-никто не мог сказать: вот она, из плоти и крови, в грехе своем, во зле, в мерзостном рукотворении, такая как есть, живая вчера, а сегодня мертвая. Иезавель...

Галилейский простор подступал, приближался или казался близким — потому, может быть, что был весь вдоль и поперек исхожен Тем, про кого нельзя было не сказать: «Это — человек».

— Какого он был роста? — Мирра напряженно вглядывалась в вектор дороги, словно могла мелькнуть привычная для этого пейзажа фигура или тень тени ее и, не совпав с нашим движением, сопоставимая лишь с масштабом самого простора, пропасть, скрыться за горизонтом.

— Высокий... Очень высокий... Среднего человеческого роста... Точно сказать нельзя. На голове — судхар, покрывало, стянутое шнуром, похожее на арабскую куфию. Одежда — просторная туника с широким поясом, а поверх нее симла, плащ из грубой шерсти, или же — во время молитвы — таллиф, плат с полосами... Храм Рождества в Вифлееме не был разрушен, потому что арабские воины увидели изображение человека в головном покрывале со шнуром — сами себя... Так говорят...

День Галилеи простирался, как и две тысячи лет назад, на склонах полыхало скоротечное, цветущее зарево. Птицы пели над засеянными полями и зелеными долинами. Вечный, всенасыщающий день. Созданный, казалось, именно для того, чтобы можно было одним разом увидеть весь простор, а не малый участок, услышать всех птиц во всем небе. Подробности фигуры, вышагивавшей тут километр за километром, конечно, терялись, человеческий облик идущего был укрыт, покрыт этим простором без остатка и потому — сохранен...

— Существовал ли Назарет во времена Христа? Сто домов под плоской кровлей, сто очагов... Родился ли младенец в Вифлееме или в каком-то другом месте? Было ли избиение младенцев и бегство в Египет или нет?..

Я увидела взбирающиеся высоко в гору белые дома. Перед нами был Назарет.

Убеждают не факты, не свидетельства. Убеждает сама контраверза (словцо малоупотребительное, встречается разве что в литературе девятнадцатого века), размышляла я, то есть именно сама противоречивость истины, могущей быть присвоенной каждым, разрыв между высказываниями-пониманиями, который можно и должно чем-то восполнить.

Дом и простор. Одно сплошное противоречие. Не совместить, не подогнать друг к другу.

Жизнь Назарета обступает, осыпается нам на головы деталями, придумать которые нельзя.

Галилейский простор весь насквозь придуман, продуман наново, здесь все тянет к вымыслу, к созданию какого-то иного, «птичьего» языка.

Быт Иосифа-плотника и Марии-ткачихи был полон, как купель: постукиванием плотницкого топора, запахом бобового, с чесноком варева, огнем пурпура и багрянца, загорающегося от простого движения женских рук. Даже история о том, как

усомнившийся в верности жены Иосиф отправляется на высокую гору согласно мудрому совету — пока до вершины доберется, охота выяснять отношения у него авось пройдет,— достойно пополняет архивы этого уникального домашнего музейчика. Чтобы нам можно было войти и вспомнить: вот тут Слово и стало Плотью. Нетленные наметки бедной жизни, тончайшие, неистаивающие обмылки прикосновений и соединяющих жестов. Вот она — та материя, что хранится под развалинами древних церквей, византийских базилик, бывших жилых домов. Один храм, маленький храмик жизни, оказывается упрятанным в другой, тоже не уцелевший. Но если есть там хоть один какой-нибудь подлинный камушек, он-то и будет излучать живое тепло. Живо-родить.

Но откуда в этой глубине, в этой тесноте плоти вновь взяться Слову?

Вот тут и нужны, думала я, простор, пустыня, уходящий в никуда поворот дороги.

Голубка — вылетающая из посоха Иосифа.

Колодец за селением, на пути в Тверию, и Белый Ангел возле колодца в ожидании Марии.

Птички — слепленные из глины. Летите! И они порх по детскому повелению — прямо в небо.

Вода, принесенная матери в полах одежды: кувшин разбился...

Какие еще чудеса-знамения нужны и возможны? Возможно — все, не нужно — ничего.

Ничего, кроме дороги для идущего. Все дальше... все мимо... Мимо разрушенного Капернаума, мимо Канны Галилейской, мимо черных базальтовых камней, где стоит аккуратная часовня Петра. Мы шли мимо, к глубокой впадине озера, на холм Блаженств. Мирра, бессменный наш провожатый, прихлебнула воду из фляжки и нам предложила прихлебнуть — из своих, вода здесь стоила дорого. Мы направлялись к небольшому ресторанчику для традиционной трапезы возле Генисаретского озера (оно же Тивериадское, оно же Галилейское, оно же море-лютня).

Настоявшись под сводами церкви святой Магдалины, что в местечке Магадан (к нашему Магадану, разумеется, никакого отношения!), над напольной византийской мозаикой: корзинка с хлебами и рыбами,— мы отдыхали; нам было вдвойне приятно насыщение живой плотью рыбы, якобы выловленной прямо сейчас, к нашему приходу, в озере (хотя почему бы и нет?). Еда была вкусна, обильна и запивалась пивом и черным кофе с фруктами (последнее бесплатно, подарок хозяина-араба).

Но как мы ни старались, как ни вытягивали шеи, само озеро было невидимо сквозь густые заросли. Многие, правда, еще раньше отправились непосредственно туда, на берег, по тропинке со своими припасами продуктов. Тропинка, делая изгиб, приводила куда нужно: вот здесь Он беседовал с рыбаками, ходил по воде, как по суху, одним движением мысли прекращал бурю, вот здесь недалеко, возле источника, накормил пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек.

Мы тоже, насытившись, отправились вслед за остальными. Слуга-араб долго бежал за нами, оставленный моим сыном полиэтиленовый пакет раскачивался, как белая люлька, в его далеко отведенной от туловища руке. Белели от ужаса глаза. В нашем пакете, однако, не было взрывного устройства. Но оно могло быть в любом другом, точно так же оставленном на полу.

Поверхность Генисаретского озера была ровной и плоской: просто продолжение земли — для дальнейшего прохождения. Вода мягко обхватывала щиколотки, мелко плескалась в руках, оседая на лицах несолеными каплями.

Мы касались вод. Погружаться не рекомендовалось. Потом-то нас отвезут к реке в густых разводах зеленой акварели из прибрежных трав и листьев — и туда можно будет залезть целиком. С этой целью многие даже купят себе особые белые простыни с дырками для головы и рук. Большие бесформенные белые птицы, мы будем хлопать простынями, как крыльями, нырять и отфыркиваться, а потом каждый наберет в пустую бутылку густую зеленую водичку, святую воду Иордана.

Но погружаться в озеро было нельзя. Люди небольшой кучкой стояли в воде у самого берега. Где-то вдалеке проплывали маленькие корабли. Потом, пройдя через узкую полоску песка, застывали на черных камнях, по-птичьи задрав ногу, засовывая ее вместе с песком в сразу же огрузневший, чавкающий ботинок. Мой сын был тут же, вместе со всеми, поднимая со дна песчаную муть. Отговорить его от этого дела было невозможно. Он был тут всем своим небольшим телом, полностью весь. И все-таки, показалось мне, отстоял от всех одиноко, как в темноте, которую он и любил за эту одинокость (его словечко), где он и был один. Ни этот день, ни библейский пейзаж никак не изменили его лица. Детский, нельстящий этому взрослому миру «фокус» — фокус-покус — вот что я вдруг увидела и испугалась. Что-то в нем бы-

ло такое, данное ДО каждого настоящего момента, в том числе и этого, но что с ним, с этим моментом, по-настоящему и соприкасалось — что? Какие такие тайны зачатия и рождения были разлиты вокруг нас, в озерной воде, в светлых небесах, над прибрежным песком?

«Раньше, когда меня не было, у меня были крылышки, а потом они отпали, и я стал человеком, а с крылышками был птичкой...»

«Вот что Бог велел людям: любить друг друга, целоваться, баловаться. Мне даже снится: я стою перед Богом и балуюсь, тучки ем...»

«Мама, а правда хорошо, что Бог дал нам изящное сердце?..»

В первые годы жизни родители обычно любят наблюдать и записывать в отдельную тетрадку разные слова и словечки своих чад, и эти записи были сделаны года в три-четыре. Потом записанное читают вслух, смеясь и удивляясь случившимся с ребенком переменам. Умиляются. А если б не записывали, то, наверное, и не удивлялись, и не умилялись — дети всегда дети, даже если они уже взрослые. Просто их одинокость возрастает в нужной миру пропорции, пока они сами не начинают вести записи по поводу собственных детей. Мы оба стояли на берегу Генисаретского озера — каждый в своем детстве. С перспективой на холм Блаженств.

— Здесь было сказано: «Блаженны нищие духом».

Мирра, должно быть, не знала, что есть наиболее правильный перевод этого текста из «Нагорной проповеди». «Блаженны нищие по велению духа...» Впрочем, отчасти она опять, как всегда, была права. Те, кто шел за ней в этот день, скорее всего и были «нищие духом», какое уж там особое веление. Да и что взять, Господи, с меньшого нашего брата-туриста?

БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ...

Но никто не плакал.

БЛАЖЕННЫ КРОТКИЕ...

Но кто был кроток?

БЛАЖЕННЫ АЛЧУЩИЕ И ЖАЖДУЩИЕ ПРАВДЫ...

Но этого ли жаждали?

БЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВЫЕ, ИБО ОНИ ПОМИЛОВАНЫ БУДУТ...

Кто и когда?

«БЛАЖЕННЫ ВЫ...» «ВЫ — СОЛЬ ЗЕМЛИ...» «ВЫ — СВЕТ МИРА...»

Это мы-то?

По полукружию церкви, напоминавшей каменный колокол, тянулись галереи для обзора — вдаль и вниз, к впадине озера. Все вокруг тонуло в волнах синего, розового, кроваво-красного навстречу нам идущего света.

Уловив наше общее движение, давно, должно быть, уже привыкшая его тут ловить, Мирра предложила усесться на скамейки. Как приходили сюда и рассаживались на траву, на камни те, другие, желавшие услышать и увидеть. Они стояли и там внизу, у озера, с младенцами на руках. Отовсюду было хорошо слышно, звук шел так же волнами, постепенно, настигая каждого.

Мы послушно присели посреди светящейся, притихшей бездны. Вернее, нас пустили туда посидеть, беззвучно умиляясь. Умиляясь, словно мы были дети. Лилии у ног и птицы в облаках завершали собой картину.

ВЗГЛЯНИТЕ НА ПТИЦ НЕБЕСНЫХ...

ПОСМОТРИТЕ НА ПОЛЕВЫЕ ЛИЛИИ...

НЕ ЗАБОТЬТЕСЬ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ, ИБО ЗАВТРАШНИЙ САМ БУДЕТ ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕМ: ДОВОЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО ДНЯ СВОЕЙ ЗАБОТЫ...

Для каждого. Каждому. Над каждым, без изъятия.

Над нами кружились птицы сегодняшнего дня.

Под нами, в озере, плескались рыбы.

Неслышные насосы качали и гнали по водопроводу живую влагу во все концы государства Израилева.

Было уже темно, когда мы возвращались из Назарета в Иерусалим. Тот самый Иерусалим, в которой Он так не желал входить, покинув родную Галилею. Город, камнями пророков побивающий. Где завтра враги побьют и своих собственных детей, «побьют детей твоих в тебе, Иерусалим!». Но не о нем, не об этом городе был главный Его плач — все о чадах да о птицах. «Сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крыльями, и вы не захотели!»

Чаша города, лежащего под нами, внизу, была черна и пуста. В этой пустоте клубилась золотая пыль огней, зияли колодцы старых олив, темнела пещера, охраняемая ангелом, и я даже угадывала там долгий каменный росчерк Скорбного Пути со всеми его четырнадцатью «остановками». На двух из них мы завтра, пожалуй, и

остановимся. Не потому что они скорбнее других на Виа Долороза. Наоборот. Другие куда как более скорбны...

Одна остановка там, где в церковной нише, над алтарем,— белая статуя в терновом венце, а под ней надпись: «Экце хомо». Это — человек. Напутствие римского прокуратора.

Вторая возле пересечения улиц, рядом с той дверцей в стене, возле которой неизвестная женщина по имени Вероника утерла своими волосами пот и кровь с лица идущего, как вытерла бы она слезы ребенку, если б у нее под рукой не было платка.

Должно быть, именно здесь, в этих местах, земля и становилась, могла стать небом.

И именно здесь настигла меня мысль о пустыне.

Привыкай, сынок, к пустыне,
как щепоть
к ветру, чувствуя, что ты не
только плоть...

Слово поэта — то же пророчество.

Щепоть — к ветру, Мария — к Богу, звезда — к младенцу, младенец — к птице, дары волхвов — к волу и ослу, новорожденные души — к Ироду... Все взяло и срослось — со всем. Во имя чего? Ведь и так было достаточно: ветер, Мария, Младенец, осел, вол...

...Лицо Марии, когда ехала она на осле, было то грустным, то радостным. Когда же последовал вопрос, почему это так, она отвечала: я вижу пред своими глазами два народа, один плачет и рыдает, другой радуется и веселится. Когда ей пришло время родить, некуда им было укрыться среди песка и снега. И вдруг явилось облако, а из него свет такой, что не вынести. И гора открылась и впустила их. Вскоре родился Младенец. Случайная женщина, ставшая повивальной бабкой, никак не могла поверить, что Мария сохраняет девство, и она протянула к ней руку. Но обожглась. Пальцы горели, как в огне, пока она не взяла на руки Младенца и не прижала к своей груди. Она покинула пещеру и спасенной вышла в ночь. Первый спасенный человек. Она вышла в ночь и подняла голову — над пустыней во все стороны света горела звезда.

Так началось время Младенца.

Но, прежде чем оно началось, должна была произойти полная остановка. Стоп-кадр.

Иосиф идет за повивальной бабкой, но не двигается.

Смотрит прямо перед собой — воздух абсолютно неподвижен.

Пастухи гонят овец, но те стоят на месте, и рука пастуха повисает в воздухе.

Животные на водопое склоняются к воде, но не пьют.

Небесный свод прекращает свое движение, птицы застывают, как во льду.

Те, кто в этот момент вкушал из сосуда пищу, тоже застывают, перестав хватать куски, и глаза их невольно обращаются к небу.

Эта остановка ВСЕГО и стала началом Младенца-Звезды. С тех пор лицо Марии всегда — то радостное, то печальное, потому что путь любой истины лежит через сердце человеческое, «тебе же самой душу пройдет меч...».

— Это место самое замечательное в апокрифе «История Иакова о рождении Марии».— Так размышляли мы, сидя на плоской крыше дома, среди высаженных заботливой рукой родных алых гераней. Под светлеющим небом Палестины.

Ночь прошла бесследно, словно ее и не было. Словно не она стояла перед нами стооким черным чудовищем с глазами-звездами.

Был шестой час утра, нужно было ехать на войну.

Маша-Мэри уже приготовила для мужа кофе и куфию, чтобы бросить ее на переднее стекло машины в целях безопасности. Может, очередной камень очередного патриота пролетит мимо головы водителя, спасет и сохранит и на этот раз.

С фотографий, развешанных в доме на стенах, смотрели на нас американо-русские дети наших друзей своими чудесными молодыми лицами с немигающими, как у птиц, глазами.

Сын мой мирно спал у себя в кровати, сжавшись в комок где-то на самой тесной глубине своего сна. Посреди белоснежного поля простыней. Одна, как всегда, натянута на голову, оставляя открытыми уже тронутые легким загаром маленькие ноги, постоянно готовые куда-то бежать, идти, постукивать о твердую поверхность земли.

Утренний воздух был как бы уже и не воздух, а воздýх, покров для чаши, и висел над нами, и я, начиная жить в это утро, опять и опять не понимала, как и о чем мне говорить с ним, когда он проснется, а вместе с ним и весь его уже родившийся

мир, ведь я не знаю языка ангелов и языка птиц тоже не знаю, я, от любви рожденная, днями насыщенная... я просила в то утро только любви, одной любви, потому что как же мне быть, если нет любви в моем сердце, как описать увиденное, если нет во мне любви?

Это и была моя завтрашняя забота. Но завтра уже наступило.

МИСТЕР ИДЕН

Маленькая Клара С. всерьез озабочена, как бы раз и навсегда прокусить туловище большой красной рыбины, недавно подаренной ей родителями. Рыбина куплена в самом лучшем детском магазине в знак любви и компенсации. Любви, естественно, к ней, маленькой Кларе С., а компенсации же — за те неожиданные неприятности, которые могут подстерегать дитя в его раю.

Zum Beispiel. К примеру. Отец Клары С., участник победоносной войны с немецким захватчиком, любит посреди родной речи вставлять разные замысловатые словечки. Как бы приглашая к приятной игре — ведь немецкое слово «байшпиль» и означает «игра».

К примеру! Клару С. спокойно могли украсть еще в младенчестве на пересадочной станции Чоп по пути в Буэнос-Айрес. Или украсть не ее, довольно-таки крупного ребенка, а принадлежавшую ей плюшевую шубку цвета раздавленной малины. В роли похитителей — солдаты, выбивающие грязные сапоги о стенку их купе, такие вот чистюли.

Еще она могла не родиться вовсе или родиться не там, в лучшей части планеты под названием СССР, а в какой-нибудь Тмутаракани. Или родиться мальчиком, неведомой зверушкой...

А взять, к примеру, подпрыгивающего зеленого лягушонка — предмет, казалось бы, веселый и несомненный. И что ж? Валяется на полу кучей никому не нужных резиновых огрызков. А кто его ел? Конечно же, она, Клара С. А как же иначе, если игрушки из резины есть ни в коем случае нельзя. Нельзя, нельзя... но можно. Вот и валяется бывший лягушонок на полу, и Клара С. сидит невесела, не в силах постичь смысла учиненной ею погибели.

Пожалуй, и связываться-то не стоило — лягушачье тело упорно молчало, пока зубы откусывали кусок за куском резиновую плоть, продвигаясь внутрь вещи.

Внутри не оказалось НИЧЕГО.

С рыбиной все, разумеется, должно обстоять совершенно иначе. Во-первых, внутри, в самой сердцевине, там что-то изначально звенит. Во-вторых, рыба послана ей за лягушачью погибель, то есть в качестве руководства к дальнейшим действиям. Смерть каждой новой вещи всегда опровергает смерть предыдущей — смертью смерть поправ,— ставя человека ближе к разгадке.

Рыбина была дивно легкой, огромной, как дирижабль, только что по воздуху не плавала. Зато звенела! Зубик Клары С. прямо-таки изнывал, желая вонзиться в это звонкое эхо.

Кр-р-рэк-с! Прямо из разверзшихся тканей выпал металлический шарик размером с горошину. Выпал и закатился... больше не звенело. Молочный зуб шатался, как подкошенный, под ним уже распирал десну коренной клык, росту которого тот, прежний, сильно мешал. Коренной этот потом так и останется выпирающим, страшненьким во рту подросшей Клары С.

Но это, как и многое другое, будет потом, принадлежа к далекой области размышлений. Если же произнести данное слово, к примеру, по-английски: afterthought, то получится одновременно и размышление, и запоздалая мысль. Выходит, что всякое наше размышление слегка или сильно запаздывает.

Не до того было Кларе С. Она-то никуда не опаздывала и в будущее отнюдь не рвалась, вовремя, в самой золотой середине века, рожденное дитя.

Родителям ее, людям по тем временам молодым да новым, бессмысленные чадовы проделки казались не то что простительными, но даже зачем-то и нужными — без дураков, они были для них нужнее всего прошлого, накопленного взрослого опыта. Вселяя как бы даже надежду. Поэтому и имя они дали ребенку удивительное. Ну ладно бы еще Клара, а то Кларисса. Хотели было назвать Светланой, Светой, да убоялись подозрений в излишнем подобострастии, как известно, так звали дочь усатого Отца. Кларисса же, по сути, означала то же самое, только в еще более светлой, превосходной степени.

Кроме всего прочего, они действительно очень любили дочь-первенца. Поэтому, находя очередную кучу огрызков и обломков, всякий раз давали Кларе С. шанс

опомниться, одуматься, исправиться. Ну стать хоть немного лучше, чем она была до сих пор. Как и многие люди их поколения, на долю которых выпали хоть и не сума и не тюрьма, а война, были они глубоко уверены, что лучший человек — это человек взрослый, то есть твердо стоящий на ногах и умеющий в случае чего дать решительный отпор всем и каждому. Согласно этой вере, любой ребенок должен был обязательно желать поскорее стать взрослым, а любой взрослый, в свою очередь, постепенно вырабатываться в хорошего человека. Как в древнегреческой демократии, где сталкивались различные данности, пороки и добродетели и, таким образом, усилиями воли рождалась некая общая идея Добра. Само Добро в этаком разрезе — всего лишь золотая середина между пороком и добродетелью; смелость — нечто среднее между безрассудством и трусостью; скромность — между застенчивостью и бесстыдством; любовь — между бесчувствием и необузданностью страсти. Вот и нашим героям будущая Хорошая Жизнь виделась как Социализм с человеческим лицом, то есть скифство и варварство, сдобренное пришлым гуманизмом, что впоследствии тоже подтвердилось. Всякой человеческой жизни уготовано благое завершение, прямо-таки финал апофеоза, верили родители Клары С. Простим им этот золотой сон!..

Но предварительно — умилимся.

Ведь надо учитывать, что до смерти усатого Отца оставался всего лишь год, жизнь становилась все лучше, все веселее. Да и блестящее назначение, полученное отцом Клары С. сразу же после окончания института, напрочь отрывало семью от родной реальности, унося их вперед лет на сто, в какой-то город будущего. Что до самой Клары С., то она, как древние греки, тоже любила наглядность и вообразимость. Видеть для нее и означало знать. А поскольку глаз ее всечасно насыщался нечеловеческим изобилием вещей, она и знала, что всякая в мире вещь создана для того, чтобы ее ломать.

Эта жаркая, солнечная страна, куда они столь счастливо, как в сказке, переместились, и вправду отличалась особым качеством того, что называется материальной культурой. В отличие от растерзанной Европы, пытавшейся выживать бедно, но достойно, после войны она сильно разбогатела, раздобрела и, вырвавшись в мировые экспортеры мясных продуктов, сама была буквально завалена тушами, кожами и мехами. Конечно, во всем этом чувствовался азарт провинциалов, желавших видеть свою столицу «вторым Парижем», дух парвеню, не участвовавших ни в общей бойне, ни в общих победах. Но и здесь жила неистребимая послевоенная красота, которая сильнее смерти, красота, питаемая естеством природного ландшафта, союзом Пампы и Океана.

Красивы, что греха таить, красивы были и родители Клары С., впервые вырвавшиеся на международные просторы. Какой-то даже парно-показательной красотой красивы. Вдобавок у главы семейства за плечами был фронт, а на плечах — иностранные погоны (так как во время войны он являлся самым настоящим шпионом, работавшим в тылу врага, вследствие чего его однажды, уже в мирные годы, абсолютно справедливо и примут за шпиона, когда с компанией товарищей они поедут кататься на лыжах в далекое Подмосковье. Из естественной ли потребности в одиночестве, или из не менее естественного желания понравиться своей будущей жене он оторвется от товарищей и будет чесать на лыжах прямо по заснеженному полю, сверкая полами удивительного кожаного пальто и шпионскими усиками. Тут-то и выловят его местные красавицы бабы. Не желая слушать объяснений, они окружат шпиона с явной, а может, и какой тайной целью и попытаются взять «языка» в плен. Но тут вовремя подоспеют товарищи с правильными советскими удостоверениями, а среди них — и будущая мать Клары С., как бы распространяющая вокруг волшебный звон курантов, в непосредственной близости которых она жила в богатой полковничьей квартире). Весь штат посольства был укомплектован такими же, как на подбор, красавцами. Не хочется даже и думать, что среди них были и свои «стукачи», и «шпионы»! Но все же родители Клары С. стояли на первой ступеньке молодости и красоты, будучи зачинщиками всех тогдашних сборищ. В пылу празднеств мама Клары С. даже не заметит момент своих вторых родов, спустившись к приехавшим по вызову врачам с рюмкой в одной и с сигаретой в другой руке, чем Клара С. втайне беспримерно гордилась.

Но не западноевропейское, амбивалентное слово «карнавал», а русское «маскарад» будет приходить ей потом на ум. Что-то скорбное и хрупкое промелькнет, взглянет на нее из шелковых прорезей дней, из дыма и веселья той жизни. Все исчезло одним махом, в одну секунду. От всех тех бархоток с маминой шеи, черно-белых, лебяжьих шляп и шляпок с ее головы, от желто-песочного, словно саванна, покрывала, устилавшего родительское ложе, опушенного лисьими хвостами и оскаленными мордами, так что частенько уводил ее в сон не напев про серенького волчка, а на-

туральный, огнем горящий лисий глаз, от райского сада розового органди на женских плечах, от застывших в газовой пене черных мушек — от всего этого не останется ровным счетом НИЧЕГО.

Случайно где-то заваляется простенькое красное платье с белыми полосками, и она подарит его соседской девочке. Девочка пойдет в цирк, и, когда свет погаснет, полоски вдруг начнут фосфоресцировать. Зрители ахнут, а девочка испугается, она не будет знать, что это горит, фосфоресцирует жизнь Клары С.

Только потом она догадается, что есть вещи, которые сохранить нельзя, хотя можно попытаться повторить. Но ни одна из последующих ретростилизаций (а время то, его одежда и жест, неожиданно войдет в моду), никакие потуги суперплатиновых мадонн влезть в тот шик и блеск ни к чему не приведут. Новая, пустоглазая стать будет вылезать из птичьих складок платья, раздувая их совсем другим ветром. Под этим ветром тело не поет, не летит — шествует по мертвому подиуму.

В общем, ощущение жизни, отшумевшей, как платье твое, тут оказалось как нельзя более кстати. Платье и было паролем, символом тех дней, а ведь для символа, как известно, нужны две части. Совместятся — будет смысл, а нет — так нет. Тогда совместилось: человек и платье, душа и материя. Жаль, что продлилось недолго... Главная красавица той страны, сросшаяся с немеркнущей розой на груди, вскоре должна была умереть, оставшись на фотографиях и марках. Она ушла из своих платьев слишком молодой, чтобы ее можно было забыть. А может, знала, что забудут. Поэтому и оставила после себя не наследника, а стиль, в котором особо подчеркивалась идея прямизны, непреклонной вертикали. Как в ионической колонне, где тяжесть подпираемого ею свода лишь слегка угадывается сквозь завитки. Пуанты туфелек... перышки... блестки... Ее преемница на троне — а была она настоящей царицей своей жизни — через много-много лет, желая отхлебнуть хоть глоток той власти, будет долгими ночами лежать на теле умершей. Уже одетой в последние свои одежды — каменный саркофаг. Из этого мало что выйдет. Люди навсегда запомнят ту женщину — с розой на груди, розой такой большой, как голова ребенка...

А что же могло остаться от кларк-гейбловской отцовской красы? Он как бы везде был своим — и в аргентинской саванне, и в южных точках родного отечества, подогретых углями памяти о шестипалом дьяволе тех мест, а также неукротимым огнем страстей и застолий. Краса, покоряющая и взнуздывающая жизнь, как женщину... Но был он своим и у себя дома, в том месте, где глубокие крестьянские корни, завившись и запутавшись, проросли тайной беспорядочного, многочисленного семейства, в котором вся удалая половина почему-то носила простые и сплошь разные русские фамилии, на скорую руку позаимствованные от имен. Сергей — быть тебе Сергеевым, Василий — Васильевым. Подлинный же мужской корень имени оказался обрублен. Но вот откуда в роду взялись Саблины, когда никакого Сабли и в природе не существовало? Дружины — были, а Сабли — ни-ни. Какому такому прадеду (члену партии террористов, патриотов или же просто оружейных дел мастеру?) Клара С. была столь обязана своей славной фамилией?.. Тут мог быть выход — со стороны, так сказать, бабской части семьи. Но мать Клары С. без всякого сожаления оставила свою девичью фамилию, происходившую от далекого волжского предка — и под татарами, очевидно, бывшего, и вдоволь назвеневшегося кандалами, оттого и заклейменного памятью рода Клейменовым,— чтобы сменить ее на «простую русскую», но, повторяем, чисто маскарадную.

Может, Клара С. потому и старалась взять вещь на зуб, посмотреть, что внутри, чтобы уже никогда не усомниться. Но металлический шарик правды, выпав, куда-то закатился...

Весела, ох, что-то слишком уж весела стала Клара С. после этого. И кликуха ей тут же была дана подходящая: Кларка-атаман. И такой голодный блеск был у нее в глазах, жажда и тщета жизни...

— А ваша Клара С. опять сегодня ходила по крыше,— докладывали Наталиванне.— И вообще пусть ваша доча играет одна, без наших деток...

Впечатлительная Наталиванна огорчалась. Советовалась с Васильсиличем.

И однажды он принес самолет. Не игрушку из магазина, а настоящую литую модель, прикрепленную на штативе к подставке. Модель была из серебристого металла, размером с крупную курицу. Вот это моя дочь уже никогда не сломает, произнес Васильсилич неосторожную фразу. Никогда не говори никогда... Клара С. посерьезнела ровно на час. Закрывшись в комнате, она долго изучала вещь, а потом подошла и... села на нее верхом... и стала раскачиваться... и улетать... и лететь... Заглянув в дверь, родители обнаружили отвалившийся штатив и весьма веселую Клару С.

Тоже отчего-то веселые Наталиванна и Васильсилич поинтересовались, как же ей это удалось, но Клара С. помалкивала. Васильсилич за ее спиной показал Натали-

ванне растопыренные рогаткой пальцы, что означало черчиллевский жест «Виктория»! Виктория.

Несмотря на часто вставляемое немецкое «цумбайшпиль», отец был бесспорным поклонником английского. Не тех, конечно же, ультраправых сил Великобритании, которые пытались во время войны пойти на сговор с фашизмом, а честных деятелей умеренно-либерального толка, проводивших линию разумную и благорасположенную по отношению к Советскому Союзу. Каковым всю свою сознательную жизнь и являлся лорд — хранитель государственной печати, а потом и министр иностранных дел Энтони Иден.

Мистер Иден, так называл его Васильсилич.

Значительно позже, оказавшись уже не у дел, он посадит на своем подмосковном участке яблоню, которую так и окрестит — наверное, в силу ее благородной выживаемости. В то лето, когда сердце его перестанет работать, с мистером Иденом начнут происходить разные чудеса. Ствол дерева отвесно наклонится к самой земле и так застынет на долгие годы под острым углом, продолжая цвести и давать плоды. Теперь этого дерева тоже давно нет. Но все это будет потом, потом...

А теперь Клара С. спит, спит, вернее, делает вид, что спит. Сама же прислушивается.

— Слишком уж народ Англии был погружен в свою привычную, будничную жизнь. Увлечение спортом, кинематографом... А Германия между тем вооружалась. Воспитывала людей как фанатиков.

— Покорное пушечное мясо!

— А вот тебе абиссино-итальянский конфликт. Бомбят госпитали, учреждения Красного Креста! Ядовитые газы против мирного населения! Но тут собирается Совет Лиги наций, и мистер Иден выходит и говорит...

— Знаю, знаю! Где же гарантии, что их собственный английский народ, несмотря на все подписанные протоколы, точно так же не будет подвергнут уничтожению, сожжению, ослеплению?.. Что он в страшных муках не встретит собственную смерть?

— Ты только представь! Все государства отказываются применять санкции к Италии. Решительно все! Запад гибнет,— воскликнул негус Эфиопии... В жертву агрессору принесена мирная Абиссиния. Полная капитуляция Лиги наций.

— Гитлеру с Чемберленом после этого спеться было — раз плюнуть!

— Но мистер Иден не дремал. Требовал организации отпора агрессорам. Три главных державы мира отныне признают лишь один фактор — грубую силу, выступил мистер Иден. Человечество — под угрозой катастрофы!.. И этого Чемберлен простить ему так и не смог...

...Ах, мистер Иден, мистер Иден! Почему вы не приснитесь мне с большой светлой печатью? Ангел в королевской мантии слетает прямо с неба — иди за мной! И я бросаюсь, хватаю вас за ноги, кричу: не надо! Не уходите, мистер Иден! А вы отвечаете: отойди, девочка, от ног моих, иначе я должен буду взять тебя с собой. А тебе туда пока рано. И уходите, уходите... уже ушли... Вы, конечно, снова вернетесь ко мне, но вы уже яблоня. Я люблю вас, мистер Иден. И это факт. Или фактор.

Мертвый час. Клара С. подглядывает из-под прозрачных век, из прозрачности сна. Маскарадные папа с мамой склоняются над ней; ровно ли дышит, честно ли спит, как только в раннем детстве спят? А она дышит ровно, лежит тихо, притворно-спокойно, дикая степь, подлая стихия... Вот только смех... он буквально прогрыз ей все внутренности, как тому спартанскому мальчику впился в живот лисенок,— украл и спрятал зверька под плащом и не пожелал признаться в краже, пока тот не впился.

Двери хлопают.

Папочка! Мамочка!

Никого.

В одних трусиках, босиком, выходит Клара С. в пустую комнату.

О ужас!

За столом гордо и красиво сидит Васильсилич, в сомбреро мексиканском. Та-а-а-ак! Тоном Вышинского, всегда выигрывающего процесс, тянет он, длит ее позор.

Нет, он ничего не скажет, только будет смотреть на нее чудными своими глазами цвета стали. Уж что-что, а молчать-то он умеет. Он ВСЕ умеет, как Бог. Отец и мама, они оба вместе, и были для Клары С. ее БОГОМ. Жертв требующим... Но кто же жертва? Клара С. себя на эту роль никак не предназначала, тем обиднее ей было получить такой удар в виде великолепного папиного молчания. За что?! За вас, мистер Иден, за безопасную, в сущности, с бортиками, не обитаемую теперь крышу дома, за реющие, как знамена, развевающиеся на ветру мамины одежды?..

Нет ничего ужаснее справедливого возмездия.

Все было КОНЧЕНО. Любить ее, конечно, более нельзя. Простить — невозможно. Размышление было здравым, но столь же запоздалым, как и всякое размышление.

Жить, впрочем, было нужно, можно и временами очень даже сладко.

Родители накупили ей сразу множество игрушек (как бы учитывая многократность ее греха) и среди них две пары говорящих пупсов. Пупсы исторгали из себя нечто похожее на звук «мам-м-м-ма-а-а-а!». Они были большие и голые, с никогда не закрывавшимися глазами, уставленными прямо перед собой, в одну точку, как будто каждый видел перед собой какую-то близкую цель. Мягкий утробный гул в глубине знал — какую. Но Клару больше не тянуло заглянуть туда, внутрь. Что-то разверзлось и гудело внутри нее самой. Потом она будет звериным нюхом угадывать эту разверзтость во всем, в самом, казалось бы, ничтожном человеческом жесте. Например! Когда Наталиванна, получив известие о внезапней смерти Васильсилича, точнейшим движением будет подхватывать на кончик ножа и без того румяный блин и ловко переворачивать его на другую сторону шипящей черно-чугунной сковородки. Жить нельзя, нельзя... но можно... м-м-м-м-можно, м-м-м-м-м-м-м!..

За отверженностью и безнадегой обязательно наступают временное просветление, просвет, прощение кого-то кем-то. Нет! Клара С. не желала, чтобы ее прощали. Потому что сама себя она простить уже не могла.

А жизнь вокруг текла, менялась, прощала. Как-то раз Наталиванна явилась в маскарад в замечательном китайском костюме, обнаружив при этом косенький разрез собственных очей и тонкую черную косичку под шляпкой-пагодой. А также крохотную, так и не выросшую ножку, совершенно безукоризненно вошедшую в деревянную колодку. К несчастью, ножка к концу вечера оказалась сломанной в двух местах и Наталиванна вынуждена была слечь в постель.

Лежала она долго, месяца три, для чего была привезена особая медицинская кровать на шарнирах и с ручками, автоматически меняющими положение больной в сторону большего комфорта и практического отсутствия желаний.

Наталиванна с белой слоновьей ногой навытяжку лежала среди ослепительного белья, как большая красивая кукла. Клара С. безотлучно находилась при ней, крутя все ручки подряд. Кровать судорожно вздрагивала, кукла стонала:

— Ой, доченька, потише!

А сама терпела, даже радовалась безотлучности Клары.

— Ты мне друг? — спрашивала та, дергая за ручку.

— Друг, Кларочка, друг!..

Головой кивает, а сама чуть не плачет. И так все время — то смеется, то плачет ее лицо.

Так и пролежала до самого Нового года и елки Рождества. Правда, елок в том городе не водилось, даже искусственных. Для детей наряжали нижнюю часть высоченного кипариса — куда руки дотягивались, и дети ходили под этой наряженной частью длинной цепочкой. Клара С. в древнерусском сарафане и кокошнике тоже ходила, и плечики ее то и дело выпархивали из широких лямок, а кокошник сползал на глаза.

В саду росли огромные, ветвистые кактусы, в каждом из которых спокойно мог спрятаться взрослый человек с автоматом.

Длинные белые столы в саду ломились от продуктов.

На жаровнях дымились туши животных.

В силу вступал очередной новый год, в котором Кларе С. суждено было жить уже не под каменной десницей усатого Отца, а в обществе, находящемся на пороге многих хороших перемен. Но она об этом не знала — взрослые ни о смерти вождя, ни о переменах вслух не рассуждали, а детям и так было хорошо под небом чужой родины, вблизи вечнозеленого кипариса.

И вдруг!..

Вдруг лицо Клары С., довольное и счастливое, начинает куда-то уползать из праздничного кадра.

Мама бежит со сломанной ногой через весь сад, между прочим, к ней, к Кларочке, бежит.

Краснеют, наливаются слезами папины глаза. Папа плачет?! Как клоун в цирке, в три ручья...

Все окна всех соседних домов распахиваются, как по команде, и в сад летят бутылки с зажигательной смесью, длинно-хвостатые кометы — прямо с неба на землю, ее, Кларочкину землю, ты вся горишь в огне! Горят кусты, горят деревья, горит елка-кипарис! Трещит фольга, и стрелы серебряного дождя, превращаясь в огнен-

ные, летят к самой верхушке дерева. Лопаются, лопаются золотые шары Кларочкиного детства...

Потому папа и плачет.

А может, потому, что полиция так грубо разгоняет слезоточивым газом тут же образовавшуюся толпу из мужчин и женщин — собрались посмотреть. Мало им бутылок с огнем, так они еще тухлые яйца бросают, спелые помидоры, фрукты, плоды юга. Скользкая кровавая жижа стекает по детским лицам...

Спокойно, спокойно, объявляют им. Сейчас, детки, поедем кататься. А по дороге купим мороженое. Многие дети, конечно, поверили, жаловались потом, что мороженое почему-то не купили.

Клара С. не жаловалась и не поверила.

Все хорошо, что хорошо!..

Наутро Клара С. вышла погулять во внутренний дворик-патио, маленькое, уютное пространство, окруженное галереями. Посреди бил фонтанчик, и в скапливающейся воде росли белые лилии. Над ними раскинулось одно-единственное дерево — во всю длину ее дневной прогулки, во всю ширину смутных ночных страхов. Это было ее ДЕРЕВО. Клара С. привычно задрала голову, чтобы увидеть, как солнце играет с листочками, но увидела большого, полного мужчину, который сидел на перилах, по-детски свесив ноги вниз.

Посол Союза Советских Социалистических Республик был одноглаз, как Ликург, и законы во вверенном ему царстве-государстве устанавливал столь же незыблемые. Несмотря на мягкую барственность, властитель из него вышел строгий. Но он, несомненно, обладал чувством юмора, иначе принял бы самые решительные меры при виде папиной ноги, задранной на поручни парохода в день прибытия семейства. Васильсилич никак не мог предположить, что встречать его, младшего по чину, приедет само Главное Лицо и, боясь быть не узнанным, сразу же предъявил стоящим на пристани свою широчайшую советскую штанину. Главное Лицо благосклонно улыбнулось, и с тех пор Васильсилич числился в записных остряках. (Более никто этот список пополнять не отважится.)

Статуи бога Солнца тоже, бывало, изображались одноглазыми. Ослепительные державные лучи падали и на нашего Ликурга. Были у него, конечно, враги среди смертных, но и сторонники и противники его методов неизменно уважали его за прямоту и политически выверенное изящество жеста. Цумбайшпиль! Например, встречая на официальном приеме нежелательное лицо, он предпочитал всем своим царственным телом в три погибели наклониться за якобы уроненным носовым платком, нежели пожать не уважаемую им руку. Со своими же разбирался в открытую, не следуя манере ассирийских владык, любивших править, не выходя из покоев, чтобы не дай Бог никто не узнал. Он терпеть не мог таинственности ни в чем! А также никогда не ставил перед собой нереальных задач, ни разу не приказав к своему удовольствию высечь море или на худой конец местную мутноватую речку.

Подчиненным часто приходилось слышать его коронные фразы типа: «Когда побежденные приказывают победителям, это или безумие, или коварство» или же «Мы попали в плен к неприятелю? А разве не он — к нам?»

Здешние власти себя, однако, ни побежденными, ни плененными явно не ощущали. Это и привело к последствиям самым что ни на есть для Главного Лица плачевным. Причем подвела его все та же любовь к древнегреческой ясности и суровой наглядности вкупе с привычкой распоряжаться остальным миром, как высший разум распоряжается рукой или ногой собственного тела.

Сообщение о готовящейся — по случаю ввода советских войск на территорию одной из братских стран с целью оказания ей помощи — «провокации» поступило ровно за час до начала праздника. Осведомившись у помощника, достаточно ли серьезна присланная информация, и услышав ответ весьма утвердительный, он отложил листок и сказал еще одну свою коронную фразу: «Серьезные дела во время пира не решаются. Они решаются завтра». Завтра для него уже не было. Зажигательная смесь летела им на головы сегодня. Помощник же только возводил очи к небу!..

Погром длился всю ночь. Человеческих жертв, к счастью, не было. В загородной резиденции посла у парковых статуй на груди были вырезаны звезды, а в гараже перебиты машины. Так что, когда Главное Лицо ступило на дорожку своего сада, ноги его по щиколотку утонули в крошеве стекла и железа. Безрукая белокаменная баба, обычно глядевшая из пены волн пустыми глазницами, сейчас уставилась на него осмысленным, ярким взглядом. В каждый зрачок было вставлено по серпу и молоту — баба глядела светло и похабно...

В посольстве еще долго жалели Одноглазого — был он отозван на Родину, впрочем, уже вполне примиренным с происшедшим и даже, как говорили, без особых для себя последствий. Имелась у него ТАМ твердая рука.

А Клара С. все видела по ночам свесившиеся вниз детские ноги. И маленькое странное существо, кружившееся возле лица ЛИКУРГА-СОЛНЦА. Существо было похоже на женщину, но не женщина. Сначала Клара С. даже решила, что это Наталиванна в новом маскарадном костюме, но сильно уменьшенная. Уж больно мало было существо, не более стрекозы. И то же голубое свечение крылышек, тот же страх — прикоснуться к ней рукой. Глаза у стрекозы мертвые, выпученные.

И слышит она шепот:

— Открой мне сердце... Открой сердце для любви и ненависти...

Маленький дух зовет ее куда-то, куда Кларе С. и самой давно хочется. Хочется, а она и не знала... Любить и ненавидеть так, что небу жарко, и оно горит, и лопается золото дней... Чувства ослепительные, невыносимые, не как у людей, все смешивающих в одно безвкусное пойло — только да и нет... Принимать всем сердцем и всем сердцем же отвергать. Да и нет, другие слова не слушать, не верить... только да и нет, да и нет... да и нет...

— Да, Кларочка, да! Что с тобой, ты кричишь во сне!

Мама появляется. Маленький дух исчезает.

— Все хорошо. Хорошо!

Хеппи-энд. Лупоглазые тщедушные братья по разуму, наставив нас на путь истинный, исчезают, улетают в свою лучшую, неопознанную реальность. Так кто же это был? Брат по разуму, да? Чертик, да? Да? Да? Да?..

— Да, Кларочка, да! Это фэйри было, сказочное существо. Только фэйри умеют так любить и ненавидеть. Люди — нет. Но ты не бойся, это в далеком прошлом, в Ирландии...

Мама много читает, она знает: это — фэйри. Это они умеют любить и ненавидеть. Это мы — братья по разуму. Это чертик тщедушен и лупоглаз, он всегда хочет нас от чего-то спасти.

— Ты мне друг, мамочка?

— Друг, Кларочка, друг...

...Клара С. проснулась как ни в чем не бывало и хотела тут же бежать в сад. И побежала... Только что-то мешало ей двигаться, как раньше. Мама выглянула в окно и удивилась:

— Ты зачем, Кларочка, ножку волочишь? Ты ходи, девочка, ходи...

Привезенное папиным знакомым, «маленьким капиталистом», медицинское светило, опытно взглянув, сообщило перепуганной Наталиванне, что им страшно повезло. Волна полиомиелита, распространившаяся по всей стране и захлестнувшая столицу, лишь слегка коснулась их ребенка. Можно сказать, нежно лизнула и отошла. Видимо, ваша дочь ей не приглянулась, не приглянулась, смеялось светило, и все тоже смеялись — «маленький капиталист», Васильсилич, даже Наталиванна, не говоря уже о Кларе С.

Радуйся, присно, дева, и вовеки!

А все тело, как кинжал,— острое, быстрое, кровь бежит по жилочкам, тяжесть ненужная. А может, нужная, без этой тяжести воздух насквозь не пройдешь, в чужое тело не вопьешься. Клара — сабля. Эй, Саблина, бей-секи! Так вот чем тело налито — памятью. Оно помнит! Как мама одела его в малиновую плюшевую шубку, такую страшно-прекрасную, наварила много-много крутых яиц... И вот они едут в поезде — из своих российских европий в самую что ни на есть Европу. А как в песне поется, «кого перевезут за Дунай, тот дом забывай...». Пересадочная станция — Чоп. Щеки у Клары С. горят от ветра и крутых яиц, хлебушек-то кончился. Утро майское, колючее, как проволока возле лица. Скамеечка. Под ней мусорно, везде мусор, везде. И никто-никто не накормит до завтрашнего дня, а может, и никогда больше. Хороший поезд только утром, так на скамейке и помрешь. А ресторан-то на что? Ре-сторан! Сто ран. Нужны карточки, а их нет, и, где взять, никто не знает, ни папа, ни мама. Нет, мама знает. Она всегда знает, куда идти. За молоком на рынок! Мама приносит в клюве, но есть все равно нельзя — кисло. Клара плюется и плачет, а маме все весело — опять куда-то бежит, приносит белый ком. Солдаты на площади отвалили полкило. Солдаты добрые. Но творог тоже кислый, еще кислее, чем молоко. Клара плюется. Папа плюется тоже, не знал, что творог такой бывает. Солдатский... Жаль солдат, они хорошие. Ок-ку-па-ци-он-ные! Вой-ска-а-а-а-а! Все вдруг бросаются в поезд, вся площадь, с ружьями, автоматами, ложками, кастрюлями... В поезде хорошо. И тоже скамейки, только узенькие, папе с мамой на них не уместиться. А Кларе — уместиться. Только уж очень все вокруг визжит, скрежещет, и гул такой — у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! У-у-у-у-у-у-у-ух! Мама сверху набросала на нее вещей, и она делает

вид, что спит. Вообще-то она не спит никогда. И прекрасно слышит, как в их перегородку стучат. Наверное, гости. Только зачем так громко, так долго, мама ведь гостям всегда рада. Папа вскакивает, идет встречать... Возвращается обратно походкой победителя. Был у победителей. Они к нам, оказывается, и не собирались, просто сапоги о стенку выбивают. Кончили выбивать. Тишина... Клара любит папу. Клара любит маму. Клара любит солдат. Поодиночке выходить из купе нельзя — убьют. Их там, оказывается, тьма-тьмущая, все распоясанные. И в поезде скрежещет — у-у-у-у-у-у-ух! Папа с мамой не спят. В окне почему-то утро и какие-то Альпы. Вчера их не было. Приехали! Только Клара по дороге успела выбросить в эти самые Альпы термос, зубную щетку и остававшееся крутое яйцо. Надо бы вернуться... Папа с мамой смеются, они вообще смешливые, им смех в головки попал. А Кларе не до смеха, ей жаль солдат. Еще жаль, что ее малиновая шубка, оказывается, вовсе не такая уж красивая, а просто дрянь. Кругом все нарядные, даже солдаты. И гостиницы с ресторанами есть. Мама опять куда-то идет, приносит новую одежду, надевает на Клару свитер, брючки, дает в руки большой мяч, его, конечно, нужно выбросить в окно на площадь — там тоже солдаты. Они хорошие. А вот брючки плохие, она же не мальчик. Зачем, зачем отобрали ее плюшевое чудовище? Сами отобрали, а твердят: сказка, сказка! Это что сказка? Бархатные сиденья в поезде — сказка? Город Вена — сказка? Океан — сказка? Сказки дома были, у бабушки... Выбежала во двор, за папой, обнять сыночка — один глаз голубой, другой темной шторкой затянут (бельмо), один глаз светится, другой во тьму провожает... навсегда, навсегда! Папа сразу же отравился здесь своими любимыми шпротами, чуть не отдал Богу душу. А на палубе так качает, что скоро все они улетят в небо, только никакого неба и в помине нет. Мама бегает, руками ловит, кричит: вернись! вернись сейчас же! Но дитя не хочет возвращаться, ему весело. И вот волна накрывает их с головой... Мама хватает Клару, красивые моряки — маму. Мамо́чка! Мамо́чка! Клариссимо! Клариссимо!..

Скоро, скоро все станет ясно. И куда они так долго ехали, и почему мама кричит, и почему папа в своей предсмертной записке написал: «Без светлой мамы-ласточки живет лишь воробей...» Скоро станет ясно, почему папы нет, а воробей все чирикает. Почему ДЕРЕВО под ее окном шумит. Не шум это, а гул из самого нутра — у-у-у-у-у! у-у-у-ух! — от слабых листочков, по медному стволу, до самых темных корней. Жестокий медный гул. Как из бога с пустым туловищем, в котором когда-то сжигали детей-первенцев ему в дар, и родители с радостным смехом должны были слушать гул полой меди.

Полый бог! Зачем ты испытываешь тех, кто и так тебе предан. Зачем пожираешь детей своих. Дай им, как земля дает людям, как небо — птицам. За что им твое возмездие? Может, за то, что смешали в одно бесчувствие любовь и ненависть, что жизнь и смерть для них неразделимы, что война — их родина. Война — мать всего и отец всего, и ты на ней либо победитель, либо побежденный...

На другой день маленькая Клара С. достала своих пупсов, обвязала их одним толстым ремнем и понесла к ДЕРЕВУ. Нести было не тяжело — нога вновь начала ходить, как заведенная. Дамоклов меч так и остался висеть... Связанные ремнем-душегубкой пупсы от собственной тяжести волочились по земле. Их глазастые дыры смотрели прямо перед собой, неподвижно, каждая дыра — в свою сторону.

Маленькая Клара С. разрыла землю и закопала их в яму. А сверху придавила камнем, увив его гибкими зелеными усиками растений.

Одна, без взрослых вышла она за ограду, на чужую территорию и побрела по незнакомым улицам, сетью прямых линий стягивающихся к главной площади, к Собору с круглым невыносимо синим куполом, раскинувшимся над высоким средокрестием. Сюда, к этому Собору, слева и справа, со всех сторон, ползли маленькие черные коляски с большими колесами, огненные спицы сверкали меж железных ободьев. В колясках сидели печальные черные женщины с белыми лицами, их ноги в ботинках-колодках казались огромными, как корни деревьев, из них росло остальное туловище, тонкое и прозрачное, тело херувима. Только глаза горели, клубились светлыми лампадами. Тысячеглазое шествие. Никто не обернулся и не взглянул на Клару С., херувимы во время своего шествия не оборачиваются, они смотрят прямо перед собой, в сторону лица своего... идут прямо, не оборачиваются, словно несут на себе тяжелый синий, как сапфир, свод.

Она помахала рукой... Никогда больше ей здесь не бывать, в этих чудных местах, под небом чужой родины!

Вскоре у отца закончился срок, и они уехали домой. Самолетик летел через все прекраснейшие столицы мира, только жаль было, что мама не разрешала ей говорить на родном языке, а никакого другого она не знала. В дверных проемах, у сходов

на взлетную полосу, везде стояли мужчины в темно-коричневой одежде, на предплечьях двухголовые птички, странно изломанные кресты... Свастика, объяснила мама. И Клара С. молчала, молчала, удерживая в горле подступающие без спроса русские слова.

Лишь когда приземлились они в аэропорту и вышли в колкий осенний воздух, она собралась с духом и крикнула родным осинам:

— Долой фашистов!

НЕБО ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Дерево было, как лес, все полно перекрестьями ветвей и листьев, златовидное ранней и кроваво-красное поздней осенью, увешанное смарагдовыми висюльками весной и летом, покрытое белой крещенской рубахой зимой, оберегами льда и инея, оно одно, казалось, занимало обширное приусадебное пространство, не сгорая, горело небесным огнем, облетало тихими ангелами снега, творило птичий благовест вокруг дома Осоргиных.

Дом и род совпали не так давно, всего около века тому назад, и с тех пор были неразлучны. Так что многими своими свершениями и преобразованиями это поместье, находившееся далеко от Москвы и уж вовсе опричное по отношению к тогдашней столице, обязано было своим новым хозяевам.

Иулиания Осоргина — Осорьина, жившая в шестнадцатом и умершая в начале семнадцатого века, оставила по себе память долгую и добрую, как зимние праздники, начинающиеся с Нового года и тянущиеся через Рождество до самого Крещения, а также — сына Дружину. Он-то потом и рассказывал детям, что прабабка и в церковь не больно ходила (от дома далече), и не все посты блюла, а вот поди ж ты, именно на нее обиделась Пресвятая Богородица — как на соседушку свою, как на подружку обиделась, и был священнику глас от иконы, что, мол, надобно бы ей в храм-то явиться да отбить с десяток-другой поклонов или так постоять возле золотых ее окладов и бесценных риз.

По мнению более поздних исследователей, Иулиания и была тем самым идеалом Женственности на Руси, который непременно включал в себя понятие вечности, весь мужской пол явно превосходящей. И даже им самим, этим полом, охотно признаваемой. Вот ведь говорит же неистовый Бондарчук — Сергий несравненной Демидовой — Сашеньке в художественном фильме великие толстовские слова о том, что он-де великий грешник, она же праведница. Ибо смел он думать, что живет для Бога, а жил для людей, а она, всю жизнь полагавшая, что живет лишь для людей, для Бога и жила.

Ну да, в общем, все как-то жили... Только Ульяна Устиновна и вправду отличалась особым даром любви к ближнему. Ее человеколюбие, по сути, являлось нищелюбием, что нередко встречалось тогда на Руси. Личная, из рук в руки переходящая, а не заочная милостыня была ее ежедневным, ежечасным уделом. Не одного сирого и убогого накормила она, обогрела, утерла слезы горя и голода — тайной и явной своею милостью, как та малоизвестная женщина, что обтерла пот и кровь Идущего на казнь своими волосами.

И была она в своей милости столь расточительна, что сам дьявол однажды пригрозил ей: умрешь в нищете! Что впоследствии и случилось. Только все равно при жизни пекла она хлеба из коры да лебеды, послаще, чем настоящие. Все равно — пеклась о ближнем, окликая всех людей из челяди каждого своим полным именем, а не дворовой кличкой. Все равно — пока не накормила, не напоила всех, не сошла в могилу. А как голод кончился, так и сошла. Умерла, как жила, в своей нижегородской вотчине — Ульяна Устиновна Осоргина.

Она и не ведала, что далекие ее потомки надолго обоснуются в имении между Серпуховом и Калугой, вплоть до самой Великой Революции, и суждено им будет пережить и хлад, и глад, только мало кто станет утирать их слезы, одаривать тайной милостью. Да и к чему? Ведь дом, построенный еще прежним его владельцем, отставным генералом Карром, по происхождению англичанином (а по более достоверным свидетельствам, шотландцем), был изначально задуман как крепость. Карр отлично помнил события пугачевского бунта, в которых принимал самое непосредственное участие (разумеется, не со стороны бунтовщиков), за что и был упомянут Александром Сергеевичем Пушкиным. Стоявшая высоко над рекой крылатая громада трехпалубного дома с башнями и шпилями, летающий корабль и в самом деле напоминавшая, имела подземный ход, ведущий прямо к крутому окскому бережку, на Каменную горку. Об этот берег во время грозы разбилась, видно, не одна молния.

Весь он был выжжен, опален, скошен... А подземный ход остался, только был засыпан, входа-выхода не найти.

Сам дом состоял из тридцати четырех жилых комнат (не считая помещений для челяди и хозяйственных нужд), и все в нем до поры до времени, впрочем, уживалось вовсе не по принципу оборонительно-наступательных действий противников. Скорее уж лично Карр имел характер противоречивый, противный. Немало он чудил, приводя в надлежащий порядок и парк — не то чтобы на аглицкий манер, но все ж не без выдумки. Так, во время фейерверков, когда ночная тьма разрежалась яркими всполохами и искусственными зарницами, с открывшейся высоты можно было отчетливо увидеть слово КАРР, составленное из аккуратно выстриженных кустов и деревьев. Вот с тех пор-то вороны (не путать с воро́нами) на тех деревьях и талдычат свое «карр!» и «невермор!». Живут без малого лет триста, значит, они-то и глядели на шумящую цветами и листьями надпись. Кому ж еще могла принадлежать та высота? АэроплОнов ведь тогда не было... Отчасти чтобы замолить мужнины причуды (далеко не всегда столь невинные, как вышеописанная), а может, и повинуясь глубинному чувству долга, вдова построила возле дома церковь с ротондой и многоярусной колокольней, которая и стала их родовой усыпальницей. А спустя энное количество годков их блистательный отпрыск проиграл то имение в карты одному из Осоргиных, и его преемник, едва войдя в права собственности и первым делом заглянув в тамошнюю церковь, бежал оттуда с криком: «Он проиграл мне свою мать!»

В тишайшем церковном приделе действительно находилось свежее еще захоронение родительницы, которую сын едва успел оплакать, расплатиться же с долгами не успел вовсе.

Говорят, уже тяжело болея, госпожа хозяйка все медлила умирать — ждала из Москвы сына. Даже будто бы велела в случае своей необратимой кончины забальзамировать ее тело с помощью одного ей известного снадобья. Сын явился уже после смерти матери, но столь сильная родительская привязанность вкупе с таинственным снадобьем и создали тот прецедент, который произошел спустя уже много времени, когда сама церковь была полуразрушена. Уцелевший местный народ утверждает, что в разоренном захоронении было найдено тело практически нетленное, в хорошо сохранившихся одеждах, крепких, по моде тех лет сшитых башмаках и даже с бумажным венчиком на лбу. Открывшаяся мумия вскоре, конечно, рассыпалась в прах, а венчик еще долго хранился у какой-то старухи, правда, в слегка помятом виде.

Все к тому времени совершенно переменилось. В доме теперь была турбаза, а от высокого с резным окоемом крыльца, под которым босоногие мальчишки продавали ухоженной дворовой челяди грибы и ягоды для хозяйского стола, от переполненных тех корзин и лукошек осталась одна пустота. Не было больше крыльца, и некому там было стоять. И церкви-ротонды не было, одна зияющая тьма колокольни да ветер среди развалин начальной школы, устроенной барином для крестьянских детей.

Сердится барин, порой даже что-то кричит. Страшно сердится, впадая в гнев, подобно Юпитеру; отчего эти смертные так бесстыдно равнодушны к собственной жизни? Во время недавнего пожара деревенские даже пальцем не шевельнули, чтоб побыстрее затушить огонь, поощряемые самими хозяевам горевшей избы. Кто догадался кидать в расползающееся пламя крашеные яйца?! Благо Пасха была тут как тут, стояла в богоданной своей силе, и крестьяне уже успели хорошо разговеться. Крашеные яйца — в огонь!.. И почему дворовая девка вместо слова «сюртук» талдычит «шуртук»? Зачем сторож Чуркин, провожая их в долгий, навсегда от Дома уводящий путь, причитает, что в голове у него от этой самой «революзии» «нимфозория завелась»? Какая к черту нимфозория?! Надо говорить: дурь, хаос, смерть. Надо говорить: революция!..

А вот хозяйка никогда не сердится, сидит себе по обыкновению в зале и бесконечно играет пассажи на сладкозвучном инструменте. Эта зала у детей называется райская. Не за красоту, а за акустику. Совершенно особая там акустика, бесконечное вторье, а одно из значений слова «рай» и указывает вроде на место, где голос раздается и вторит. Долгий гул, эхо... И вроде бы этот особенный звук должен был навсегда уйти вместе с разломанным, кинутым на съедение дождям и снегу телом рояля, с расстрелом колокола, чей благовест сколько уж лет прочищал звуковые каналы меж землей и небом, человеком и человеком. Но райскость осталась. Звук не покинул эти места, и чудное вторье нет-нет да и прорвется в чьих-нибудь воспоминаниях о Сергиевском... Там молодая душа впервые открылась для восприятия чуда — не как дара, снизошедшего с небес, а как здешней гармонии, сочетания Дома с церковью, Сада с рекой, Звезды со звездами, Матери с Сыном и Отца со всем, со всем, что творит-

ся на этой земле. И все-все, так стремительно потом полетевшее в бездонную воронку,— скоропалительный отъезд-бегство, почище, чем в Египет, потеря Родины, эмиграция с последующим, казавшимся почти бессмысленным ростом и разветвлением семейного древа,— все это, по правде говоря, было только возвращением, все тем же начальным устремлением к первозданной красоте, к ней, к Сергиевке!..

...Закончив свой спич, хозяин дома, в котором русская семья гостила вот уже вторую неделю, погрузился в глубокую задумчивость. Он был американский корреспондент, КОРР, и работал в израильском бюро своей вездесущей газеты с целью правильного освещения событий. Русская же семья состояла из мужа, жены и ребенка, приехавших сюда ради лицезрения здешних красот. В свободное же время частенько сиживали они на высокой террасе дома, под небом Палестины, обсуждая дела настоящего и минувшего. КОРР являлся прямым потомком вышеописанного дворянского семейства, бережно сохранял оставшиеся архивы и готовился к изданию внушительного труда о русской деревне. Книга так и будет называться: «Эхо родной земли».

— Я до сих пор помню, говаривала моя мама, и этот дом, и Каменную горку, и голос дьякона, служившего на Пасху, и звуки фортепиано. Даже, кажется, бормотание сторожа Чуркина помню... нимфозория, хаос, дурь... АэроплОны... Вот и летел этот звук со мной повсюду, куда залетали мы,— и в Америку, и в Париж. А теперь вот и сюда добрался,— добавил КОРР, поглаживая маленькую «чеховскую» бородку.

Он допил свой кофе и стал собираться «на войну» — арабо-израильский конфликт разгорелся с новой силой, в ход пошли и камни, и пули, и взрывные устройства. Милая душа Сергиевки, на минуту глянувшая на нас из-за плеча, как сошедшая с ума Жизель, белоснежно вспорхнула и исчезла вместе с отбывшим на войну хозяином имения. Русское же семейство, спустившись с уютной крыши, погрузилось в не менее уютный туристический автобус и двинулось в сторону Мертвого моря...

Жанр путеводителя вновь обозначается на горизонте повествования. Но сами наши пути, простите за тавтологию, путаются, переплетаются и мешают ясно разглядеть конечную цель.

Но время может дать неожиданную остановку в пути, западая, как в фильмах режиссера Спилберга, из первой, основной реальности во «вторую» и даже в «третью». И в какой-то реальности героям, живым и уже ушедшим, суждено снова и снова встретиться... И они встретятся. Сами с собой, со своими двойниками, любимыми и нелюбимыми, с тем, что могло бы с ними быть и чего никогда не будет. Не в силах ровным счетом ничего предъявить этой западающей реальности, они ринутся из нее прочь, потрясенные тоской и скукой, как чеховский Мопассан бежал от Эйфелевой башни на Сахалин... Туда, туда, в милую, реальную Сергиевку!

Даже если наш возврат и не напоминает путь в потерянный рай, и не растет там больше дерево, что златовидно и огнеобразно, и на ветвях его не отдыхает Бог, раскачиваясь между настоящим и прошлым, меж тлением и нетлением...

Мы точно знали, что это место есть, а они тоже точно, что — нет. Говорите Сергиевское? Нету. Да и не проедете вы туда на вашей «вольве» по нашему-то бездорожью. Был тут уже до вас один, тоже на «вольве», корреспондент какой-то, а сам оказался хозяином. Дремучий Серж, писали в газете. Как увидал колокольню и домтурбазу, чуть не заплакал. Мы же не плачем, когда оказываемся у них ТАМ. Бабушка-библиотекарь черепки ему вынесла. Кувшин бывший. Тут письма какие-то были. Теперь ничего нет — ни кувшина, ни писем. Зато музей есть имени Осоргиных. Да здравствует родной царь-батюшка! Так корреспондент этот еще раз прикатил, фотографии привез, документы, еще каких-то черепков. Мы уже с хлебом-солью вышли, предобрые. Намекнули даже, что за пять-шесть зеленей можно именьице вновь привести в частную собственность. Только он, дурак иностранный, не понял, купил избу у местного поэта Чуркина... Так вы тоже покупать приехали? Нынче за пять-шесть не купишь. Не купите! Ничего не купите. Не продается русская душа, никому не нужна... Езжайте, езжайте себе с Богом!

И едут — с Богом, а как же еще?..

Люди ведь из того же народа, хоть и городские, на автобусе с экскурсией приехали. А среди них она, Клара Саблина. Правда, на «вольве». Зато с костылем, убогенькая. Ботинок на ней черный — последствие прогрессирующей болезни детства.

Поначалу вроде бы все обошлось, но со временем нога ходить отказалась. А теперь вот и рука плохо слушается. Но с рукой легче, просто периодически, в моменты обострений, нужно надевать серенькую перчатку — Клара надевает и садится. Оперу слушает. А под оперу что-то рисует-колдует. Деток, наверное, хочет себе наколдовать. А деток-то у нее и нет. И быть не может, деток-то...

Думаете, несправедливо, такая ведь раскрасавица? Справедливо! Она же, Клара Саблина, уже практически призрак, Жизель. Как в детстве еще небесный Стикс пересекла, так и стала: мертвец. И то! Явилась из-за моря-акияна в наши европии, а тут ам-м-м-м — рыбина ее и проглотила. Внутри у рыбы темно, просторно, драгоценные камни рубиновые ту темноту освещают. И говорит рыба человеческим голосом, и многие сказки рассказывает — живи, мол, долго и счастливо, сколько душе твоей угодно... А потом как возьмет, как выплюнет — прямо на берег!..

Рыба и вправду была огромной, только плоской, словно одна половинка луны. Она висела на стене соседнего дома, подтверждая призыв: КУШАЙТЕ РЫБУ КАМБАЛУ.

Клара Саблина и сама знала, что рыбу-камбалу кушать полезно. Более того, это изысканнейшее угощение, если в гости к тебе приходит человек-француз. Если же является американец или турок, камбалу лучше не неси, для американца с турком камбала — просто тьфу. Только Клара ведь не в Париже жила, французы к ней не ходили. Турки с американцами тоже.

Один американец, правда, ходил, но дети потом увидели его на первомайской демонстрации с красным знаменем. И они сразу догадались! Позвали милиционера, и тот американца из шеренги-то увел. Дети радовались, а Клара — нет. У нее папа тоже был шпионом, за ним тоже милиционер мог прийти.

Но милиционер оказался добрый: он американца отпустил, а детям дал по кислой конфетке и, расстегнув во дворе штаны, предложил полюбоваться. Девочки любовались, а Клара нет, она с некоторых пор конфет не любила.

Это после того, как двое мальчишек, привязав ее к коляске мотоцикла, прикатили к дальнему пруду и пытались сделать с ней то, что она и во сне увидеть не могла, но чего в первый раз по-настоящему испугалась. Сама того не желая, она стала громко кричать: что отец у нее шпион, что она племянница аргентинского президента, что у нее неизвестная болезнь, скорее всего вирус иммунодефицита (откуда только взялось, ведь тогда этот вирус практически еще не открыли!). Мальчишки послушали-послушали и сами тоже перепугались, не стали связываться.

Растерзанная и дикая, явилась она домой. Пожалеть ее было некому. Родители отбыли в очередную загранкомандировку, а бабушка, человек деловитый и справный, предложила ей хорошую котлету и пошла хозяйствовать дальше. Ей все приходилось тащить самой, так как дедушка на все требования что-нибудь сделать, прибить или расколоть неизменно отвечал бабушке: «Дорогая Мария! Ведь инструмента-то у меня нет!»

Так в жизнь подрастающей Клары Саблиной, детство которой было сдобрено изобилием самых ненужных вещей, входил свой порядок вещей.

Потом вернулись родители, а бабушка с дедушкой умерли. Рядом с ней росла ее сестра, похожая на нее, но не слишком. Клара Саблина с отличием закончила школу и поступила в институт. Там почему-то в противовес остальному пространству скопилось очень даже много иностранных подданных, и ей не оставалось ничего, как выбрать себе самого большого и красивого. Это было легко, так как ноги ее в те времена еще бегали, а душа была ото всех закрыта. Иностранный муж каждую секунду распространял вокруг себя страшное, скоропроходящее, но чрезвычайно сильное возбуждение, и Клара Саблина вдруг почувствовала себя в свои молодые годы полной старухой. Вскоре он отбыл сотрясать взрывами воздух других держав, и спустя какое-то время она увидела в газете его фотографию, подписанную совсем другим именем, а также кличкой «Международник». Она была даже отчасти рада. Молодость прошла... Но зачем, зачем было нужно ехать так далеко, чтобы метать бомбы?..

Если бы тогда было возможно заняться такой вещью, как клонирование, Клара Саблина занялась бы, простите за выражение, кларированием — попыталась бы восстановить себя по исходному детскому материалу. Но это было невозможно. Жизнь слишком быстро шла вперед, шла справно, как и хотела бабушка, царство ей небесное, вечный покой! Неожиданно она схоронила отца, и яблоня на их дачном участке, названная при посадке мистер Иден (в честь английского министра иностранных дел, о чем читайте вторую историю), в то лето застыла в скорбном земном поклоне. Однако уцелела и даже продолжала плодоносить.

Тут и началась у нее эта странная болезнь. Ладно бы руки-ноги отказывали, а то памятью стала куда-то проваливаться, соскальзывать... И музыка — не музыка, а голоса разные слышала, то жалобно-тонкие, а то густые и жирные, как черви, они ползли неотступно, и чей-то яркий глаз все время следил за ней с безысходностью любви. К кому? Чей?.. Жаль было нищих старух, роющихся в помойках мужиков неопределенного возраста, детей, тянущих к ней в переходах метро истинные и ложные призывы о помощи, деток, на скрипочках играющих, льнущих к тебе яркими, че-

стными, невыплаканными своими глазами... Дай, тетенька, денежку, что, нету мелкой, дай крупную... Дай! Дай!.. Не можешь по-крупному? Или не хочешь?.. И было себя жаль, Кларочку С., и своих деток, которых нет и не будет... И раскидывался над ней синий, как сапфир, купол, и сходила она туда, под самое его средокрестие, как в ДОМ. Дом-жизнь. Дом-смерть. Здравствуйте! Но нет, не знают здесь никаких Саблиных. Нету здесь таких, тут свои лежат. Свои...

МАРФА ЛАВРЕНТЬЕВНА СМИРНОВА. *Долго, всю жизнь, почитай, пролежала не вставая. Но не роптала. И пришла к ней молодая женщина Дуня, ей в помощь. А Марфа Лаврентьевна ее в науку духовную. Делай, мол, противоположное тому, чего сама желаешь! И до того она пожелания Дуни дотеснила, до того ее доограничивала, что в душе послушницы вдруг все восстало. Жизнь ее превратилась в один неугасимый огонь, на котором горел хворост иссушающих страстей. Тогда блаженная ее отпустила — иди, уж больно сучья у тебя великие выросли! И отправилась Дуня стройным деревцем по дороге, а старица в ту же ночь умерла и явилась к ней уже покойницей...*

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ИВАНОВ. *Прислуживал с детства в соборе и часто простужался. Наконец совсем слег, обезножел. Ухаживали за ним сестра с матерью, и лежал он так, не вставая, пока за ним не пришли. Люди из местного НКВД. Хотели его унести, а поднять не могут. Он же им подсказывает: вы ноги-то вот так поднимите, вот эдак-то занесите... Что, трудно? Трудно, миленькие вы мои, ох, трудно!..*

ВАСИЛИЙ СОКОЛОВ. *Отец Василий. Принял мученическую смерть в период изъятия церковных ценностей. Уже сидя в тюрьме, когда жизнь его висела на волоске, писал: «Как хорошо в мире Божием, даже из тюремного окна!» Писал он деткам — матушка Илария давно умерла, во время тяжелой болезни мужа выпросила у Богородицы его жизнь в обмен на свою. Богородица приняла ее молитву... В камере отец Василий не слышал колокольного перезвона, не мог глядеть на семейную икону. После смерти от него остался фотографический портрет, и из страха его повернули лицом к стене, а на обратную сторону поместили картину «Дедушкина радость». Уже во время войны, когда началась бомбежка, воздушной волной внутрь вдавило переднюю часть дома, разрушило печь. В момент взрыва портрет о. Василия повернулся, и на детей взглянул Он, священномученик. Никто из деток не пострадал...*

ВЛАДИМИР НИКОЛЬСКИЙ. *Будучи миссионером в Японии, ехал через Италию, Грецию, Северную Америку, поражаясь несоответствию христианских святынь и современного католического мира, который, по его мнению, лишь по названию являлся христианским. Молился на камнях Колизея, политых мученической кровью, у гробниц первомучеников-христиан... На допросе в ЧК снял висевшую у него на груди панагию, завернул ее в платок и, положив на стол, сказал так: «Мы — враги открытые, примирение меж нами невозможно. Если б не был я пастырем и пришлось мне решать вашу участь, я приказал бы вас повесить немедленно». После чего развернул платок, надел панагию и больше уже до самого расстрела не сказал ни слова...*

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ВОРОШИН. *Не жил в родительском доме, ходил всюду в лохмотьях. Видел все наперед — выберет дом и начнет его мерить да считать. И вдруг назовет такую конечную цифру, что ни под какой размер не подходит. Все давай смеяться! Но время приходит, и хозяина того дома арестовывают, а срок ему дают — точно то число, какое назвал блаженный... Идет Алексей по дороге, молитву поет. Впереди пусто, сзади никого, но он знает, что уже скачут за ним: «Умрет Алеша, прилетит соловей, но не сядет на могилку и песню не пропоет...»*

МИХАИЛ НАКАРЯКОВ. *Отец Михаил. Когда везли расстреливать, конвоиры и говорят:*

— Батюшка, мы тебя расстреливать везем, а нам тебя жалко. Мы помним, как ты нас учил, помогал семьям. Не можем мы тебя убивать.

Он же им:

— Нет уж, делайте со мной, что вам велено.

На следующий день красноармейцы поехали закапывать. Подъезжают — о. Михаил сидит на пне.

— Батюшка, разве ты жив? Как же мы будем тебя живым закапывать?

Не стали закапывать. Повезли в село.

— Батюшка! Куда тебя спрятать?

— Вы меня не прячьте.

При виде его никто не решался предоставить ему приют. Даже приходский

священник руками замахал, чтобы проезжали мимо. Просили конвоиры, чтобы кто из жителей хоть раны перевязал — жестокосердный попался народ, не мог очнуться от страха и ужаса. Отвезли о. Михаила обратно в тюрьму... На следующий день женщины пошли на берег белье полоскать, а на середине, крестообразно раскинув руки, с крестом на груди лежит замученный накануне о. Михаил. Чудо явное!.. Долго власти преследовали его семью, лишали детей продуктовых карточек. Но, бывало, кто-нибудь из них выйдет утром на крыльцо, а там — пакет с едой и записка...

Обычное кладбище, снегом припорошенное, с датами рождения и смерти. Но что за песня над ним носится? Чей голос, широкий и звонкий, разрывает тишину и поет прямо ей, Кларе Саблиной, в самые уши:

Долго я тяжкие цепи носил,
Долго бродил я в горах Акатуя,
Старый товарищ бежать пособил,
Ожил я, волю почу-у-у-у-у-я!..

И видит она, чует, как во время евангельского чтения о расслабленном в ротонду церкви входят они, представители народа. Ценности изымать. Люди стоят, и они стоят. Брать серебряные чаши и золотые оклады не решаются, только курят, дымы в воздух пускают...

Шилка и Нерчинск не страшны теперь,
Горная стража меня миновала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка минова-а-а-а-а-ла!..

• А в колокол звонить не дают. Но детям как-то удалось пробраться на колокольню. И они зазвонили, большие — в большой колокол, маленькие — в маленький...

Шел я и в ночь, и средь ясного дня,
Вкруг городов озираяся зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.
Славное море, священный Байкал.
Славный мой парус, халат дыроватый.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Слышатся грома раска-а-а-а-а-а-ты-ы-ы-ы!

У-у-у-у-у-у! Гудят колокола... Головы детей разбиты о камень на реках вавилонских, на большой и темной реке Оке, на всех огненных реках нашей необъятной Родины. Только когда представители народа хотели сбросить колокола вниз, люди густо устелили своими телами землю там, внутри церковной ограды. Раньше бы догадаться! Детки упали б головой в родное, мягонькое... А им все нипочем. Стоят, дымы пускают...

Стоит и Клара Саблина, как в детстве, задрала буйну голову кверху, на крест колокольни. Только нет там креста, черная она, колокольня, по ярусам ветер гуляет, дикое, нищее вторье:

Сияет месяц в облаках,
Кружится голова-а!
Едва стою я на ногах,
Но я ведь не пьяна-а!

Покачивается Клара Саблина, как былинка, но стоит — это сладкий хмель младенчества ее качает. Присосалась к материнской утробе и тянет свое крепенькое, красненькое, скоро насосется и наружу выпрыгнет. Туда, в пустошь захуданья, где звезда рубиновая горит, где снег да песок, снег да песок... и какой-то рогатый-бородатый пред ней встает, уйди, нечисть, не пялься, козлиная, темная твоя душа, потому что я тебя точно вижу, только сверху ты бог, а копытами и хвостом самый настоящий козел... а то, что я чувствую, на самом деле называется дионисийское опьянение... козлиная песнь, обычная трагедия наших просторов... все сюда перебралось, перекочевало — и ваша Древняя Греция, и Иерусалим, и Вифлеемская звезда, и взбирающийся на гору Назарет, все здесь, на высоком берегу, на этой самой Каменной горке... И стою я на ней, я, Клара Саблина, и не плачу... не плачу... Что, трудненько вам меня нести? Ноженьки тяжелые? Конечно, трудно, ох, трудно, миленькие вы мои!.. Хороший народ из автобуса, блаженный. И Клара Саблина, несомая, тоже хороша. Тащат ее, расслабленную, а она сама помогает себя тащить — хромой слепого, слепой хромого. Какой такой Шекспир написал про нож мыслей? Нету у нас никакого ножа ни в мыслях, ни за пазухой — мы душа нежная, вечно жено-мужественная, бессеменная. Это у нас, в нашем раю, растет дерево, и птицы на нем переклика-

ются детскими голосами, нет в них, птицах, ни воли, ни разума, один дух святой. А вы духом святым стать не можете, у вас нож мыслей, и вы через этот нож хотите попасть в царство небесное. Но никакое племя, никакой род не могут туда войти так, чтоб всем вместе, скопом! Только поодиночке, каждый — за птицей своего детства. Все вы — сыновья, дети Божии, все мы дочери — Евы. И вот я, Евина дочь, пустите меня, сейчас снова взойду, поднимусь на Каменную горку, на самый верх, и прямо оттуда, с высокого берега, брошусь вниз, разобью о камень головы всех своих прошлых и будущих деток и сама, сама разобьюсь!.. Стану пылью, песком, падающим снегом...

Любите друг друга, как братья, будьте, как дети — кто это сказал? Когда? Где? Зеленеет ли еще наше древо жизни, или осталось одно сухое, выжженное молнией ДЕРЕВО, под сенью которого расслабленные без рук, без ног поют, тянут дикие свои песни, а как допоют — ВСЁ. ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. Нет у нас времени — выправляться, справляться, превозмогать свое убожество. Рот наш полон дресвою, серебро стало изгарью, вино не пьянит...

Розановщина вдруг какая-то повалила на крутой окский бережок! То розановщина, а то исход с апокалипсисом, то дождь, то снег.

Оставим же нашу Клару Саблину там, на том бережку, где она и автор явно разминулись. Пусть основная линия повествования вновь выпадает в иную реальность, вернее, впадает. В славные воды Шпрее.

...Раннее, раннее утро под небом Берлина.

Бумаги, как всегда, хватает.

И Геракл-путеводитель на месте, под сенью Победы, въезжает в город на своей славной квадриге.

Сплошным ионическим фризом опоясывают битвы-победы небо Берлина.

Правда, там, где должен красоваться железный крест и гордая птичка,— пустота, сотворенная рукой новых победителей.

Но город, как и прежде, готов сиять белизной каменных колоссов, словно вторые Афины.

Сквозь грязную желтизну зданий — к первозданности песчаника и асбеста. Сквозь трупную патину — к бронзовой чистоте Фридриха Великого, хоть императорская униформа в местном музее и доказывает, увы, совершенно детские габариты ее носителя.

Категорический императив Унтер-дер-Линден сам подводит нас к каштановой рощице возле Новой Караульни, к каменному изображению Богоматери с телом Христа в последнем земном объятии времен зрелого соцреализма.

Еще не одна пьета поджидает нас на гостеприимной берлинской земле, в тенистых парках, перетекающих в кладбища и коллективные солдатские усыпальницы.

Мы входим туда без страха и ропота.

В окружении ало-красных, расчищенных и расчисленных цветников — он, Колосс женского рода. Родина-мать. Каменная баба так крепко прижимает к себе мертвое тело, как будто боится выпустить его из своих рук даже на секунду. Как будто именно в эту секунду небо может иссякнуть, пропасть, исчерпав свою любовь и милость!..

Но берлинское солнце палило неиссякаемо. Берлинский ветер гулял в моих волосах. День, захлестнувший меня своими призраками, был неотменим и долог. Он стоял полной чашей. Казалось, ничто еще не поздно...

Берлин — Иерусалим — Москва.
1997 — 1998 гг.

●

Скандал в императорской семье

Из переписки великого князя Михаила Александровича, императора Николая II, императрицы Марии Федоровны. 1912 год.

В последние годы существования Российского императорского дома жизнь семьи императора Николая II и его ближайших родственников не раз становилась объектом досужего внимания публики вследствие всякого рода скандальных историй, наиболее громкой из которых, не считая истории возвышения и гибели Распутина, был морганатический брак младшего брата царя, великого князя Михаила Александровича. Переписка великого князя с императором и членами императорской семьи передает подробности, связанные с этим событием, и в определенной степени дает представление о личности Михаила Романова. Впервые публикуемые письма хранятся в фондах императора Николая II (Ф. 601), императрицы Марии Федоровны (Ф. 642) и великого князя Михаила Александровича (Ф. 668) Государственного архива Российской Федерации.

Современники неоднозначно оценивали великого князя Михаила Александровича (22.XI.1878—13.VI.1918). Он был третьим сыном в семье императора Александра III и его любимцем. Люди, хорошо знавшие великого князя, отмечали его воспитанность, доступность и сходились на том, что по своей природе это был чрезвычайно скромный и застенчивый человек, тяготившийся собственным высоким положением, что, впрочем, не помешало ему стать блестящим гвардейским офицером, отличным наездником и спортсменом. Он мечтал управлять аэропланом, слыл театралом и заядлым автолюбителем.

Полковник А. А. Мордвинов, на протяжении многих лет состоявший адъютантом при великом князе, так отзывался о свойствах его характера: «Многим Михаил Александрович казался безвольным, легко попадающим под чужое влияние. По натуре он действительно был очень мягок, хотя и вспыльчив, но умел сдерживаться и быстро остывать. Как большинство, он был также неравнодушен к ласке и излияниям, которые ему всегда казались искренними. Он действительно не любил (главным образом из деликатности) настаивать на своем мнении, которое у него всегда все же было, и из этого же чувства такта стеснялся и противоречить. Но в тех поступках, которые он считал — правильно или нет — исполнением своего нравственного долга, он проявлял обычно настойчивость, меня поражавшую».

Всеобщее внимание Михаил Александрович впервые привлек к себе тайным вступлением против воли Николая II и императорской фамилии в морганатический брак с дважды разведенной дочерью московского адвоката Наталией Сергеевной Шереметьевской (1880—1952). Графиня Л. Воронцова-Дашкова в своих воспоминаниях поведала об этой романтической истории: «Браку великого князя предшествовал длительный роман... В 1908 г. он командовал эскадроном кирасирского Ее величества полка, шефом которого состояла мать великого князя, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Полк стоял в Гатчине, под Петербургом. Там на одном из полковых праздников великому князю в числе жен офицеров была представлена Наталия Сергеевна Вульферт.

Это, казалось бы, мимолетное знакомство перешло в длительный роман, закончившийся браком и отречением великого князя от всех присущих ему по положению прав.

Наталия Сергеевна Вульферт была женщиной красивой и образованной, происходила она из очень интеллигентной семьи. Ее отец, С. Шереметьевский, был известным адвокатом. Первым браком Наталия Сергеевна вышла за музыканта С. Мамонтова, вторым — за офицера кирасирского полка В. Вульферта.

Брака великого князя и Н. С. Вульферт не желали ни император Николай II, ни мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Когда император узнал о намерении великого князя все-таки жениться на Н. С. Вульферт, он вызвал его во дворец и отдал краткий приказ:

— Черниговские гусары!

Великий князь назначался командиром Черниговского гусарского полка, стоявшего в Орле, куда он должен был немедленно отправиться.

Гатчина, кирасиры, Н. С. Вульферт — все было покинуто. Но мягкий по своему характеру великий князь в данном случае проявил непреклонную волю, решив жениться на любимой женщине, даже несмотря на противодействие императора.

Великий князь уехал в Орел. Но роман продолжался. По настоянию великого князя ротмистр В. Вульферт согласился на развод с женой».

Следует заметить, что попытки великого князя совершить тайное венчание в России не имели успеха. Однако летом 1910 г. в жизни влюбленной четы произошло значительное событие, с которым под давлением брата вынужден был считаться и Николай II. Наталия Сергеевна после развода с ротмистром В. В. Вульфертом родила великому князю Михаилу Александровичу сына Георгия. 13 ноября 1910 г. российский император подписал Указ Правительствующему Сенату, который не подлежал обнародованию. В нем предписывалось: «Сына состоявшей в разводе Наталии Сергеевны Вульферт, Георгия, родившегося 24 июля 1910 года, всемилостивейше возводим в потомственное дворянское Российской империи достоинство, с предоставлением ему фамилии Брасов и отчества Михайлович».

Однако такое двойственное положение и долг чести не давали покоя Михаилу Александровичу, и он решил действовать против воли своих ближайших родственников. Заключить церковный брак с Наталией Сергеевной великий князь мог только за пределами России. Тем более что такие прецеденты уже бывали в многочисленной императорской фамилии. В 1912 г. Михаил Александрович, взяв имя графа Брасова, и Наталия Сергеевна инкогнито (под благовидным предлогом отдыха и лечения) выехали разными путями за границу.

Император, узнав о намерении брата, предпринял ряд шагов, желая ему помешать. За Михаилом Романовым был учрежден строжайший надзор. Чтобы не допустить заключения морганатического брака госпожи Вульферт с великим князем Михаилом Александровичем, за границу был специально послан генерал-майор корпуса жандармов А. В. Герасимов. При этом всем российским посольствам, миссиям и консульствам предписывалось оказывать ему всяческое содействие вплоть до «ареста лиц» по его указанию. Позднее жандармский генерал уточнял в своих воспоминаниях: «Конкретно барон Фредерикс указал, что в случае, если великий князь будет венчаться в церкви, я имею право подойти к нему, от имени Государя объявить его арестованным и потребовать немедленного выезда в Россию».

Однако Михаил Романов проявил незаурядные способности конспиратора, оставив своим попечителям возможность наполнить надзорное досье лишь объяснениями и оправдательными документами о провале порученного им дела. Великий князь действовал с крайней осторожностью, намеренно запутав и направив своих негласных «опекунов» по ложному пути. В Вене он нашел в сербской церкви православного священника, чтобы заключенный брак не подлежал расторжению Святейшим Синодом.

Здесь целесообразно привести докладную записку заведующего заграничной агентурой А. А. Красильникова директору Департамента полиции С. П. Белецкому, которая во многом объясняет ситуацию со скандальным браком великого князя.

17/30 декабря 1912 г.
№ 1638. Париж

Совершенно доверительно

Ваше превосходительство
милостивый государь Степан Петрович[1]!

Телеграммою от 21 ноября/4 декабря с. г. за № 382 я имел честь донести вашему превосходительству, что, по полученным сведениям, бракосочетание Его императорского высочества великого князя Михаила Александровича с г[оспо]жою Вульферт состоялось в Вене будто бы летом сего года.

Между тем великий князь Михаил Александрович в течение минувшего лета пребывал в России, насколько мне известно, большею частью находясь в Гатчине, а за границу изволил отбыть лишь в сентябре месяце, причем с самого приезда Его императорского высочества в Берлин была установлена охрана, от которой, казалось, не могла бы укрыться поездка великого князя в Вену.

Произведя конфиденциально по этому предмету самое осторожное расследование как в Киссингене, так и в Берлине и Вене, ныне имею честь доложить вашему превосходительству, при каких обстоятельствах и в какое именно время состоялось вступление в брак Его императорского высочества.

Выехав из России за границу 12/25 сентября, великий князь остановился в Берлине в отеле Эспланад и прожил там вместе с г[оспо]жою Вульферт до 24 сентября/7 октября, когда прибыл в Киссинген, где г[оспо]жа Вульферт лечилась в санатории д[окто]ра Аполанта.

В последних числах октября, по окончании курса лечения г[оспо]жи Вульферт, великий князь решил свой отъезд из Киссингена в Канн. 27 октября н[ового] ст[иля] великий князь по телеграфу из Киссингена запросил отель Эспланад в Берлине, нельзя ли будет приобрести для него на 29-е октября спальные места от Франкфурта-на-Майне до Парижа. На утвердительный ответ отеля великий князь 28 октября просил по телеграфу записать ему на 29-е октября 4 спальных места и 4 места 1-го класса до Парижа. На другой день, 29 октября, Его императорское высочество по телеграфу известил отель Эспланад, что места ему не нужны.

Видимо, вдруг изменив свое решение, великий князь 29 октября объявил своим спутникам, что выезжает с г[оспо]жою Вульферт в этот день в автомобиле через Швейцарию и Италию в Канн, а дети, сопровождающие их лица и прислуга поедут по железной дороге через Париж в Канн.

В тот же день, 29 октября, великий князь с г[оспо]жою Вульферт доехали в автомобиле только до г. Вюрцбурга, где они сели в поезд железной дороги, следовавший через Мюнхен и Зальцбург в Вену, куда Его императорское высочество прибыл утром 30 октября и остановился в отеле Тегетгоф (Tegethof). В тот же день в 4 часа пополудни великий князь и г[оспо]жа Вульферт проехали в сербскую церковь Св. Саввы (Weitgasse, 3), где и совершили обряд бракосочетания.

Запись произведена была при этом следующая: Михаил Александрович, русский Великий Князь, род. 22 ноября 1878 года в С.-Петербурге, и дворянка Наталия Брасова, род. 7 июня 1880 г. в Pezowa, близь Москвы.

31 октября Его императорское высочество с г[оспо]жою Вульферт выехали из Вены через Мюнхен, где провели сутки, в Канн, куда прибыли утром 3 ноября.

Автомобиль и его шофер были доставлены в Канн по железной дороге из г. Вюрцбурга.

Для всех окружающих великого князя и г[оспо]жу Вульферт лиц поездка в Вену осталась совершенно неизвестной. По приезде в Канн Его императорское высочество заявил, что закончил путешествие по железной дороге вследствие усталости г[оспо]жи Вульферт.

Из доложенных данных можно прежде всего заключить, что совершение брака решилось по каким-то неизвестным причинам, как будто бы неожиданно, ибо 28 октября Его императорское высочество, телеграфируя в Берлин для заказа на 29-е число спальных мест от Франкфурта до Парижа, видимо, совершенно не имел в виду быть 30 октября в Вене.

Выезд в Вену неожиданно решился лишь на другой день, 29 октября, и уже 30-го, в день приезда в Вену, совершается и самый обряд венчания.

Вместе с тем само собой объясняется, каким образом охрана, установленная при великом князе, могла не узнать о поездке Его императорского высочества в Вену, а следовательно, и о состоявшемся там бракосочетании.

Во время предшествовавших пребываний великого князя Михаила Александровича за границей агенты заграничной агентуры во время поездок Его императорского высочества на автомобиле повсюду сопровождали великого князя на особом моторе. В нынешний же выезд великого князя за границу командированный для ведения охраны старший агент Бинт получил в Берлине от генерал-майора Герасимова[2] распоряжение при поездках великого князя на автомобиле не сопровождать Его императорское высочество на моторе, а только следовать в поезде за лицами свиты и багажом.

Не сопровождая великого князя в его поездке на автомобиле, охрана ничего узнать не могла, ибо направление и цель поездки остались законспирированными от самых близких лиц.

Прошу ваше превосходительство принять уверение в глубоком моем уважении и искренней преданности.

А. Красильников[3].

[1] Белецкий Степан Петрович (1873—1918) с 21 февраля 1912 г. исполнял должность директора Департамента полиции. Устранен с должности в 1914 г. Позднее товарищ министра внутренних дел, министр внутренних дел (сентябрь 1915-го — февраль 1916 г.); сенатор (с 1914 г.). После Февральской революции заключен в Петропавловскую крепость. Расстрелян по постановлению ВЧК в порядке «красного террора».

[2] Герасимов Александр Васильевич (1861—?) — с 1905-го по 1909 г. начальник отделения по охране общественного порядка в Санкт-Петербурге. Произведен в генерал-майоры и назначен генералом для поручений при министре внутренних дел по должности шефа жандармов. В 1912 г. был командирован за границу для наблюдения за великим князем Михаилом Александровичем. В начале 1914 г. вышел в отставку с производством в генерал-лейтенанты.

[3] Красильников Александр Александрович (1864—?) — заведующий заграничной агентурой Департамента полиции.

Объяснение своего решения великий князь дает в письме к матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне.

31 октября 1912 г.
Hotel du Parc. Cannes

Моя дорогая Мама́[1].

Если б ты знала только, как мне тяжело и больно огорчить тебя, а я знаю, что мое письмо принесет тебе большое горе, и заранее прошу тебя выслушать и простить меня. Я так хочу, чтобы ты поверила моим словам, что мне более чем тяжело огорчать тебя, дорогая Мама́, но я обязан сказать тебе, что 16/29 октября, то есть две недели тому назад, я женился на Наталии Сергеевне Брасовой. Все последнее время я страшно мучился, что я не мог в силу обстоятельств говорить с тобой о том, что составляло все эти годы главный смысл моей жизни, но ты сама, по-видимому, этого никогда не хотела. Вот уже пять лет, как я познакомился с Наталией С[ергеевной], и люблю и уважаю ее с каждым годом все больше, но нравственное состояние было у меня всегда очень тяжелое, и последний год в Петербурге в особенности привел меня к сознанию, что только женитьба поможет мне выйти из этого тяжелого и ложного положения. Но, не желая тебя огорчать, я, может быть, никогда бы на это не решился, если бы не болезнь маленького Алексея[2] *и мысль, что наследником меня могли бы разлучить с Наталией С[ергеевной], чего теперь уже быть не может. Повторяю опять, что меня больше всего мучает мысль, что я тебя и Ники*[3] *так ужасно огорчу, но продолжать такую жизнь, как до сих пор, для меня было слишком невыносимо. Итак, умоляю тебя, моя дорогая Мама́, прости и пойми меня как мать, которую я горячо люблю всем моим сердцем.*
Твой Миша.

[1] Мария Федоровна (1847—1928) — вдовствующая императрица, урожденная датская принцесса Мария-София-Фредерика-Дагмара. После Февральской революции находилась с родственниками на положении ссыльной в Крыму. В марте 1919 г. эмигрировала из России. Умерла в Дании.

[2] Алексей Николаевич (*Алексей,* 1904—1918) — цесаревич, наследник престола; сын Николая II и Александры Федоровны, страдал гемофилией. (В случае смерти Алексея Михаил Романов был бы объявлен престолонаследником.) Расстрелян с царской семьей в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 г.

[3] Николай II (*Николай Александрович, Ники,* 1868—1918) — российский император, старший сын императора Александра III, брат великого князя Михаила Александровича. Вступил на престол в 1894 г.

Одновременно он пишет письмо Николаю, пытаясь объяснить мотивы своего поступка, и заранее просит его простить, так как он давал обещание не вступать в этот брак.

Дорогой Ники.

Я знаю, что мое письмо принесет тебе большое горе, и я прошу тебя заранее, выслушай и пойми меня как твоего брата. Мне тем более тяжело огорчать тебя теперь, когда ты без того так озабочен болезнью Алексея, но именно это последнее обстоятельство и мысль, что меня могут разлучить с Наталией Сергеевной Брасовой, заставили меня обвенчаться с ней. Прошло уже пять лет, что я ее люблю, и теперь уже не могут сказать, что с моей стороны это было простое увлечение. Наоборот, с каждым годом я привязываюсь к ней все сильнее, и мысль, что я могу лишиться ее и нашего ребенка[1]*, мне слишком невыносима. Первое время я не думал о возможности брака с нею, но эти пять лет и в особенности последний год в Петербурге изменили мои намерения. Ты знаешь, что, несмотря даже на тяжелую двухлетнюю жизнь врозь (когда я был в Орле), у нас всегда была своя семья, я всегда смотрел на Наталию С[ергеевну] как на свою жену и всегда уважал ее, поэтому мне были страшно тяжелы те унижения и оскорбления, которые неизбежны при ее положении [и которые] приходилось ей переносить в Петербурге. Я тебе даю мое слово, что я не действовал ни под чьим давлением. Наталия С[ергеевна] никогда со мной об этом не говорила и этого не требовала, я сам пришел к сознанию, что иначе жить нечестно и надо выйти из этого ложного положения. Не скрою от тебя, что командовать кавалергардами мне было очень трудно и тяжело. Я чувствовал все время, что по своим привычкам, вкусам и стремлениям я совершенно не подхожу к ним, не говоря уже о том, что я не привык к городской жизни без воздуха и движения, благодаря чему я всю зиму хворал. Если б ты пошел навстречу некоторым моим желаниям, то ты во многом облегчил бы мне мое тяжелое положение. Я так просил мне не давать полка в СПб, зная заранее, что во время пребывания там Мама́ моя личная жизнь уже не может существовать. Все это, взятое вместе, заставило меня решиться на этот шаг и обвенчаться с Наталией*

Сергеевной. Наше венчание состоялось в Сербской церкви Св. Саввы в Вене 16/29 октября. Я знаю, что меня ждет наказание за мой поступок, и заранее готов перенести его, только одно прошу тебя: прости меня как Государь, перед которым я нарушил формальный закон, и пойми меня как брат, которого я горячо люблю всем своим сердцем.

Твой Миша.

P. S. Я одновременно написал письмо Мама́.

[1] Брасов Георгий Михайлович (1910—1931) — сын великого князя Михаила Александровича от морганатического брака. Погиб в автомобильной катастрофе во Франции.

Несомненно, это был брак по любви, в противном случае Михаил Романов не пошел бы против воли царя и на нарушение законов, сознательно тем самым лишая себя права на российский престол.

Сообщение о поступке брата возмутило и разгневало царя. Вопреки обещаниям тот ослушался воли императора и нарушил свое слово. Отношение к этой «отвратительной новости», да еще в такое непростое для страны и императорской фамилии время, Николай выразил в письме к императрице Марии Федоровне.

7 ноября 1912 г.
Царское Село

Моя милая, дорогая Мама́.

Благодарю тебя от всего сердца за твои добрые слова. Я тоже собирался написать тебе по поводу нового горя, случившегося в нашей семье, и вот ты уже узнала об этой отвратительной новости. Посылаю тебе его письмо, которое я получил в поезде на пути сюда. Прочти его, и ты увидишь, может ли он после всего им написанного оставаться на службе и командовать твоими кавалергардами.

Да, милая Мама́, и я с тобой скажу: да простит ему Господь!

К несчастью, между мною и им сейчас все кончено, потому что он нарушил свое слово. Сколько раз он сам мне говорил, не я его просил, а он сам давал слово, что на ней не женится. И я ему безгранично верил! Что меня особенно возмущает — это его ссылка на болезнь бедного Алексея, которая его заставила поторопиться с этим безрассудным шагом! Ему дела нет ни до твоего горя, ни до нашего горя, ни до скандала, кот[орый] это событие произведет в России.

И в такое время, когда все говорят о войне, за несколько месяцев до юбилея Дома Романовых!!

Стыдно становится и тяжело. У меня тоже была первая мысль скрыть это известие, но, прочтя его письмо два-три раза, я понял, что теперь ему нельзя приехать в Россию.

Рано или поздно все узнают здесь и будут удивлены, почему с ним ничего не сделали, тогда как с другими было поступлено очень строго?

Около двух месяцев тому назад Фредерикс[1] узнал от Врангеля[2], что Миша потребовал из своей конторы большую сумму денег и даже будто он купил имение во Франции. Теперь все понятно.

Словами не могу выразить тебе, дорогая Мама́, всего, что я чувствую по отношению к твоим страданиям.

Да подкрепит тебя Господь милосердный! Какое счастье, что милая Ксения[3] как раз с тобою, чтобы вместе делить терзания души.

Аликс[4] и я тебя нежно обнимаем. Алексей очень целует тебя и благодарит. Слава Богу, он бодр и весел.

Христос с тобою.

Всем сердцем горячо тебя любящий твой старый Ники.

[1] Фредерикс Владимир Борисович (1838—1927) — министр императорского двора и уделов.

[2] Врангель Николай Александрович (1869—?) — барон, полковник, сначала секретарь, а затем адъютант и управляющий делами великого князя Михаила Александровича (1911 г.— январь 1913 г.), затем командир 16-го Иркутского гусарского полка. В годы первой мировой войны — вновь адъютант Михаила Александровича.

[3] Ксения Александровна (*Ксения*, 1875—1960) — великая княгиня, сестра императора Николая II, супруга великого князя Александра Михайловича.

[4] Александра Федоровна (*Аликс*, 1872—1918) — супруга императора Николая II.

Великий князь Михаил Александрович, не получив ответа на свое письмо, вновь пишет брату.

16 ноября 1912 г.
Cannes

Дорогой Ники.

Мордвинов[1] мне передал бумагу для подписи, а кроме того, на словах твой разговор. Я очень сожалею, что не получил от тебя письменного изложения твоих же-

ланий и требований. Мордвинова трудно было понять, так как он волновался и ничего не мог сказать о моей дальнейшей участи. Кроме того, он мне передал несколько угроз от барона Фредерикс[а], как, например, даже о лишении меня титула. Я очень хотел бы знать, твое ли это желание или только слова барона Ф[редерикса]? Вот почему я так прошу письменно изложить все, что меня ожидает. На развод и возвращение в Россию без семьи я согласиться, конечно, не могу. Прости меня, что я еще не подписал присланную мне бумагу, но мне необходимо до того выяснить некоторые условия будущей моей жизни, и также надеюсь, что ты мне облегчишь мою судьбу и исполнишь мои просьбы, которые, мне кажется, не могут в будущем принести никаких затруднений. Я не могу об них писать в этом письме, так как не знаю, желаешь ли ты их выслушать. Если же ты пожелаешь это сделать, то обещаю тебе, что я их написал и отдал Мордвинову для передачи тебе. Мне также было передано, что в особенности некоторые фразы моего письма тебя огорчили, в чем я прошу простить меня и верить, что я написал письмо от чистого сердца. Теперь кончаю письмо и еще раз прошу простить меня за все то огорчение, которое я приношу. Да хранит вас всех Господь. Крепко обнимаю тебя, дорогой Ники, и умоляю не сердиться на всем сердцем любящего тебя

Мишу.

P. S. Очень прошу в случае надобности не присылать больше Мордвинова, а Врангеля или Ларьку Воронцова[2]. С Мордвиновым мои личные отношения давно кончены, и мне очень тяжело говорить с ним о таких интимных вещах.

[1] Мордвинов Анатолий Александрович (1870—?) — полковник лейб-гвардии кирасирского императрицы Марии Федоровны полка, бывший адъютант великого князя Михаила Александровича, флигель-адъютант императора Николая II.

[2] Воронцов-Дашков Илларион Илларионович *(Ларька)* — граф, полковник лейб-гвардии е. и. в. гусарского полка, адъютант великого князя Михаила Александровича.

О том, как поступить с непокорным братом, Николай желает посоветоваться с матерью. Понимая, что скандал замять не удастся и необходимо демонстративно наказать строптивого, ослушавшегося монаршей воли брата, он все же не решается сразу прибегнуть к крайним мерам и пишет об этом императрице Марии Федоровне.

21 ноября 1912 г.
Царское Село

Милая дорогая Мама́.

Сегодня с радостью узнал, что ты через неделю вернешься к нам. Посылаю тебе два письма от Миши, которые привез от него Мордвинов.

Когда грустная весть о его браке распространилась, добрый Мордвинов сейчас же явился ко мне и просил отправить его с каким-нибудь поручением в Cannes. Я ему дал бумагу, в кот[орой] был изложен акт отречения Миши от прав на престол, и на словах я сказал Морд[винову], чтобы Миша или подписал его, или развелся с ней. Во время первого разговора Миша не сразу отказался, а отвечал, что подумает, видимо, колеблясь. Но на другой день решительно объявил Мордв[инову], что ничего не сделает раньше получения ответов на его вопросы, кот[орые] изложены во втором письме.

Я больше никаких шагов не предприму до твоего приезда.

К сожалению, милая Мама́, все знают об его свадьбе. Например, он написал письмо полк[овнику] кн[язю] Долгорукову[1], прося его объявить офицерам, что он женился. Тот догадался показать письмо Фредериксу, кот[орый] сказал, конечно, чтобы он молчал. В Москве тоже знают все — вероятно, от прелестных родных ее!

Бедный Миша, очевидно, стал на время невменяемым, он думает и мыслит, как она прикажет, и спорить с ним совершенно напрасно. Морд[винов] очень просит пока не писать ему вовсе, так как она не только читает, но снимает копии с телеграмм, писем и записок, показывает своим и затем хранит все это в банке в Москве вместе с деньгами. Это такая хитрая и злая бестия, что противно о ней говорить.

Мы живем, слава Богу, спокойно. Аликс устала порядочно из-за болезни Алексея[2]. Он себя чувствует хорошо, но не может еще становиться на ногу, потому что колено не совсем разгибается. Он катается в шарабане в саду и наконец начал есть с аппетитом. У меня де́ла, понятно, очень много вперемежку с полковыми праздниками; зато время летит быстро.

Радуюсь ужасно твоему возвращению с милой Ксенией. Мы часто видим Ольгу[3].

До скорого свидания, дорогая Мама́. Христос с тобою!
Горячо обнимаю тебя.
Всем сердцем любящий тебя

Ники.

[1] Долгоруков Александр Николаевич (1872—?) в декабре 1912 г. был командиром кавалергардского е. и. в. императрицы Марии Федоровны полка.

[2] Цесаревич Алексей Николаевич после сильнейшего приступа поправлялся медленно, и последствия его болезни были заметны в дни празднования 300-летия дома Романовых.

[3] Ольга Александровна (1882—1960) — великая княгиня, младшая сестра императора Николая II, первым браком с 1901 г. замужем за принцем П. А. Ольденбургским; в 1916 г. вступила в морганатический брак с полковником Н. А. Куликовским.

Неизвестно, что ответила императрица на письмо императора, но как любящая мать была готова простить младшего сына, тем более что вскоре получила от него очередное письмо с покаянием.

7 декабря 1912 г.
Cannes

Моя дорогая Мама́.

Меня ожидает строгое наказание за мой поступок, подсказанный мне исключительно моей совестью. Я готов перенести всякие наказания и лишения, я не страшусь их, но единственно, что мне очень тяжело, это то огорчение, которое я тебе невольно этим причинил. Милая Мама́, ведь я исполнил то, что должен был сделать всякий честный человек, и в этом моя совесть чиста. От всей души прошу тебя, не суди строго, но благослови меня как мать, которую я горячо люблю. Да хранит тебя Господь, моя дорогая Мама́. Крепко обнимаю тебя.

Всем сердцем любящий тебя Миша.

Тогда же великий князь пишет брату, понимая, что император готовится принять суровые меры по отношению к нему и его семье. Михаил готов к этому, но в душе еще теплится надежда смягчить гнев Николая.

7 декабря 1912 г.
Cannes

Дорогой Ники.

Сюда ко мне приехал Ларька Воронцов, и из разговора с ним я убедился, что главная причина твоего гнева на меня — это то, что я не сдержал своего слова и женился. Мне очень трудно оправдываться перед тобой, так как я действительно обещал этого не делать, отправляясь за границу года два или три тому назад. Я говорил тебе это вполне чистосердечно, рассчитывая, что мы сможем прожить, оставаясь в таком положении, но последний год нашей жизни в Петербурге убедил меня в противоположном. Предупредить тебя о моем намерении и получить твое разрешение я был бы, конечно, более чем счастлив; но ты сам знаешь, что рассчитывать на твое согласие я не имел права, а напротив, мне пришлось бы встретиться с целым рядом противодействий. В конце концов я был уверен, что ты поймешь меня, не взглянешь на мой поступок формально и не осудишь меня строго за нарушение слова, данного в прошлом. Я знаю, что брак наш, совершённый без твоего согласия, не может считаться законным в глазах того же закона, что никто через этот брак не приобретает никаких прав, но это мы сделали исключительно из-за того, чтобы выйти из того тяжелого состояния, в котором мы были в последнее время. Если ты этого требуешь, мы можем подтвердить, что брак этот не почитается законным с формальной стороны, но он должен оставаться браком законным перед Богом и людьми. Повенчаться и сейчас же развестись — это такой поступок, похожий на кощунство, на который я, к сожалению, никогда не пойду. Обсуди, пожалуйста, все это среди близких родных без постороннего вмешательства. Я готов перенести всяческие наказания и лишения; я сознавал неизбежность их, но одного прошу, пойми чистосердечность моего признания, перемени гнев на милость и прости меня в твоем сердце — вот это для меня самое главное. Да хранит тебя всегда Господь. Крепко обнимаю тебя.

Всем сердцем любящий тебя Миша.

Гнев его величества вылился в запрещение «своевольному брату» въезда в Россию. Шифрованная жандармская телеграмма свидетельствовала: «Граф Брасов (т. е. великий князь Михаил Александрович.— **В. О., В. Х.**) очень удручен и никуда не выходит». 15 декабря 1912 г. царь подписал Указ Правительствующему Сенату о передаче в опеку имущества Михаила Романова, а 30 декабря с него были сняты обязан-

ности «правителя государства», которые ранее возлагались на великого князя до совершеннолетия цесаревича Алексея в случае кончины Николая II. Великий князь Михаил Александрович был вынужден жить со своей семьей за границей как частное лицо.

Достаточно ярко характеризует Михаила Александровича письмо, в котором он отвечает своему адъютанту барону Н. А. Врангелю, высказавшему пожелание служить великому князю, несмотря на его опалу. С редким благородством Михаил объясняет барону тщетность его намерений в сложившейся ситуации. Выделяя в знак благодарности за службу немалую денежную сумму ему и своему бывшему адъютанту А. А. Мордвинову, он не считается с тем, что последний сопроводил оскорбительным письмом свой рапорт об увольнении.

21 декабря 1912 г.
Cannes. Hotel du Barc

Многоуважаемый Николай Александрович.

Ваше письмо меня тронуло. Я знаю, что Вы готовы продолжать мне служить даже и теперь при совершенно изменившейся моей жизни, хотя я и не знаю, в чем служба при мне может теперь заключаться. Я даже не знаю, будет ли существовать мое Управление или оно совершенно упразднится. Мне также неизвестно, вернусь ли я в Россию, что для меня, конечно, очень тяжело, но пока будет продолжаться опека, Вы сами понимаете, я обратно вернуться не могу, а пока я за границей, при мне никакой службы быть не может. Ввиду всего этого я очень советую Вам продолжать строевую службу и принять полк.

Я же с своей стороны желаю обеспечить Вас капиталом, который давал бы Вам 6000 р. в год, то есть 150 000 р., помещенных в бумагах 4% гос[ударственной] ренты, на что, я надеюсь, Государь изъявит свое согласие. Я желал бы обеспечить Мордвинова капиталом того же размера. Сам я писать ему об этом не буду, потому что после его оскорбительного письма, которым сопровождался его рапорт об увольнении, считаю личные отношения с ним покончеными.

Прошу Вас также передать ему, что я согласен на выраженное им предложение остаться до полной передачи всего в Уделы.

От души благодарю Вас, многоуважаемый барон, за Вашу полезную и честную службу при мне.

Дай Вам Бог в дальнейшей Вашей жизни и службе всякого благополучия. Я всегда относился к Вам очень симпатично и всегда сожалел, что Вы сами оттолкнули всякую возможность более близких отношений.

Теперь прощусь и крепко жму Вашу руку.

Уважающий Вас Михаил.

Великому князю было дозволено вернуться в Россию лишь в начале первой мировой войны благодаря неустанному заступничеству матери.

Михаил Романов, окончивший в свое время Михайловское артиллерийское училище и имевший звания генерал-лейтенанта и генерал-адъютанта свиты императора, командовал в Галиции Кавказской кавалерийской («дикой») дивизией, позднее Вторым кавалерийским корпусом. Был награжден в 1915 г. за храбрость орденом Св. Георгия 4-й степени.

После Октябрьской революции Михаил Александрович жил в Гатчине на положении частного лица, не принимая участия в политике. В конце 1917 г. он даже ходатайствовал перед Совнаркомом о сложении титула и принятии фамилии жены, но эта просьба так и не была исполнена. По постановлению Совнаркома в марте 1918 г. он был выслан в Пермь, а в ночь с 12 на 13 июня похищен чекистами и тайно убит. Наталия Сергеевна Брасова после гибели великого князя эмигрировала во Францию, где и умерла в бедности в 1952 году.

Подготовка текста,
публикация и примечания
кандидата исторических наук
В. М. ХРУСТАЛЕВА и В. М. ОСИНА

●

Анатолий НАЙМАН

«Дело тоталитаризма непобедимо, потому что оно вечно»

У меня был друг, неистовый антисталинист и бабник. Раз в семь — девять лет он женился на двадцати-с-небольшим-летней девице, расставаясь с прежней, подбиравшейся в это время к тридцати. Каждой новой он рассказывал, какой был Сталин подонок, шакал и вурдалак и как он личным распоряжением отправил его отца, известного критика, в лагерь, где тот погиб. В начале перестройки, уже перевалив за полста, он пригласил меня на очередную свадьбу, на четверг. Во вторник позвонил, сказал, что, по-видимому, все отменяется. Накануне он объяснял невесте про Сталина, она сидела на диване, сводила и разводила, как крылья бабочки, огромные черные ресницы на синих, чуть навыкате глазах, а он ходил от стены до стены и яростно говорил. На минуту замолчав, потому что даже запыхался, но тем решительнее продолжая шагать, он услышал, как гром среди ясного неба, ее вопрос: «Сталин — это такой маленький толстенький?» Вопрос звучал светски-осведомительно, но в моем друге «все оборвалось, потому что соединять судьбу с таким политически и исторически бесчувственным человеком — *аусгешлоссен*, исключено». Я же обнаружил в этом — и стал демонстрировать ему — инстинктивное чувство здравого смысла, ибо, хотя Сталин был серийно-массовый человекоубийца, а Хрущев — серийно-массовый освободитель, миропонимание у обоих было одно: раболепно-рабовладельческое, *наше*,— и преемственность бесконечно превосходила отталкивание. В четверг свадьба состоялась, но супружество — по этой или другой какой причине — оказалось уникально коротким: два с половиной месяца.

Преемственность советских методов и практики в современной, *освобожденной* литературе — у всех на виду. Вместо иконы соцреализма — икона рынка, вместо «культуру — в массы!» — массовая культура, вместо Союза советских писателей — литературная тусовка членов разнообразных академий, редколлегий, отделений ПЕНа.

Лозунг «Искусство в массы», во времена коммунистов представлявшийся исключительно пропагандистски-советским, играл, как оказалось, роль по-советски изуродованной (ради главной цели — ни в коем случае не называть вещи своими именами) универсальной установки на масс-культуру. Концепция «Искусство в массы», идеологическая, навязываемая властью и потому все-таки искусственная, была обращена в будущее, но корни имела в прошлом. В той же мере, в какой она сводится к теперешней реальности массовой культуры, ее нельзя рассматривать в отрыве от понятия «черни», как оно выработалось романтической традицией в XIX веке. Еще продуктивнее, на наш взгляд, столкнуть это понятие и нынешнюю реальность друг с другом непосредственно.

Мандельштам, может быть, последним употребил слово *чернь* в стихах — «Заснула чернь! Зияет площадь аркой». Заметим вскользь — ибо это отдельная тема,— что пафос этого стихотворения, так же, как отозвавшихся на него через четверть века ахматовских «Стансов», заключается в наглядной связи между чернью и катастрофичностью истории.

В том же 1913 году Мандельштам говорит о *черни* в статье «О собеседнике»: «Ссору Пушкина с чернью можно рассматривать как проявление того антагонизма

По докладу, прочитанному на иерусалимской конференции «Русская литература после падения коммунизма» 2 апреля 1998 года.

между поэтом и конкретным слушателем, который я пытаюсь отметить. <...> Когда чернь оправдывается, с языка ее слетает одно неосторожное выражение: оно-то переполняет чашу терпения поэта и распаляет его ненависть.

А мы послушаем тебя —

вот это бестактное выражение. Тупая пошлость этих, казалось бы, безобидных слов очевидна. <...> Бывали целые эпохи, когда в жертву этому далеко не безобидному требованию приносились прелесть и сущность поэзии».

Отношение художника к «массе» всегда, как маятник, раскачивалось между двух несогласимостей: толпа и народ. Чернь недвусмысленно представлена Пушкиным в стихотворении, к которому обращается Мандельштам,— «Поэт и толпа»: «И толковала чернь тупая: /"Зачем так звучно он поет? /Напрасно ухо поражая, /К какой он цели нас ведет? /О чем бренчит? Чему нас учит? /Зачем сердца волнует, мучит?.."» На что поэт, как известно, отвечает: «Не для житейского волненья, /Не для корысти, не для битв, /Мы рождены для вдохновенья, /Для звуков сладких и молитв».

Правда, абсолютно конкретной категории толпы, имеющей отчетливое выражение лица и говорящей на своем языке, Пушкин противопоставляет некий расплывчатый «народ»: «И долго буду тем любезен я народу...» — и так далее. Эта общность, однако, настолько безлика и, как мы знаем из другого его произведения, безгласна, что вся без остатка укладывается в *идею* «народа». И тут уместно заметить, что такой и подобный Пушкин *(Товарищ, верь: взойдет она; Да здравствует солнце, да скроется тьма; Оковы тяжкие падут;* и вообще все стихи о будущем) с самых школьных времен выглядел «советским» — равно как и Блок с ораторской грубостью интонаций и тягой к формулировке в *Да, скифы мы, да, азиаты мы* и некоторых пассажах «Возмездия». Иначе говоря, «советскость» — качество вневременно́е и внетерриториальное, лишь сконцентрировавшееся и восторжествовавшее после революции на семь десятилетий на нашей земле.

Как термин, равно принадлежащий и «черни», и «народу», идеально представительствует за обоих некрасовский «мужик». Знаменитая сцена книжной торговли в «Кому на Руси жить хорошо» прекрасно ложится на нынешнее время. Розничные торговцы требуют у оптовика портреты генералов «больших, осанистых, грудь с гору, глаз навыкате, да чтоб побольше звезд», то есть в 1980-е — незабвенного Брежнева, всегда — Сталина, сейчас — Лебедя. Оптовик («с Лубянки первый вор») «спустил по сотне Блюхера» (Шварценеггера, Сталлоне), «архимандрита Фотия» (государя императора Николая, ныне заменившего Есенина и Хемингуэя 60-х годов), «разбойника Сипко» (а хоть бы и Че Гевару с Арафатом плюс председателей думских фракций). «Пошли гулять портретики /По царству всероссийскому, /Покамест не пристроится/ В крестьянской летней горенке, /На невысокой стеночке...» Тоска Некрасова по «времячку», «когда мужик не Блюхера /И не милорда глупого — /Белинского и Гоголя / С базара понесет», и его призыв: «Вот вам бы их портретики / Повесить в ваших горенках»,— как были чистой риторикой, так и теперь, ибо — при всем нашем уважении — унылые лица обоих вряд ли украсят интерьер.

Блок в своей знаменитой речи «О назначении поэта» уточнил, что́ имел в виду Пушкин под «чернью»: «Пушкин разумел под именем черни приблизительно то же, что и мы. <...> Эти чиновники и суть — наша чернь; чернь вчерашнего и сегодняшнего дня: не знать и не простонародье; не звери, не комья земли, не обрывки тумана, не осколки планет, не демоны и не ангелы. Без прибавления частицы "не" о них можно сказать только одно: они люди; это не особенно лестно; люди — дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежно и прочно заслонена "заботами суетного света"».

Начав говорить на тему о советских и постсоветских механизмах литературы, неизбежно съезжаешь к низу воронки времени, к той точке, когда они зарождались — и как идея, и как ее осуществление. То есть к самому началу 20-х годов. Именно на той точке произошло замораживание живой литературной мысли и отход в сторону. И вообще сейчас, в 1998 году, оглядываясь назад, приходишь к убеждению, что все, что случилось в XX столетии, случилось тогда, в период 20-х — начала 30-х годов. В России и в мире. Дальнейшие изменения и сдвиги в искусстве были главным образом уточняющими и количественными.

Попав же на начало 20-х, неизбежно утыкаешься в Мандельштама, который, определяя положение литературных и поэтических дел на текущий момент, сформулировал его, как выясняется, и на остальные восемь десятилетий века и, в частности, на наш так называемый постсоветский период. Так что разговор естественно смещается под заголовок «Перечитывая Мандельштама» или, еще точнее, «Гадая по Мандельштаму».

В статье «Пушкин и Скрябин» (1919), говоря о смерти Скрябина как о «высшем акте его творчества», Мандельштам пользуется словом «масса» в значении, предвосхищающем позднейшее европейское и нынешнее наше: «Она не только замечательна как сказочный посмертный рост художника в глазах массы, но и служит как бы источником этого творчества, его телеологической (заложенной в нем.— **А. Н.**) причиной».

Не менее интересно изменение понятия *поэт*. Советская идеология, отменившая — по определению — «толпу», вывернула наизнанку и «поэта». Согласно Ахматовой, «поэт — величина постоянная», но составлять ее было предложено некими взаимозаменяемыми Безыменскими. Постсоветский период насмеялся над фигурой «советского поэта» и над конкретными ее воплощениями, однако и к традиционному представлению о поэте не вернулся. Сейчас оппозиции «поэт — толпа» нет, потому что поэт разыгрывает себя как «одного из толпы», «толпа» его из себя назначает, причем «одного» — значит прежде всего «любого», а не «специального».

К чему-то подобному подходили и вскоре после революции, но тогдашняя специфика была более определенной и прямолинейной. Как писал в 1922 году Мандельштам в статье «Литературная Москва», «...Маяковским разрешается элементарная и великая проблема “поэзии для всех, а не для избранных”. <...> Великолепно осведомленный о богатстве и сложности мировой поэзии, Маяковский, основывая свою “поэзию для всех”, должен был послать к черту все непонятное, то есть предполагающее в слушателе малейшую поэтическую подготовку. <...> Совсем неподготовленный совсем ничего не поймет, или же поэзия, освобожденная от всякой культуры, перестанет вовсе быть поэзией, и тогда уже по странному свойству человеческой природы станет доступной необъятному кругу слушателей».

На наш взгляд, то, что сейчас представляет собой «современный поэт», ближе всего к понятию «фельетониста»-стихотворца середины и второй половины XIX столетия (среди которых были профессиональные и виртуозные в своем деле фигуры ранга Некрасова).

Советскую литературу не следует сводить только к мертворожденному, выморочному и бесплодному социалистическому реализму. В ней было достаточно энергии, бесчеловечной, но энергии, чтобы оттеснить на — или даже вытеснить за — свои края все, что называлось и сейчас называется «литературой советского периода», то есть произведения и писательские фигуры подлинно литературные, по времени совпавшие с десятилетиями соцреализма: я имею в виду всем известные имена от Пантелеймона Романова до Георгия Владимова. У нее была сила, граничащая с мощью, отжать, выжать за свои пределы гениального Андрея Платонова.

Что перешло из советской в постсоветскую литературу без изменений — это отсутствие героя, героя в обоих смыслах этого слова. Тут напрашивается на цитаты мандельштамовская «Литературная Москва: рождение фабулы» (1922): «С тех пор, как язва психологического эксперимента проникла в литературное сознание, прозаик стал оператором, проза — клинической катастрофой, на наш вкус весьма неприятной, и тысячу раз я брошу беллетристику с психологией Андреева, Горького, Шмелева, Сергеева-Ценского, Замятина ради великолепного Брет-Гарта в переводе неизвестного студента девяностых годов,— «не говоря ни слова, он одним движением руки и ноги сбросил его с лестницы и преспокойно обернулся к незнакомке».

.....

...вводят в свое повествование записные книжки, строительные сметы, советские циркуляры, газетные объявления, отрывки летописей и еще Бог знает что. Проза ничья. В сущности, она безымянна. Это — организованное движение словесной массы, цементированной чем угодно.

.....

Быт — это мертвая фабула, это гниющий сюжет, это каторжная тачка, которую волочит за собою психология, потому что надо же ей на что-нибудь опереться, хотя бы на мертвую фабулу, если нет живой.

.....

Кишащими стаями ползет саранча наблюдений, замет, примечаний, словечек, кавычек, разговорчиков. Совка-гамма, великое нашествие, гроза урожайных полей».

После Ивана Денисовича, «я» Шаламова из «Колымских рассказов» и Венички из «Москвы — Петушков» героя в литературе не возникало. И здесь как нельзя более к месту вспомнить констатацию случившегося из статьи 1928 года «Конец романа»: «...героем романа становится заурядный человек, и центр тяжести переносится на социальную мотивировку, то есть настоящим, действующим ли-

цом становится уже общество <...> композиционная мера романа — человеческая биография. Человеческая жизнь еще не есть биография и не дает позвоночника роману».

Прибавим маленькое уточнение: человеческая жизнь как таковая не дает позвоночника и герою романа. Человеческая жизнь, самая «интересная», так же скучна, как чужой сон. Позвоночник если не образуется, то по крайней мере укрепляется до той степени, когда его можно называть позвоночником, никак не в приятии, а только в сопротивлении этой самой «человеческой жизни». Спросим об этом у нашего пророка и гида. Мандельштам писал, например, об Иннокентии Анненском, что он «с достоинством нес свой жребий отказа, отречения. Дух отказа, питающий поэзию Анненского, питается сознанием невозможности трагедии в современном русском искусстве благодаря отсутствию синтетического народного сознания — непререкаемого и абсолютного — необходимой предпосылки трагедии...» («Письмо о русской поэзии», 1922).

Ни объединенного, ни соборного народного сознания нет и сейчас, но ушел и дух отказа самого поэта. Либеральная интеллигенция, поставлявшая стране читателей и в подавляющем большинстве писателей, получила ожидаемое: «антисоветское» полностью восторжествовало над «советским». Реальная трагедия коренилась и в том, и в другом, но на уровне либерального мышления, определявшегося исключительно отношением к власти, к тому, какого власть качества, она заключалась вся только в подмене «антисоветской» правды «советской» ложью. Протестовать стало не против чего, оставалось соглашаться с новым порядком вещей.

Функция интеллигенции как регулятора — чему идти в журнал «Новый мир», чему в самиздат — кончилась. В середине 90-х годов появилась общая растерянность: например, брать или не брать премию из рук новой власти. В скором времени, когда содержимым и «советского», и «антисоветского» оказалась гниль и труха, самой распространенной позицией стала «а-а, что те, что эти...»— из чего логически следовало, что «эти» равны «тем».

Подмена происходила на уровне содержания, а не температуры. Мы были приучены к этому нашей классикой: дворянская литература — а другой у нас не было,— как и само служивое сословие дворянства, прежде всего имела в виду свою служебную функцию: воспитательную, просветительскую, обличительную. Теперь антисоветчики, получившие просимое, действительно перестали отличаться от советских, чьи места они заняли. Но ведь к этому времени они были уже *бывшими* антисоветчиками, то есть никак не *анти.* Из их жизни ушло гонение и связанные с ним переживания, а только в этом и была наглядность драмы, мясо правды. Порядок вещей лишь выглядел новым. В согласии или хотя бы в безразличии к порядку вещей иногда может оказаться эпос, но никогда не поэзия как таковая — даже у Горация она не была безразличной, ни — тем более — согласной.

На переломе, в полном соответствии с доминирующим русским качеством *догонияния*, произошел естественный рывок культуры, принеся с собой все прелести, реальные и фальшивые, неофитства. «Вместо спокойного обладания сокровищами западной мысли...— юношеское увлеченье, влюбленность, а главное — неизбежный спутник влюбленности — перерождение чувства личности, гипертрофия творческого "я", которое смешало свои границы с границами вновь открытого увлекательного мира, потеряло твердые очертания и уже не ощущает ни одной клетки как своей, пораженное болезненной водянкой мировых тем». Это опять из мандельштамовского «Письма о русской поэзии».

Что еще сказал он о нашем времени? «Писатель — это помесь попугая и попа. <...> Попугай не имеет возраста, не знает дня и ночи. Если хозяину надоест, его накрывают черным платком, и это является для литературы суррогатом ночи» («Четвертая проза», 1931). Теперь попугай сам себе хозяин, сам накрывает себя платком и наблюдает «ночь».

По Мандельштаму ведет себя и критика: «И вот голубая особа вышла из затруднения: она привела в движение свою черепаховую штучку, но не в такт исполняемой музыки, а в разнобой — для независимости. Наша критика — увы! — напоминает в некоторых отношениях эту герцогиню: она высокомерна, снисходительна, покровительственна» («Веер герцогини», 1929).

Упомянутая в начале литературная тусовка — это в подавляющем большинстве несуществующие критики-литературоведы, описывающие несуществующую, *назначаемую* ими литературу. Концепции, направление, процесс. Даже сочинителей:

сегодня ты будешь Пригов, а ты — Сорокин. В аккурат этим самым занималась официальная критика при советской власти: кому быть поэтом Исаевым, кому прозаиком Ивановым.

Отсюда если на протяжении полутора столетий самыми известными в массе литературными именами были Пушкин-и-Лермонтов, Пушкин-и-Лев-Толстой, то теперь некие кино- или цирковые Букер-и-Антибукер. «Смешно говорить о московской литературе, так же точно, как и о всемирной. Первая существует только в воображении обозревателя, так же, как вторая — только в названии почтенного петербургского издательства» («Литературная Москва», 1922).

Заявление Мандельштама: «...отделение культуры от государства — наиболее значительное событие нашей революции» («Слово и культура», 1921) — по окончании советского периода приобрело другое, а именно непосредственное, содержание: наше государство некультурно.

«Отшумит век, уснет культура, переродится народ, отдав свои лучшие силы новому общественному классу, и весь этот поток увлечет за собой эту хрупкую ладью человеческого слова в открытое море грядущего, где нет сочувственного понимания, где унылый комментарий заменяет свежий ветер вражды и сочувствия современников» («О природе слова», 1922).

●

Вячеслав КУРИЦЫН

День Независимости

Я пишу эти строки в конце сентября. В Москве ветрено. Пошла пятая неделя посткириенковской эпохи. Доллар, вдоволь поизмывавшись над умами соотечественников агоническими прыжками-ужимками, поуспокоился и растет теперь медленно, уверенно и ежедневно. Пенсионерки до обеда по четыре раза обходят район, выясняя, где дешевле крупа. Члены нового правительства рыскают по пустым коридорам Белого дома, раздражаясь, что мало осталось украсть.

Рассказ Ильи Алексеева, написанный пару месяцев назад, уже несколько недель принадлежит ушедшей эпохе. Что за сон вообще, что за жизнь, что за герои, в какой стране и в какое время происходит действие? Может быть, и не было двух последних лет подъема «среднего класса», может, это все привиделось нам? Вадима сократили из фирмы «Гигант». Же́не сильно урезали зарплату, и у нее нет теперь денег на запчасти для «Шкоды». Кирилл в следующий раз купит себе обувь не от «Доктора Мартенса», а от «Москирзы». Не будет никакого медового месяца на Сейшелах. Сушим, дружно сушим сухарики.

Кто-то скажет: что за чушь, оплакивать судьбу московских сосунков, которые лишатся красивых, дорогих игрушек и удовольствия проводить отпуск за границей? Пусть понюхают пороху, да и какой, по совести сказать, в Москве порох... Надо выть по тобольским врачам, по кузбасским шахтерам, по хабаровским безработным, которые не Сейшел лишились — которые просто, прости Господи, помрут.

Все так. Но как мы из сытой Москвы не замечаем, что вымирают на окраине империи целыми деревнями, так и большая страна не заметит, как лишится своего будущего. Именно эти офисные мальчики и девочки, расслабленная городская молодежь, нарядные везунчики, не нюхавшие пороху (или нюхавшие совсем другое), молодые да ранние — именно в их лице мы имели надежду новой России. Страну спасут не шахтеры, чей уголь, к сожалению, никому не нужен, а изнеженные московские детки. Они пришли в мир не страдать и визжать, а что-то делать. Это они формировали новое представление и об уровне жизни, и о европейских стандартах человеческих отношений. Это из них могли появиться менеджеры нового народного хозяйства, люди с другим сознанием, нежели у красной дряни, новорусской вони и совковой пьяни. Люди, для которых зарабатывать интереснее, чем тырить. Это им есть что терять, а потому они — основа общества. Это их серое вещество могло удобрить почву, это их идеи могли дать шанс «этой стране»...

Вот ребята и получили от страны первую большую пощечину.

Ребята, все хорошо. Выключите телевизор: на этих, которые там, смотреть не просто противно, но и вредно. Жаль, конечно, что они угробят еще несколько миллионов пенсионеров и шахтеров, можно было обойтись куда меньшей кровью. Но скоро и этих «новых старых» пронесут мимо нашего порога, а изнасилованная власть, никому не нужная, останется валяться в луже. А мы с вами еще покочевряжимся, подбирать ее или нет.

Илья АЛЕКСЕЕВ

Праздничное настроение

Вадим, худощавый блондин в джинсах и свитере, вошел в комнату, где располагалась фирма «Гигант». Он обрадовался, увидев в углу свою одноклассницу Женю, коротко стриженную полненькую девушку. В «Гиганте» у него была частичная занятость, он приходил сюда не очень часто, и каждый раз ему было приятно, когда он ее видел: такой душевный комфорт и ощущение свитого на рабочем месте тепленького гнездышка она излучала. Они были приятно удивлены, встретив друг друга в «Гиганте»,— от школы у них сохранились хорошие воспоминания о контрольных по химии. Он подошел и чмокнул ее в щечку.

— Вадик, привет,— сказала Женя. И заговорила быстро-быстро: — Вот, пожалуйста, Вадим, ты мне должен помочь. Я решила выйти замуж.

Этот крутой и бодрый зачин был вполне в ее стиле.

— Предлагаешь мне найти тебе жениха?

— Да. Только учти, это должно быть на всю жизнь.

— На всю жизнь? А не так, чтобы сегодня с одним, завтра с другим?

— Это я уже проходила. Мне теперь надо на всю жизнь. Чтобы было: «Я такому-то отдана и буду век ему верна». Эксперимент: что бы ни случилось — жить с ним. Только у меня есть два требования: чтобы он был высокий блондин и чтобы мог организовать медовый месяц на Сейшелах. В августе.

«Задира»,— подумал Вадим.

— Медовый месяц? На Сейшелах? Высокий блондин? В августе? Вообще-то ты правильно рассуждаешь: если человек высокий блондин и если он может организовать медовый месяц на Сейшелах в августе, то все остальное будет как бы при нем.

Сидящая рядом с Женей коллега прыснула, одобрительно взглянув на Вадима.

— Так как?

— Я подумаю. Поищу кандидатуры.

— Только учти, это очень серьезно.

— Ты? Серьезно? Ну да, хорошо.

Из дальнего угла комнаты раздался голос Веры, непосредственной начальницы Вадима:

— Вадик! Иди сюда быстро, пожалуйста! У меня очень мало времени! Вот это то, что ты вчера оставил, надо сделать в трех экземплярах. А это, пожалуйста, отправь по факсу сам, секретарь болеет. Теперь смотри: вот этот кран, который ты нарисовал, он неплохой, но капли стягивают к себе все внимание. А внимание должно концентрироваться на руке, которая перекрывает воду, то есть утечку денег. Но главное — сейчас надо съездить в агентство «Носорог», поговорить с ними по поводу вчерашнего. Объясни им, пожалуйста: мы платим им по-настоящему, и пусть не пытаются отделаться чем-то обычным. Удачные идеи рождаются редко, все это знают. Но ты их попинай как следует, ведь мы им очень здорово заплатили. Пусть помучаются... И, пожалуйста, езжай быстрее...

Вадиму хотелось покурить с Женей перед отъездом. Женя уже увлеченно говорила по телефону, перескочив совершенно в другую реальность. Вадим отошел к двери и, спрятавшись за вешалку для одежды, принялся делать Жене знаки: подносить ко рту виртуальную сигарету и судорожно показывать на часы, почему-то открывая при этом рот, как рыба на песке. Женя порой поглядывала на него, но несколько следующих тактов разговора опять уносили ее куда-то далеко. Наконец она подошла к нему с сигаретами «Салем».

— Это хамство, Вадим, отрывать меня от разговора.

— Извини. Мне надо уходить. Срочно.

— Тогда уходи! — сказала она тем тоном, каким обычно требуют «мужского поступка».

— Но я хочу с тобой покурить! Извини.

— Я тебя не извиню, но покурю с тобой.

Они стояли на лестнице и не слишком понимали, следует ли теперь возобновлять разговор о женитьбе. Потом Вадим уехал.

У Жени было серьезное дело: она хотела встретиться с подругой Ирой. Иру бросил муж, и Женя, закончив работу, села в недавно купленную иномарку, новую «Шкоду» за одиннадцать тысяч долларов, и поехала встречать Иру.

Они встретились на площади Маяковского.

Муж бросал Иру уже во второй раз.

— Ну как ты?

— Нормально. Ой, какой он дурак! Когда он уходил, Анька спросила: а что, у нас теперь будет новый папа? Она к мужикам хорошо вообще-то относится, но этого не воспринимает совершенно. Я говорю ей: подожди чуть-чуть. Не надо с папой торопиться. Он ведь уже один раз уходил, помнишь, два года назад? Он тогда сказал: я тебя никогда не любил и так и не смог полюбить. Сними мне, пожалуйста, квартиру на две недели, я хочу подумать, смогу ли я с тобой дальше жить. Через две недели пришел и говорит: как насчет того, чтобы встречаться раз в неделю и трахаться?

— А ты?

— Я? Сказала: «Нет». По-моему, это должно быть продолжением чего-то еще.

— А теперь?

— Теперь он сам снял для себя квартиру. Научился деньги зарабатывать. В прошлый раз вернулся через год и заявил: я решил вернуться. А теперь сидит в этой квартире и думает, хотя все уже ясно. Сил выставить его у меня не было, хоть давно уже все невыносимо стало. А знаешь, когда я совсем на него обозлилась? Когда он пришел с кафедры и сказал, что его один человек попросил на конференции записочку передать, а он отказался. Я тогда сразу и почувствовала, как последняя к нему симпатия испарилась, и все испортилось. Почему человек такой прохвост? Почему не сделать добро, если это можно сделать?

— Ирка, не бери трагическую ноту. Смотри лучше, какие мы улицы проезжаем, так машину водить учатся. И запомни: ты потрясающая девчонка. Если хочешь опять замуж, то тут же по твоему желанию десять мужиков выстроятся к тебе в очередь. Сейчас много молодых мужчин хотят жениться, что меня беспокоит.

— Почему?

— Мы какую улицу проехали?

— Ой, я не видела!

Машина въехала в переулок. Прямо по ходу стояли три собутыльника. Один из них стал делать руками знаки своим сотоварищам, чтобы они отошли, протягивал руку, пытался показать им, что со стороны автострады надвигается опасность. Он был моложе других, и в лице у него было что-то осмысленное, остальные два качались, как груши на ветру. Хотя он тоже был в подпитии.

После небольшой паузы Женя сказала:

— Видишь? Этот молодой, у него есть еще чувство опасности.

Потом помолчала и добавила:

— Если бы ты знала, Ирка, как мне надоело работать! А бросить — страшно. Ведь это страшно, правда, остаться вообще без денег?

Кирилл, бывший Ирин муж, сидел в пустой квартире и смотрел на ботинок «Мартенс», который стоял в прихожей. Ему было плохо, он не знал, как себя вести. Странным образом вглядывание в этот ботинок примирило его с катастрофической ситуацией. Ему было не по себе. По квартире были разбросаны пустые сигаретные пачки. Как бы минорно он ни был настроен, было в его позе и какое-то смакование этой судьбоносной ситуации. За стеной сосед-алкоголик орал: «Люди! Я любил вас!» — и это усугубляло общую депрессивность момента.

Вдруг раздался звонок телефона.

— Здравствуйте,— сказал голос пожилого, очень одинокого человека.— С праздником вас. Позовите, пожалуйста, Володю.

— Здесь нет таких.

— А где они?

— Я не знаю, здесь не живут.

— А Оля?

— Нет таких!

— Они мне этот телефон дали. Я их дедушка.

— Здесь их нет.

— Ну извините. До свидания.

— С праздником вас,— сказал Кирилл и повесил трубку.

Вдруг ему стало тоскливо вдобавок от того, что он поздравил дедушку с праздником. Потому что праздник был коммунистический, 1 Мая. А коммунистом Кирилл не был. «Что я вообще-то праздную в этой жизни?» — подумал Кирилл.

И вдруг вспомнил, что скоро День Независимости.

Во дни тягостных раздумий о судьбах Родины хотелось бы решить, как следует к этому празднику относиться. Собственно, Ирка оставила его наедине с Россией, и надо было соотнести себя с этим единственным демократическим праздником, кото-

рый на самом деле никто и не празднует, кажется. Нет в нем ничего особенно праздничного, терпкости какой-то не хватает, головокружения, и, чтобы думать о нем как о празднике, требуется усилие. Не вызывал этот праздник ощущения фанатства.

Он вспомнил, как с родителями Ирки смотрел по телевизору двухгодичной давности юбилей Дня Независимости. По телевизору невзрачный молодой человек в очках говорил: «На баррикадах около Белого дома я встретил самых лучших в жизни людей. Мы делились друг с другом последним куском хлеба, последним глотком минералки». Все почему-то тогда рассмеялись, а Иркина мама заметила: «Еще бы сказал, что они делились друг с другом последним "Сникерсом"».

«Ведь именно благодаря тому дню,— думал Кирилл,— у меня теперь есть какое-то благополучие, ботинок "Мартенс" в прихожей и возможность делать то, что я хочу. А то бы просиживал штаны в каком-нибудь НИИ. Правда, в личной жизни все бы было не так тухло, может быть...»

В дверь позвонили.

— Ваш кот написал под дверью,— сказала женщина с глазами председателя домового комитета.

— У меня нет кота,— убитым голосом ответил Кирилл. Ему стало совсем хреново.

— Если бы жизнь у нас не была такая тяжелая, я бы вам не поверила,— с чувством произнесла женщина и ушла.

Кирилл вдруг понял, что 12 июня пойдет к Белому дому отмечать День Независимости. Ему даже полегчало.

Надо сказать, что к 12 июня это настроение у него во многом развеялось. Было много работы в той нефтяной фирме, где он служил, к тому же ее начали приватизировать, и демократический, какой бы он ни был, пыл Кирилла поугас. Он познакомился на улице с девушкой, которая работала учительницей в школе для слепых детей, и вообще вся коллизия с праздником и разводом несколько отодвинулась от него во времени и пространстве. Но все-таки двенадцатого, скорее в порядке эксперимента, нежели обуреваемый праздничным настроением, он вышел на станции метро «Краснопресненская», неподалеку от Белого дома. Было двенадцать часов дня. Выйдя из метро, он сразу же увидел компанию, некоторые лица в которой показались ему знакомыми. Он увидел Женю, Иркину подругу, с ней какого-то худощавого блондина, чье лицо тоже, кажется, видел, а с ними еще двоих — парня с косичкой и полненькую, в то же время спортивную девушку. Некоторое время раздумывал, подойти или нет: он постеснялся бы сказать им, что пришел праздновать День Независимости,— все-таки официальные праздники успели серьезно себя скомпрометировать для людей этого возраста еще в школьные годы. К тому же, подумал он, это ведь очень личное. Но Женя сама его заметила.

— Кирилл! Привет! — с каким-то особенно радостным чувством воскликнула она и замахала рукой.— Иди к нам!

Кирилл знал, что она знает про его историю с Иркой, ему было неловко, и он подошел, натянув на лицо бледную улыбку.

— Ты что здесь?

— Да вот,— ответил Кирилл, так же неловко улыбаясь.— Пришел на Белый дом посмотреть.

— Мы тоже. Это Олег.— Она указала на парня с косичкой. — Это Вера, это Вадим, ты его знаешь. Я им рассказывала, как в девяносто первом году я осознала, что путч: я ехала по улице в такси, и вдруг по городу пошли танки. Представляешь? Роскошное зрелище! А ты где был?

— На юге. И не хотел возвращаться в Москву. Думал устроиться спасателем на лодочной станции. А потом приехал и...

Он хотел сказать — встретил Ирку, однако понял, что это ни к чему.

— А мы здесь празднуем День Независимости,— сказала Женя.— Но мы к самому Белому дому не идем. Знаешь, Вадим, он художник, и он сказал, что основным критерием современного искусства признана незаметность. То есть надо праздновать, но только так, чтобы никто не понял, что ты празднуешь. Стать в стороночке и читать газету. А Олег с Верой недавно приехали из Кельна. Жалуются, что жить там скучно и весь народ какой-то левый.

Кирилл впервые в упор посмотрел на Олега — симпатичный парень с очень подвижным лицом, сзади косичка.

Олег сказал:

— За двадцать пять лет этой жизни я понял, что в ней можно быть или гоголевским типом, или персонажем мистерии. Второе мне больше нравится, и в Москве это легче.

Поэтому ты и пришел сюда, подумал Кирилл. И поэтому я тоже пришел сюда в этот день.

●

Павел БАСИНСКИЙ

Кусочек транша, пожалуйста!

Приехали! В переполненном автобусе пьяненький мужичонка с хлебной авоськой и в пиджаке неопределенной расцветки, в котором его молодой хозяин, как видно, ходил на первомайские демонстрации еще при Хрущеве, тихо рассуждает сам с собою, но с государственной заботой на морщинистом челе:

— Вы нам транш, транш... А мы вам хер, хер...

И я подумал, что этот мужичок в общем-то один сто́ит всех экономических и политологических центров и институтов, коих в современной России развелось больше, чем яслей и детских садов. Потому что ничего умнее я не слышал от чмокающих дядей, которые называют себя экспертами и зарабатывают кучу денег только за то, что сверкают очками, буровят зрителей выразительными взглядами и носят дорогие костюмы.

— Вы нам транш, транш... А мы вам хер, хер...

Вряд ли мужичонка знал, что такое «транш». Лично мне, чтобы разобраться в этом, пришлось перерыть кучу словарей, а потом плюнуть на них и позвонить Юле Латыниной, которая знает все. Вот что она мне рассказала... Изначально это не английское, а французское слово. «Tranche» с французского переводится как «ломтик». В английский это слово вошло уже в качестве финансового термина и означает часть денежного кредита. Эти части выдаются России Международным валютным фондом под конкретные экономические программы и являются инструментом целенаправленной политики Запада по развитию российской рыночной экономики. Грубо говоря: нам не просто дают деньги взаймы, а деньги под «то-то и то-то».

И я подумал, что многое встало б на свои места, употребляй мы иностранные слова в их буквальном значении. Заголовки в газетах: «Еще один ломтик от МВФ». Все понятно!

Слово «транш» в России ввели в обращение люди, лишенные элементарного национального слуха. Дело в том, что фонетически это слово в русском языке всегда останется своеобразным «ублюдком», как и множество слов, оканчивающихся на шипящие. В англоязычных странах шипящие звуки в конце слов обычное дело. У нас даже слово «борщ» при известных обстоятельствах может вызывать рвотный рефлекс. Недаром Владимир Маяковский писал не только о «словах-трупиках», но и о тех, что «живут, жирея»: «сволочь» и еще одно — кажется, «борщ» («Облако в штанах»). Память подсказывает и другой пример: Макар Нагульнов в «Поднятой целине» всерьез полагал, что проклятые буржуины специально произносят: «революшн». Тем самым они выражают свою лютую ненависть к революционным пролетариям.

Если же говорить серьезно, то проблема современного новояза сводится к извечной проблеме «народ и каста». В сущности, нового языка быть не может. Все основные предметы и понятия на земле давно названы. Следовательно, ничего не стоит заменить самые мудреные экономические и политические термины на изначальные источники. Для этого вовсе не надо быть адмиралом Шишковым. Говорим «дефолт», подразумеваем «банкротство», про себя думаем о «разорении». Так не лучше ли сразу сказать «разорение»? Ведь это именно «разорение»!

Кстати, о «революшн» и «революции»... Слово «революция» в России — тоже результат словотворчества касты. Изначально это французское слово означает «переворот», «полный оборот», «полная перемена». В русском языке есть прекрасное слово, которое включает в себя все эти смыслы,— «превращенье». По Далю: «превращать» — «перевернуть, переворотить, перелицевать, выворотить». Понятно, по-

чему нашей революционной касте переводить это слово на русский язык было, мягко говоря, неловко! Тем более неловко было бы перевести на русский язык «перманентную революцию», то есть «постоянное, непрерывное превращенье». Сразу бы обнажился истинный смысл: бесконечное вращенье вокруг оси, бессмыслица, абракадабра...

Вот таинственное слово «лизинг». В английском языке оно имеет двоякое значение. «Lease» — «аренда», «сдача внаем». «Leasing» — «неправда», «ложь», «обман» (см. Новый большой англо-русский словарь). И как тут не вспомнить замечательное словцо «прихватизация», которым живой народный язык мгновенно отреагировал на языковую иностранную интервенцию, превратив туманную и криминальную «приватизацию» в игровой и иронически осмысленный «термин»! Я бы вспомнил и еще одно живое великорусское слово: «слямзить». Чем не «лизинг»!

Но зачем нужно касте переиначивать, перелицовывать старые слова под видом создания новых? Очень просто! Насильственное помещение слов в несвойственные им связи и соединения (говоря на языке касты — в несвойственный им «контекст») заставляет слова рождать смыслы-ублюдки, способные оправдать искривленное восприятие людей касты о мире. Поскольку основная задача касты — не служение миру, но подчинение его себе (мир же держится только на внутреннем единстве элементов, то есть на служении части целому), то и первое, что должна сделать каста,— это извратить первичные связи в мире. Первичной связью между людьми является язык. И дело тут вовсе не в мировом заговоре. Касты возникали всегда и на всех уровнях — нижнем и верхнем. И всегда их первым делом было извращение живого народного языка — первой помехи для касты.

В романе полузабытого сейчас русского писателя начала XIX века Василия Трофимовича Нарежного «Бурсак» комически описывается случай подобного смешения, или, вернее сказать, подобного вторжения языка в чужую для него область жизни. Сын бедного сельского украинского дьячка Варуха по имени Неон несколько лет проучился в городской семинарии, где, между прочим, преподавали риторику, латинский язык и античную мифологию. И вот однажды он встречает вестника из родного села с известием, что его отец при смерти. Вместе с вестником он пешком отправляется в село. По дороге, желая разузнать у односельчанина об отце, спрашивает:

« — В чем же заключается тот несчастный casus, который преждевременно доводит отца моего до вод Стигийских?

Вакх молчал.

— Каким определением рока,— продолжал я спрашивать,— отец мой должен последовать сыну Маину, который передаст его с рук на руки угрюмому Харону?

Вакх продолжал хранить молчание.

— Естественные ли силы или сверхъестественные,— возвыся голос, спросил я,— указывают отцу моему берега реки Леты, из коей, испив воды, он навеки забудет и свое дьячество, и сына Неона, и крилос, и колокольню?

Вакх, не взглянув даже на меня, продолжал путь. Такой стоицизм вывел меня из терпения, и я спросил отрывисто:

— Скажи, пожалуй, отчего отец мой сделался болен и близок к смерти?

— Давно бы так, глупый человек! — отвечал Вакх.— Зачем тебе говорить чертовщину, которой я, благодаря Бога, совсем не понимаю».

Ситуация характерная! Недоучившийся школяр с важным видом пытается показать свое ученое превосходство перед более опытным, хотя и необразованным соотечественником. Но тот пресекает эти попытки решительно: когда речь идет о смерти отца, глупо бряцать научными терминами и мифологическими именами и названиями. В данном случае простой крестьянин оказывается гораздо *культурнее* и деликатнее своего «ученого» спутника. Ведь культура состоит не в сумме нахватанных знаний, но в умении их использовать к месту и по делу. Необразованный человек на своем месте значительно культурнее образованца с якобы «умной», однако искусственной речью.

Но все же надо признать, что сам по себе язык, на котором говорит Неон, ни в чем не виноват! Больше того: даже в чужом контексте он парадоксальным образом высвечивает вполне реальную историческую ситуацию, во многом, кстати, сходную с нашим временем. В «Бурсаке» описываются события на Украине первой половины XVII века, когда Украина еще находилась под властью Польши (присоединение к России произошло в 1654 г. в результате национального движения под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого). Польская шляхта отличалась особым высокомерием к простому народу. В украинских семинариях обучали на польский манер.

И мечтой всякого семинариста было выбиться в диаконы, а то и в священники, именно потому, что это означало приобщиться к высшей касте провинциального духовенства и стать своеобразным господином над простыми людьми. Однако приобщение к касте требовало знания особого «ученого» языка, пусть и совершенно бесполезного для сельской церковной службы, но зато мгновенно выделяющего его носителя на фоне остальной человеческой массы...

После смерти отца сельский диакон предлагает Неону как бы «по наследству» занять место покойного дьячка (низший церковный чин). Однако ж Неон отвечает отказом:

« — Что такое, господин бурсак,— сказал диакон с язвительной улыбкой,— уж не норовишь ли ты где-нибудь в селе попасть во диаконы?

— Ниже в попы,— отвечал я с обидным телодвижением и взором на священника.

— Ба-ба! — сказал праведный отец.— Не далеко ли, свет, заезжаешь? Такая спесь должна найти себе узду.

— Может быть,— отвечал я с большим еще равнодушием.— Что будет, то и будет».

Вскоре Неон узнает, что он и в самом деле не простой человек, но внук украинского гетмана,— сюжет очень распространенный в романах конца XVIII — начала XIX века.

Пристрастие к иностранным, перелицованным словам есть первейший признак человека касты. Либо человека, стремящегося попасть в касту. Кстати, изначально португальское слово «casta» означало «род, поколение». И только потом через столетия было превращено в то, чем является сейчас.

Нам не остановить наших бесконечных переворотов и превращений, покуда не остановим кастового измывательства над живым языком. Язык ни в чем не виноват. И «транш» в источнике своем замечательное слово! Такое же замечательное, как и наши «ломоть», «кусок». И я мечтаю о президенте, который не мудрствуя лукаво обратится к Западу со словами:

— Подайте нам еще кусочек транша, пожалуйста! Подайте, ну что вам стоит... Пенсионеров накормить нечем!

Хотя лучше, чтобы и этих слов он не говорил!

●

В. ЧЕРНЫХ. ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АННЫ АХМАТОВОЙ. Часть II. 1918—1934. М., «Эдиториал УРРС», 1998. Тир. 2 000 экз.

Для западной литературы возможны разные варианты, для русской литературы выбора нет: накрепко связанная с государственной этикой, она безвыходно вписана в политический контекст. А потому если художественное произведение у нас заменяет и адвокатскую кафедру, и суд присяжных, то исследование мыслей и действий самого художника по методам напоминает сыск. Заглядывая в чужие письма и дневники, роясь в личных архивах, исследователь не рисует «портрет души» (менее всего его волнуют причины каких-то поступков), он составляет досье, и сами поступки художника ему важнее любых намерений. Он отвергает благие намерения, которыми вымощена дорога в ад, и набрасывает схему самой дороги. Оставив в стороне нравственные оценки такой деятельности, лишь напомню, что взявший на себя труд летописца обычно ставит в известность того, чью жизнь он наблюдает и протоколирует. Но делать выписки из материалов, собранных П. Н. Лукницким, или из записей Л. К. Чуковской, выстраивая хронику чужих слов и действий,— это уже совсем другое занятие.

Жюль РЕНАР. ДНЕВНИК. Калининград, Калининградское книжное издательство ГИПП «Янтарный сказ», 1998. Тир. 5 000 экз.

Проза Ренара всегда издавалась у нас не ко времени, не ко времени она и сейчас. Ее надо читать в день по строке, много — по абзацу, а для того требуются спокойствие, глубокий застой, одряхление государственных мифов, то бишь всяческая несиюминутность. Потому что речь в ней как раз о повседневном, о подробностях жизни, защищающих от тотального бытия. Эта проза нарочито не договорена, иногда не закончена. Так, в ренаровской миниатюре о змее только два слова — «чрезмерно длинна». Уроборос, дракон, заглатывающий собственный хвост, символ бесконечности, в этой прозе непредставим, потому что сущностям здесь противопоставлены явления; эмпирическое, которого можно коснуться рукой,— теплое и живое.

Ольга ЧЕХОВА. МОИ ЧАСЫ ИДУТ ИНАЧЕ. М., «Вагриус», 1998. Тир. 10 000 экз.

Настоятельность, с какой издатели величают Ольгу Чехову «второй Матой Хари», особенно показательна, если учесть, что и первой не было. Как нуждались в объяснении и оправдании неудачи союзников на Ипре и под Верденом (ведь тупость собственного командования и применение немцами боевых отравляющих веществ, а по сути, попрание норм человечности, не осознавались да и не могли быть осознанными), так объяснения требовали и победа под Сталинградом, и упорное сопротивление армии, почти лишенной командования, голодной и безоружной. Общество довольствовалось древней мифологемой, чуть подновленной на современный лад. Троянская война началась из-за женщины, нашлась причина и тут — женщина-шпионка. В обоих случаях не учли величины вполне реальной, однако трудноопределимой — насколько искусство танцовщицы Маргариты Зелле и киноактрисы Ольги Чеховой повлияло на души противников, сколько дополнительных сил почерпнули солдаты и офицеры (немцы, англичане, французы), ибо и первая, и вторая мировые войны относились еще к эпохе не технического превосходства, а телесного противостояния, сопротивления человеческих масс.

РУССКАЯ СТИХОТВОРНАЯ ЭПИТАФИЯ. СПб., Гуманитарное агентство «Академический проект», 1998. Тир. 2 000 экз.

Эпитафия — один из самых формализованных жанров. Нехватка какого-то элемента разрушает его, вернее, переводит в другой регистр. Так, подставив вместо имени усопшего имя своего здравствующего литературного противника либо недоброжелателя, стихотворец вместо эпитафии получал эпиграмму, а скорбь сменялась ерничаньем. Перемена разительная, но ей придавали мало значения по той причине, что смерть на Руси — главная тема насмешки. Впрочем, это касалось лишь эпитафии литературной, где вступали в борьбу поэтические амбиции и таланты. Что же до эпитафии кладбищенской, здесь все противоречия вовсе не принимались в расчет; строки, сложенные известными стихотворцами, соседствовали с произведениями безвестных ремесленников и часто проигрывали им ежели и не в складности, то в уместности и подлинности чувства. Ныне жанр эпитафии угасает. Современное кладбище не походит на прежний некрополь. Честно прожитой жизнью, вызывавшей естественную гордость, перестали гордиться, а читатель, которому адресована кладбищен-

ская эпиграмма, исчез. В эпоху массовых захоронений функцию певца смерти приняла на себя статистика.

ХАРМСИАДА. Анекдоты. Комиксы из жизни великих. СПб., Информационно-издательское агентство «ЛИК», 1998. Тир. 4 000 экз.

Только слепой мог спутать ходившие долгие годы по рукам анекдоты «под Хармса» с рассказиками самого Хармса. Здесь совершенно иначе выстроен материал, и картинки, использованные в качестве иллюстраций, это подтверждают. Рассказики Хармса заведомо неповествовательны, сюжетность в них уничтожена. В поддельных рассказиках присутствует развязка, непременное условие сюжетного произведения. Анекдоты «под Хармса» — типичная интеллигентская игра, смысловое буриме. И Достоевский, под пером иллюстратора сделавшийся непоправимо похожим на Андрея Донатовича Синявского, подчеркивает и анаграмматическую связь имен этих двух писателей, и, так сказать, их зрительную анаграмматичность.

Геннадий ШПАЛИКОВ. Я ЖИЛ КАК ЖИЛ. М., Издательский дом «Подкова», 1998. Тир. 7 000 экз.

Возможно, не существовало общности «советский народ», но советские люди существовали. Хотя бы один — Геннадий Шпаликов. И мысли его, и чувства, и внешность, и поведение принадлежат тем годам, эпохе развитого социализма. А страшная его смерть показала, что эта — если и не вполне прекрасная, то полноценная — эпоха кончилась. В шпаликовских стихах, дневниках и прозе можно встретить наивность и нарочитость, но не найти притворства и лжи. И присутствует в них то, чему не подберешь названия (свобода, за которую сражались позднее и ровесники Шпаликова, и кто помоложе,— как она жалко выглядит рядом с тем неназванным, за что не нужно было сражаться, просто радоваться, что это существует).

Нет названья у воды,
Нет названья у беды,
У мостов обвороженных,
Где на лавочках следы.

А завоеванная свобода требует тирании, чтобы защитить дорогие завоевания.

Умберто ЭКО. ПЯТЬ ЭССЕ НА ТЕМЫ ЭТИКИ. СПб., «Simposium», 1998. Тир. 2 000 экз.

Автор высказывается напрямую, не прикрываясь ни экстравагантным сюжетом, как в романах, ни звонкой терминологией, как в научных статьях, а потому очевидно, что утверждает он вещи банальные. Хотя один фрагмент стоит процитировать: «Итальянский фашизм первым из всех разработал военное священнодействие, создал фольклор и установил моду на одежду, причем с гораздо большим успехом за границей, чем любые Бенеттоны, Армани и Версаче». Идеология легко усваивается через внешние формы, а ироническая улыбка, с которой говорит о том европейский интеллектуал, означает если и не приятие такого порядка вещей, то капитуляцию перед ним. И наступает момент, когда божественную энергию кундалини в человеке пробуждают ударом сапогом под зад (этому эпизоду посвящены лучшие страницы романа У. Эко «Маятник Фуко», а эссе на темы этики представляются реальным комментарием к роману).

Уильям Батлер ЙЕЙТС. КЕЛЬТСКИЕ СУМЕРКИ. СПб., ИНАПРЕСС, 1998. Тираж не указан.

Проза Йейтса нуждается в научном истолковании, а не в дешевой рекламе. Между тем «фундаментальная статья», заявленная в издательской аннотации, занимает тринадцать страниц и в ней нет ровным счетом ничего, что бы нельзя было обнаружить в какой-нибудь добротной мифологической энциклопедии, а «культурологический комментарий» представляет собой несколько десятков подстраничных сносок. Кто же такой Йейтс и чем он так интересен, остается догадываться. Оно и не ново, на базаре частенько всучивают доверчивому покупателю замок без ключа, и стоит он не в пример дешевле.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

●

С "Трудом" не пролетишь...

Телефоны

для справок: (095) 299-39-06
отдел рекламы: (095) 200-03-38, факс: 200-01-24
отдел по связям с общественностью: 299-38-74, 200-05-41

16 руб. 50 коп. **Индекс 73293**

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

До конца года и в 1999 году «Октябрь» предполагает опубликовать:

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Павел БАСИНСКИЙ. **Гражданин мира.** Повесть.

Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Купол.** Роман.

Игорь ВОЛГИН. **Пропавший заговор.** Достоевский и политический процесс 1849 года. Книга вторая.

Виталий ВУЛЬФ. **Сказки старого МХАТа.**

Даниил ГРАНИН. **Повесть.**

Николай КЛИМОНТОВИЧ. **Роман.**

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга прозы «Рассказы о чудесном».**
Стихи.

Анатолий НАЙМАН. **Любовный интерес.** Роман-фрагмент романа.
Стихи.

Владислав ОТРОШЕНКО. **Приложение к фотоальбому.** Роман.

Олег ПАВЛОВ. **В безбожных переулках.** Роман.

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы и сказки.**

Евгений ПОПОВ. **Как я проводил лето.** Повесть.

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Сергей ЮРСКИЙ. **Мемуары.**

А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Юрия ДАВЫДОВА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Генриха САПГИРА, Людмилы УЛИЦКОЙ, Марины УРУСОВОЙ, Бориса ХАЗАНОВА, Маргариты ШАРАПОВОЙ, Асара ЭППЕЛЯ и др.

ISSN 0132-0637. Октябрь. 1998. № 11. 1—192.